Е. Драбкина

БАЛЛАДА О БОЛЬШЕВИСТСКОМ ПОДПОЛЬЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»







24.11.67

Елизавета Драбкина

БАЛЛАДА О БОЛЬШЕВИСТСКОМ ПОДПОЛЬЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"
МОСКВА · 1967

Р 2
Д 72

Суперобложка, переплет,
форзац и титульный разворот
Е. Мешкова

Рисунки С. Монахова

7—6—3

Дорогой товарищ читатель!

Сейчас, когда советский народ и все передовое человечество отмечают 50-летие Великого Октября, у меня возникло страстное, всепоглощающее желание рассказать о большевиках-ленинцах, об этих необыкновенных людях, чьи дела и подвиги навеки вошли в историю человечества.

Судьба подарила мне счастье, которым я обязана тому, что родилась в семье старейших деятелей нашей партии: с самых первых лет я росла в большевистской среде, знала соратников Ленина, самого Владимира Ильича и Надежду Константиновну.

И я сочла своим долгом рассказать все, что о них помню, а также и то, что узнала, читая и перечитывая их собственные воспоминания и работая в архивах и библиотеках.

Так появилась мысль о книге, которую ты, товарищ читатель, держишь сейчас в руках.

Быть может, название ее тебя несколько удивит: «Баллада о большевистском подполье»... Но «баллада» — это ведь нечто поэтическое, «большевистский» — политическое, а «подполье» — связано с суровой борьбой, трудностями. Можно ли все это соединить воедино?

Да, можно! Ибо политическая борьба, которую вела наша партия, была истинным подвигом, отмеченным духом высокой поэзии, и, при всей суровости и жертвах, она была пронизана светлым, неиссякаемым оптимизмом.

Жизнь — это непрерывное обновление, непрерывная смена поколений, которые подобны волнам, набегающим на морской берег.

Каждое молодое поколение революции, вступая на путь борьбы, принимало на плечи свой груз: одно — работу в подпольной партии, другое — бои гражданской войны, третье — возрождение разрушенного хозяйства, четвертое — пятилетки, пятое — схватку с фашизмом. Каждое познало свои грозы, свои бури, свои трудности и свои свершения.

Перед твоим поколением, вступающим в жизнь сегодня, стоят задачи столь же великие, столь же дерзновенные, как и те, которые стояли перед твоими предшественниками. Но решить их можно, лишь глубоко познав опыт прошлого и поняв великий подвиг отцов и дедов.

И если эта книга поможет тебе, дорогой мой друг читатель, и твоим товарищам, это будет наивысшей наградой мне не только за вложенный в нее труд, но и за все дело моей жизни. Ведь вот уже пятьдесят лет прошло с тех пор, как я вступила в партию большевиков, партию коммунистов.

Пожелаю тебе счастья! Пусть светят тебе огни Смольного! Пусть стоит перед тобой бессмертный образ великого Ленина! Смело иди вперед! Живи, учись, работай, действуй так, чтоб люди предшествующих поколений революции, глядя на твои славные дела, могли бы воскликнуть вместе с поэтом:

«Это молодость наша проходит, подняв паруса!»

Автор

Глава первая

НАПЕРЕКОР ТЕЧЕНИЮ

1

Полвека тому назад, весной 1917 года, на страницах буржуазных газет замелькало неведомое многим слово:

Большевики.

И появилось имя человека, которого сейчас знает весь мир:

Ленин!

Кто такие большевики? — спрашивали заголовки этих газет.

Откуда они взялись?

И кто такой Ленин, этот таинственный для них Ленин?

Ответ следовал за ответом, одна сенсация обгоняла другую. Каких только объяснений не давалось! Нет такой выдумки, которая не была бы пущена в ход.

Сегодня все знают, что Ленин — вождь великой народной революции в России, а большевики — его соратники. В тяжелом царском подполье шли они плечом к плечу по обры-

вистому и трудному пути, высоко неся знамя, на котором были начертаны бессмертные слова: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Они создали партию, которая к моменту революции 1917 года прошла уже через десятилетия суровых испытаний, тюрем и ссылок, каторги и изгнания, виселиц и расстрелов. Но не существовало в мире силы, которая смогла бы ее сломить и заставить отречься от борьбы за высокие революционные идеалы.

Подобной партии никогда не существовало в истории великих классовых битв. Она была детищем Ленина. Она была его любовью. Говоря об отношении Ленина к партии, один из старейших большевиков, В. А. Карпинский, нашел удивительные слова:

«Владимир Ильич положительно влюблен в свою партию».

И так же влюбленно относился Ленин к людям этой партии, слово которых всегда было едино с делом, а дело — со словом.

Эти люди жили мятежной жизнью, полной кипения, опасностей и борьбы. Не было конца трудностям, которые им приходилось преодолевать. Внешне жизнь их была неприглядной, холодной и голодной. Но под этим покровом таились могучие силы и несгибаемая воля, превращавшие неприметных на вид тружеников в борцов, в героев, плывущих против течения, каким бы оно ни было бурным, каким ни казалось бы оно непреодолимым.

Это были люди с ярко выраженной индивидуальностью. Каждый из них имел свое лицо, свою судьбу. Пользуясь выражением великого сказочника Гофмана, о них можно сказать, что они не походили на одинаковые монеты, отштампованные на одном и том же монетном дворе, но были подобны медалям, отчеканенным каждая для особого случая.

Однако при всех различиях им было свойственно много общего: ум, талант, несокрушимая энергия, слившиеся воедино с нравственной красотой, неуёмной жизнерадостностью, бесстрашием, беспредельной преданностью партии.



...Чем дальше идет время, тем выше, тем мощнее поднимаются на общем фоне истории человечества Ленин и его соратники — люди, которым мы прежде всего обязаны великой Октябрьской победой 1917 года. Тем притягательней для нас их образы. Тем повелительней овладевает нами желание увидеть воочию историю нашей партии, населенную живыми людьми, познать их жизнь, воскресить их лица, движения, поступки, подвиги, каждый психологический штрих, соучаствовать в пережитых ими событиях, насыщенных высоким драматизмом.

Мы хотим как бы заново обрести этих бесконечно дорогих нам людей, узнать их такими, какими они были, во всей их пленительности и неповторимости.

Но увы! Многое из того, что мы хотим узнать, утрачено, утрачено без возврата. Почти все эти люди ушли из жизни задолго до того, как для них наступила пора писания мемуаров. Они не сохраняли личных архивов. В годы работы в царском подполье они старались вытравить всякий свой след, уничтожить каждый клочок бумаги, сжечь все, что только можно сжечь и развеять по ветру.

Тем дороже для нас то, что сохранилось, что спасено. Тем больше говорит уцелевший чудом обрывок записки, пожелтевшее от времени письмо, напечатанная в подпольной типографии листовка, написанные наспех, в свободную минуту, короткие воспоминания — все, что помогает нам сквозь годы, сквозь выцветшие буквы, сквозь потускневшие краски воскресить отдельные черты, а порой и яркие, законченные образы того, что было тогда великого, страшного и прекрасного, и прежде всего образы людей, составляющих самую высокую гордость нашего народа.

2

В тяжелое, трудное время начинали они свою сознательную жизнь. Вспомним неоглядную тьму, сгустившуюся над Россией конца XIX века. Достаточно было лишь слегка повернуть голову, чтобы увидеть позади себя силуэты виселиц, на которых закончили жизнь герои «Народной воли». Общество переживало пору полного идейного разброда. Пульс революции бился чуть слышно, с перебоями. Все вокруг припало к земле, окоченело.

В те годы дальние, глухие
В сердцах царили сон и мгла.
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла,
И не было ни дня, ни ночи,
А только — тень огромных крыл. . .

(*А. Блок,* «Возмездие»)



И вдруг в тени этих огромных крыл, которые простер над Россией идейный вдохновитель самодержавия, обер-прокурор святейшего синода Победоносцев, разрывая черный мрак, засверкали искры, неуклонно разгоравшиеся все более ярким, все более сильным пламенем.

Это на авансцену политической жизни России вышли представители нового, *ленинского* поколения революции: сам Ленин и его соратники по революционной борьбе!

Жизнь каждого из этих людей отчетливо разделялась на два различных периода: тот, который был *до* их приобщения к революции, и тот, который наступил *после* этого приобщения.

До — были годы детства и отрочества. Как правило, безрадостные.

Передо мной лежит более пятисот автобиографий, написанных участниками подпольной большевистской партии. Редко кто сохранил добрую память о первой поре своей жизни.

«Мрачны и тягостны воспоминания моего детства, — рассказывал один из первых участников подпольных организаций в России, Михаил Александрович Сильвин. — Решительно ничего радостного, ласкающего... никакого внимания в семье к нам, детям, я не могу припомнить... Жили мы в небольшой полутемной комнате в подвальном этаже, два окна выходили на улицу, вровень с тротуаром, и третье — на задний двор, прямо на помойную яму. Постели, собственно, у меня, как и у остальных моих братьев и сестер, не было. На голый сундук с горбатой крышкой, стоявший в углу кухни, а иной раз прямо на пол бросали какую-нибудь рухлядь — старое пальто или что-нибудь в этом роде, клали подушку с наволочкой, которая, по-видимому, никогда не стиралась, клали рваное, просаленное ватное одеяло — это и было моей постелью... Позже, уже взрослым, мне случалось иногда вспоминать детство в интимных беседах с тем или иным близким другом, вышедшим из той же среды. Впечатления были общие...»

Но, быть может, этот мрачный колорит сложился в памяти позднее, когда детство стало уже воспоминанием?

Нет! Свидетельство тому — случайно сохраненная старым школьным учителем тетрадка; на которой выведено едва устоявшимся детским почерком, что она принадлежит ученику второго класса Нижегородского городского училища Феде Насимовичу, и поставлена дата: 1897 год. Тем же почерком в тетрадке написано классное сочинение на тему «Наша комната».

«Описывая комнату, в которой живем мы, т. е. я с матерью и братом, — начинает Федя, — изобразишь один из многих сырых и холодных подвалов. Чтобы войти в наш подвал, нужно пройти грязные и холодные сени, и попавшему туда в первый раз довольно долго придется пробираться вдоль заплесневевших стен прежде, чем добраться до двери. Но вот входишь в комнату, и внутренность ее перед глазами. Страшно широкие, но низкие окна с почерневшими

от времени и сырости рамами прежде всего обращают на себя внимание. Эти окна завалены всяким хламом...

Утром, когда лучи солнца попадают в комнату, она все-таки немного оживляется, вечером же она имеет чрезвычайно скучный вид. Скучно тогда слышать монотонное чеканье маятника, слышать, как зашуршит, пробежавши по шпалеру, таракан или посыплется на пол песок... И все эти ничтожные мелкие звуки наводят на грустные думы и размышления...»

Среда, к которой принадлежали Федя Насимович и М. А. Сильвин, — это среда городской бедноты и «замызганного чиновничества», как называл ее Достоевский. Это была отнюдь не самая низшая ступень «государства Российского». Рабочие семьи жили на нищенские гроши. «Частенько нам приходилось питаться одной тюрей», — вспоминал Григорий Иванович Петровский. А детство в деревне, особенно в голодные, неурожайные годы, было еще тяжелее.

Ветхая изба в два окошка, которые вместо стекол наполовину заклеены бумагой и забиты куделью. От времени изба осела, окна упираются в землю. Топится она «по-черному», печью без дымохода, так что дым валит в избу. Скот — изнуренный Сивка да облезлая Буренка. Старая телега с мочальной сбруей и разбитыми колесами — едет, скрипит на всю деревню. Отец истощенный, бледный, щеки ввалились. Работает день и ночь не покладая рук, но бедность осилить не может. Еда впроголодь. Кругом нужда и долги. Все думы, все помыслы о нужде: придет весна — нет семян, придет лето — не на чем работать, придет осень — нечем платить подати, придет зима — хлеб подходит к концу. Он получил в наследство от своего отца одну только нужду и эту же нужду передает в наследство детям.

«Родилась я в семье бедного крестьянина Московской губернии, село Поречье, — вспоминала свои детские годы старая коммунистка Аграфена Сычева. — Воспитали нас родители среди домашних животных. Все, люди и животные,



находились в одной хате, а детей нас было шесть человек. Самая старшая — я, восьми лет. Всех должна была я кормить, поить. Меня, пишущую эти горькие строки, может понять только тот, кто жил в деревне при помещиках...»



Даже в урожайные годы большинству крестьянских семей хлеба хватало лишь до середины зимы, а в недород или полный неурожай и говорить нечего. Заколотив избы, с сумой на плечах крестьяне бродили целыми семьями, прося подать хоть кусочек хлеба.

Их ужас и отчаяние передает песня, записанная на Волге во время великого голода 1891—1892 годов:

Тоска в ногах,
Тоска в руках,
Тоска в зубах,
Шуршит язык,
Бежит слюна
И хочет есть.
Хлеба, хлеба, хлеба!
Корочку хлебца,
Маленькую корочку.
Как бы я ее жевал,
Собрал бы крошки
И опять бы ел,
И опять жевал,
И плакал от радости...

Солому с крыш скармливали скотине, но та все равно дохла. Сквозь обнаженные стропила в избу дул ветер, лил дождь, набивался снег. Летом ребята прятались от дождя под стол; зимой, чтоб не замерзнуть, укладывались в печку. И взрослые, и особенно дети мёрли, как мухи, от голода и его спутницы — холеры; их стаскивали на кладбище и заливали могилы известкой.

Однако и в обычный, не «голодный» год отец, как это делал отец Ивана Ивановича Кутузова, еще с осени запродавал кулаку-живоглоту будущий урожай, а сам подавался в город «на заработки», чтобы проработать «до камушков», то есть до тех пор, пока из-под стаявшего снега не покажутся камни мостовой.

«Бедность заставляла моего отца жить на два фронта, — рассказывал в своих воспоминаниях И. И. Кутузов, впоследствии крупный деятель нашей партии. — Летом — деревня, зимой — город Москва, завод и фабрика. И не видать было Ивану Захарову конца, когда пройдет эта трудная пора. . .»

С земли прокормить себя и семью крестьянин не мог. Не спасали и временные заработки. Оставалось одно: податься в город самому или отправить в город, на завод, на фабрику подросших детей.

«Приехав в Москву пятнадцатилетним мальчиком, — рассказывал Владимир Новиков, — я поступил на текстильную фабрику Э. Циндель, где в то время работал мой старший брат. Это было в 1900 году.

Не стану описывать обстановку и условия, в которых пришлось работать на этой фабрике. Скажу только, что до настоящего времени, хотя с тех пор прошло больше двадцати лет, когда мне случается переживать тяжелые моменты вслед-



ствие физического недомогания или подавленного состояния духа, я всегда вижу себя во сне работающим на этой фабрике».

Рабочий день продолжался двенадцать, тринадцать, а то и четырнадцать, и пятнадцать часов. Но и при таком рабочем дне, когда нужно хозяевам, рабочих заставляли работать сверхурочно. На заводе Семянникова в Петербурге в девяностых годах существовал такой порядок: в понедельник было обязательно работать сверхурочно два часа; во вторник — четыре часа; в среду — на выбор: либо всю ночь напролет, либо четыре часа сверхурочно; в четверг тот, кто работал ночь напролет со среды, уходил домой, а кто — нет, тот работал четыре часа; в пятницу — всю ночь напролет обязательно; в субботу — до шабаша. Если в субботу не было получки, то в воскресенье работать обязательно.

Когда рабочий завода, участник подпольного «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», будущий большевик, Генрих Фишер стал говорить мастеру, что этак долго не протянешь, тот ответил:

— Не нравится — не работай. Народу у нас много.

Народу у ворот было действительно много.

В шуточной сценке, которую часто разыгрывали между собой рабочие, изображалось, как по осени подрядчик увольняет ненужных ему рабочих.

«...Глянь-ка, робя, ведмедь по крыше ползет», — говорил подрядчик, устремляясь к окну.

«Какой же это ведмедь? Это кошка!» — возражал ему усумнившийся.

«Нет, ведмедь!»

«Нет, кошка!»

«По-вашему — это кошка, а по-моему — ведмедь. А раз вы со мной не согласные, получайте расчет...»

В рабочих помещениях стояли удушливая жара, пыль, шум. Особенно тяжелы были условия работы на ткацких фабриках. Ткачей и прядильщиц можно было сразу отличить от других рабочих: стоило только посмотреть на их восковые, бескровные губы, на покрасневшие глаза, на

покорное выражение лица, вызываемое профессиональной болезнью ткачей — глухотой.

Грошового заработка хватало лишь, чтобы прокормиться и снять угол, а то и койку. Но большинство рабочих жило в казармах. Обычно это были громадные, многоэтажные корпуса, разделенные на две половины: «холостую» и «семейную». Разница между ними была только в том, что на «холостой» половине койки стояли в ряд, почти вплотную друг к другу, а на «семейной» одна семья отделялась от другой ситцевой занавеской, протянутой чуть выше человеческого роста. В образовавшейся таким образом загородке жили и взрослые, и ребятишки, спали вповалку; тут же помещался домашний скарб, посуда, имущество семьи; жили, что называется, «на людях»: на людях ели, на людях рожали, на людях умирали. Шум, крик, ругань стояли такие, что разговаривать было невозможно, надо было все время кричать.

В таких условиях жили рабочие, в таких условиях росли их дети, ожидая времени, когда им исполнится двенадцать лет или же когда они вырастут настолько, что их можно будет выдавать за двенадцатилетних и, поставив мастеру, чтоб он не придирался, «спрыски» или «привальную», определить на работу на завод или на фабрику.

Но не в одной нужде дело. Детство могло быть безрадостным и в богатой семье.

Евгения Богдановна Бош и ее сестра Елена Федоровна Розмирович выросли в семье арендатора, который, скопив денег, купил имение и сделался помещиком. Но обе они с ужасом и отвращением рассказывают о своих детских годах. «Общий тон нашей жизни был необычайно суров, — пишет Е. Ф. Розмирович. — Все усилия семьи были направлены на увеличение состояния... Берегли каждую копейку, часами обсуждая даже незначительные затраты».

Но существовали и иные семьи. Вадим Николаевич Подбельский был сыном известного революционера, который дал пощечину преследовавшему студентов министру народ-

ного просвещения Сабурову. Сосланный в Якутск, отец Подбельского вместе с группой ссыльных отказался подчиниться распоряжению об отправке дальше, в Колымск, и был убит первым солдатским залпом. Мать Вадима за участие в вооруженном сопротивлении осуждена была на каторгу и там погибла. Мальчика-сироту взял на воспитание дядя. Детство Вадима было трудным, но тяжелым оно не было.

Тепло вспоминает о своих родителях Надежда Константиновна Крупская. Это были люди, захваченные революционными идеями. В доме у них бывали революционеры самых различных направлений. Когда Надежда Константиновна сделалась революционеркой, мать ее, Елизавета Васильевна, полностью одобрила решение дочери. А когда Надежда Константиновна стала женой Владимира Ильича Ленина, мать последовала за ней в минусинскую ссылку, а потом за границу, в революционную эмиграцию, и не расставалась с Надеждой Константиновной и Владимиром Ильичем до последнего часа своей жизни.

В передовой семье, сочувствовавшей революционным идеям, рос Леонид Борисович Красин. С нежностью вспоминал своего отца Михаил Степанович Ольминский. Когда Михаил был впервые арестован, отец с гордостью говорил об аресте сына, заявляя, что в России все порядочные люди в молодости прошли через тюрьму. А о семье Елены Дмитриевны Стасовой говорить не приходится: и отец, Дмитрий Васильевич, и дядя, Владимир Васильевич, принадлежали к числу самых прогрессивных людей того времени.

Подобных семей было мало, совсем мало, и они представляли собой лишь редкие исключения. А чаще бывало так, как у мальчугана Лебедева — впоследствии известного литературного критика Валериана Полянского: несколько раз убегал он из дому от жестокого обращения и скрывался в лесу или же питался подаянием, собирая «трынки» и «семитки» (копеечные и двухкопеечные монеты), и в минуты отчаяния вслух проклинал бога в наивной надежде, что бог покарает его и убьет, избавив этим от мучительной жизни.

3

Была тогда одна семья, к которой все мы испытываем особо пристальный интерес: семья директора народных училищ Симбирской губернии Ильи Николаевича Ульянова.

Илья Николаевич стремился к улучшению жизни народа, но не путем революции, а путем просвещения. Любимым его поэтом был Некрасов, которого называли за его стихи «печальником народного горя». Гуляя с детьми, Илья Николаевич пел им студенческие песни своего времени. Многие из этих песен связаны с образом великой русской реки Волги, на берегах которой прошло детство самого Ильи Николаевича и всех его детей.

О, Волга-мать, река моя родная!
Течешь ты в Каспий, горюшка не зная,
А за волной — волной твоей свободной
Катится стон, великий стон народный.
Ты все несешь: плоты и пароходы,
Лишь не несешь рабам твоим свободы.
Тебе простор, тебе гулять привольно,
А нам нужда, и труд, и подневолье. . .

Как рассказывает старшая из дочерей Ульяновых, Анна Ильинична, отцу было присуще почти благоговейное отношение к науке. Он строго сознавал долг перед людьми и требовал и от себя и от других — и в первую очередь от своих детей — постоянной работы над собой.

Личный пример отца имел для детей большое значение. Дети видели, что его идеалы — нечто высшее, чему он все приносит в жертву. Возвращаясь из поездок по губернии, в которых он проводил иногда по нескольку недель, Илья Николаевич охотно рассказывал детям обо всем увиденном и услышанном. О новых школах, которые благодаря его настойчивости строились в деревнях. О бедственном положении, нищете и забитости крестьян, отказывавшихся посылать своих ребят в школу. О столкновениях, которые у него постоянно происходили с помещиками и власть имущими.

Все это, конечно, жадно слушалось и живо воспринималось детьми.

Семья жила в атмосфере глубокой духовной дружбы. Огромная заслуга в этом принадлежала матери, Марии Александровне, женщине передовых взглядов, отдавшей все свои силы воспитанию детей.

Детей было шестеро. Росли они и дружили между собой парами: двое старших — Анна и Александр; двое средних — Ольга и Владимир; двое младших — Мария и Дмитрий.

В конце семидесятых годов прошлого века, с которых мы ведем наше повествование, старшие уже кончали гимназию, средние учились, а младшие едва приступали к овладению грамотой. Характеры у детей были разные. Мечтательная Аня; она писала стихи и хотела быть сельской учительницей. Серьезный, сосредоточенный Саша, поражавший всех, кто его знал, своей идейностью, твердой волей, высокими нравственными качествами, необыкновенно одухотворенным лицом.

Володя внешне казался противоположностью Саше. Живой, шаловливый, озорной, он, как рассказывает его сестра Анна Ильинична, «постоянно ходил ходуном, вертелся колесом», носился по дому вместе с веселой певуньей Олей, скатывался кубарем с лестниц. Однако это было лишь различие характеров, но не внутренней сущности.

Недаром Владимир Ильич не просто любил старшего брата, он преклонялся перед ним, видел в нем идеал для подражания. О чем бы ни шла речь, он все хотел делать «как Саша». В семье над этим даже подтрунивали. Бывало, подадут на стол кашу и нарочно спрашивают: «Володя, как кашу хочешь: с молоком или с маслом?» И он всегда попадался в ловушку и отвечал: «Как Саша».

Симбирск тех лет был захолустным провинциальным городом, с провинциальными нравами, провинциальными обычаями. Зимой его чуть не до крыш заносило снегом. Железная дорога проведена еще не была, и единственным средством сообщения с внешним миром был санный путь на лошадях.

Но вот наступала весна, снег сходил, и с высокого берега,



на котором стоит Симбирск, особенно с расположенных у крутых обрывов Нового и Старого Венца, открывались на десятки верст волжские и заволжские дали с лесистыми островами, затонами и заливами, с уходящими в безбрежную синеву лесами, полями, луговыми поймами.

И Волга! Волга с ее прелестью, Волга с ее песнями об отчаянно смелом Степане Разине и непреклонном Емельяне Пугачеве, сложивших свои буйные головы в неравном бою против царей и помещиков. С передававшимися тайно, шепотом, рассказами о расправе, которая была учинена над Разиным и Пугачевым и над их товарищами, — расправе, после которой, как рассказывала народная песня, Волга-река текла вся кровавая, ее мелкие ключики стали горючими слезами, по лугам — всё волосы, по крутым горам — всё головы молодецкие, мятежные, отрубленные палачами...

Неподалеку от дома, в котором жила семья Ульяновых, когда дети были еще маленькими, находилась местная тюрьма, окруженная каменной стеной. Здание тюрьмы стояло неглубоко во дворе, так что гулявшие вместе с няней дети видели чугунные решетки и прильнувшие к ним бледные лица заключенных.

Семье Ульяновых суждено было сыграть огромную роль в истории России и русской революции. Но все это было впереди. А сейчас она жила, счастливая своей дружбой, духовной близостью и смутными надеждами.

4

Но вернемся к тем, кому суждено было стать соратниками Ленина, к тому времени их жизни, когда кончалось нелегкое детство. Теперь наступала пора учения. Кому где. В церковноприходской школе, где учителем был священник.

В духовной семинарии. В пропитанной казенным духом гимназии. В еврейской религиозной школе — хедере, в магометанской — медресе.

Везде одно и то же. Везде закон божий (хотя и с разными богами), библия, евангелие, коран, талмуд и прочие «священные» книги.

Везде тупая зубрежка, «мертвые» языки, мертвая премудрость. Задачи вроде той, которую приводит в своих воспоминаниях о годах учения Василий Николаевич Соколов:

«Одновременно из разных городов по направлению к Мекке двигались два паломника. Чтобы заранее расположить к себе пророка Магомета, один из них полз на четвереньках, а другой — вперед пятками. Расстояние между правой ступней и левой ладонью первого составляло столько-то. Длина внешнего и внутреннего шага второго — столько-то. Обоим было в равной мере присуще стремление приблизить момент поклонения священной гробнице. Однако первый через такие-то промежутки времени падал носом в землю и терял при этом столько-то минут, а второй отклонялся от прямой линии под углом в столько-то градусов. Спрашивается: если принять расстояние до священной гробницы за столько-то, который из паломников придет первым и на сколько опередит он своего соперника?..»

Политический гнет, давивший все, что честно жило, мыслило и боролось, пронизывал также и систему школьного воспитания и образования. Преподавание было основано на тупой, нудной схоластике. Самостоятельная мысль учащихся вызывала подозрение. Любая инициатива объявлялась преступной. Даже в каком-то шуточном «Обществе для ловли китов и моржей», организованном учениками Морского училища, власти узрели крамолу и, обнаружив это китово-моржовое общество, тотчас разослали по всем средним учебным заведениям скрепленные пятью сургучными печатями толстые пакеты, предупреждая учащихся, что за

последнее время на Руси появилось много «государственных преступников», которые ставят своей целью уничтожить религию, власть, семью. Пусть знают учащиеся, что «преступники» эти толкают их в пропасть, сорвавшись в которую они погибнут, погибнут безвозвратно!

В том же духе составлялись учебники и учебные программы. На выпускных экзаменах по литературе давалась, например, тема: «Не то денежки, что у бабушки, а то денежки, что за пазушкой». Учебники истории сообщали: «Безбожные французы вдруг стали резать и убивать друг друга, а потом казнили своего дорогого, горячо любимого короля Людовика XVI». Так преподносилась история Великой французской революции.

Одолевали древние языки: девять уроков в неделю — греческий, семь уроков — латынь. Разумеется, всякое знание полезно, и там, где дело не сводилось к голой зубрежке, во время которой гимназисты, заткнув уши и раскачиваясь, отупело заучивали грамматические правила и даты хронологии, они отшлифовывали память и расширяли свой кругозор.

К тому же среди преподавателей попадались люди передовых взглядов, умевшие даже из «мертвых» языков сделать средство воспитания прогрессивных идей. Такие преподаватели, подобно тому как из математического уравнения извлекается искомый корень, извлекали революционный смысл из сложных логических построений античных авторов, к примеру «Диалогов» Платона: «Бытие одновременно и едино и множественно, и вечно, и преходяще, и неизменно и изменчиво, и покоится и не покоится, и движется и не движется, и действует и не действует...»

Однако тогдашняя гимназия не давала таким педагогам простора. Для естественных наук и географии отводилось два-три урока в неделю, а то и меньше. В православных духовных семинариях третья часть уроков была полностью посвящена богословским наукам. В еврейских хедерах вершиной образованности считалось знать пятикнижие, талмуд и прочие «священные» книги на «острие шила»: чтоб про-

верить знания учащегося, брали острое шило и, воткнув его в книгу страниц на полсотни в глубину, требовали ответить наизусть, не заглядывая в книгу, какие именно фразы проколоты. В мусульманском медресе примерно такими же методами вдалбливали коран.

На детей смотрели, как на существа глубоко испорченные, перевоспитать которые можно лишь карцером или исключением из гимназии. Читать разрешалось только книги, включенные в специальные списки, — это были по преимуществу переведенные с немецкого рассказики о послушных Луизах и добродетельных Карлушах. Женских учебных заведений существовало ничтожно мало: считалось достаточным дать девочкам «домашнее образование», после которого они оставались еле грамотными и должны были в томлении поджидать случая выйти замуж за кого угодно: за старого, за уродливого, за совсем незнакомого, но лишь бы выйти замуж. А из мальчиков и юношей готовили тупых, исполнительных, низкопоклонничающих чиновников.

Горе тому, кто осмеливался поднять голос против этих порядков. За отказ от веры в бога или за неповиновение властям ему грозили муками и на том свете и на этом — «муками непереносимыми, плачем и скрежетом зубовным», «не на сто лет, не на тысячу, а на веки вечные и бесконечные».

Так учили в гимназиях, в средних и низших школах. Но и подобная «наука» была суждена далеко не всем.

«До пятнадцати лет я не знал даже азбуки, — рассказывал рабочий Кузьмин, участник одного из первых в Петербурге революционных кружков. — У нас в Олонецкой губернии казенка (кабак) была от деревни в восьми верстах, а школа в пятнадцати».

Отец писателя Сергея Григорьева, железнодорожный машинист, с горечью говорил, что на его учение истрачено на копейку бумаги и на грош гусиных перьев.

Григорий Иванович Петровский учиться не смог: нечем было платить. Между тем, вспоминает он, «страшно хотелось

быть слесарем или токарем, «чтобы сделать паровоз». Таковы иллюзии детства».

Уже упоминавшийся нами И. И. Кутузов проходил две зимы в деревенскую школу, где должен был учиться грамоте у пропившегося дьячка, но почти все время вместо учения он отгребал от снега дорогу к дому дьячка, прибирал его комнаты, пел в церкви, читал псалтырь, подавал в алтарь просфоры с поминаниями за упокой, молился о здравии, таскал подсвечники и «святые дары»...

А там мальчику стукнуло четырнадцать лет, и учеба кончилась. «Пришло время, — вспоминает он, — когда в студеную зиму, погромыхивая и пыхтя, паровоз увез меня на заработки в Москву. Крепко сжималось мое сердце: жалко было покидать родные поля, дремучие леса, родную деревню...»

Так шли годы детства и отрочества.

Но характер людей складывался в эти годы по-разному.

Одни покорялись. Другие ощетинивались и восставали...

Нас не интересуют те, что покорились. Мы равнодушны к судьбе избравших денежный мешок, чиновничью карьеру, обывательское существование, жизнь, в которой не горят, а коптят.

Мы обращаем наши взоры к другим — к непокоренным. К фаланге героев, несокрушимых в борьбе, презиравших смерть, — тем, кто имел право сказать о себе словами поэта:

Низвергаю громы,
Оплакиваю мертвых,
Зову живых!..

(Ф. Шиллер)

О них наши думы. Им посвящена наша баллада...

5

Чтобы стать революционером-большевиком, каждый из этих людей — порой еще подростком или юношей — должен был проделать огромную внутреннюю ломку и совершить бесконечное множество разрывов: с религией, с друзьями, с рабством, воспитывавшимся всем строем окружающей жизни, нередко с родителями и со всей семьей.

Сколько мужества требовалось для того, чтобы решиться на первый шаг! Чаще всего им был бунт против религии: не убоявшись «божьей кары», «оскоромиться» в постный день, когда положено есть только репу с квасом; не пойти в церковь или синагогу; взглянуть в открытое лицо женщины, хотя это запрещено Аллахом и Магометом, его пророком!

У каждого этот процесс проходил по-своему. Но каждый пережил такой полный перелом в понятиях, верованиях, устремлениях...

Толчок этому перелому чаще всего давала книга.

«С тех пор участь моя была решена» — так определяет Арон Александрович Сольц впечатление, которое произвела на него напечатанная на гектографе брошюра, содержавшая изложение взглядов Карла Маркса.

Книга эта не обязательно была нелегальной, не обязательно чисто политической. Среди царившего тогда тупоумия и бездушия потрясало любое честное, открытое, благородное слово.

В жизни Сережи Мицкевича, воспитанника шестого класса Нижегородской военной гимназии «имени графа Аракчеева», такой книгой стала тургеневская «Новь». «Эта книга произвела полный переворот в моей душе», — писал он.

До того настроенный верноподданнически, религиозный, свято соблюдавший посты, прочтя «Новь», как он потом рассказывал, «увидел, что революционеры не изверги... а идейные люди, борющиеся за благо народа». Затем он прочел статьи литературного критика Писарева, которые были под строгим запретом: за книгу Писарева, найденную у ученика, исключали из учебного заведения. Впечатление

было столь сильным, что Сергей Мицкевич отказался от военной карьеры и сделался революционером, а потом — большевиком.

Многие из тех, кто прошел славный путь последовательного борца пролетарской революции, обязаны Писареву, Белинскому, Добролюбову, Чернышевскому тем восторгом, который дается первым пробуждением мысли и впервые раскрывающейся истиной. Вспоминая о чувствах, которые вызвало у него знакомство с произведениями Писарева, революционер старшего поколения М. Н. Дрей писал:

«Я читал сначала с удивлением, а по мере того как подвигался вперед — с все возрастающим интересом. Никогда я ничего подобного не читал. Никогда я не читал книги, которая была бы мне так близка, которая сообщала бы мне громко и ясно мои же собственные, у меня же подслушанные мысли. Но эти мысли, бывшие раньше неясными и походившие больше на предчувствия, превратились теперь в отчетливую, твердую уверенность. Поздно ночью я лег спать, утомленный от умственного напряжения, но спокойный и счастливый. Я чувствовал, что я не один на свете, что большой и умный человек думает совершенно так, как и я...

С этого дня моя жизнь радикально изменилась. Вместо бесцветного, полусонного существования — энергичная и оживленная умственная жизнь...»

Для одного из старейших деятелей нашей партии, Михаила Степановича Ольминского, такую роль сыграл Некрасов, его поэма «Кому на Руси жить хорошо», особенно последняя ее глава «Пир на весь мир», запрещенная цензурой и распространявшаяся тайком, в рукописных копиях.

«Я познакомился с нею в 1878 году, когда она была нелегальщиной, переписал ее целиком и так зачитывался ею, что многие места запомнились до сих пор, — рассказывал М. С. Ольминский полвека спустя. — И теперь, перечитавши ее вновь, пришел к мысли, что именно «Пир на весь мир» наложил печать на характер и направление всей моей жизни».

Для многих рабочих такими книгами нередко были ле-

гальные произведения художественной литературы, которые им давали читать люди, так или иначе связанные с революционным подпольем: «Углекопы» Золя и «Записки из мертвого дома» Достоевского, «Спартак» Джованьоли и поэмы Некрасова, «История крестьянина» Эркмана-Шатриана и очерки Глеба Успенского. Но особенно волновала книга, когда сквозь намеки и недоговоренности, к которым прибегал автор, чтоб книгу его пропустила цензура, читатель угадывал в ней революционное содержание.

«Я жил с братом в общей спальне, насчитывающей около трехсот коек, расположенных сплошными нарами в несколько рядов... — вспоминал Владимир Новиков. — Это был для меня период страстного увлечения чтением. Среди шума и гама фабричной казармы я ложился незаметно на свою койку и читал без устали. Каждую минуту свободного времени старался провести за книгой; читал ночью, иногда до утра. Любимыми писателями были русские классики, а любимыми героями — революционеры. Мое восхищение ими было настолько велико, что я старательно выучивал наизусть целые страницы, где они доказывали правоту своих идей».

Вслед за этим приходил черед «запрещенных листочков» и нелегальных брошюр — таких, как «Царь-Голод», «Пауки и мухи», «Хитрая механика». Изданные подпольно или за границей, напечатанные на плохой бумаге, в тонкой розовой или желтой обложке, они рассказывали, кто чем живет в капиталистическом обществе и чем живы люди этого общества.

«Тогда, в конце прошлого века и в начале нынешнего, молодежи приходилось от шести часов утра и до шести часов вечера работать, — вспоминает Григорий Иванович Петровский. — Во время завтрака, обеда и других коротких перерывов мы с жадностью поглощали запрещенные брошюры и, главное, тут же в проходах и около станков разбирали вопросы организации и критического подхода к только что усвоенному свежему социалистическому материалу. А параллельно с этим каждодневно приходилось на опыте вести практически классовую борьбу против слуг капитала и изворачиваться, чтобы не быть пойманным с прокламацией или

брошюрой мастером, начальником, сторожем или полицейским шпиком, кругом шнырявшими и всегда следившими за нами».

Впечатление, которое производила подпольная литература на ее читателей, было потрясающим. Недаром Сергей Александрович Резонóер, вспоминая, как он прочел первую такую книгу, воскликнул: «Первую нелегальную книгу не забудешь, как первую любовь!»

А Сергей Иванович Гусев, рассказывая о перевороте, который произвело в нем знакомство с произведениями Карла Маркса, писал:

«Марксизм, как молния в ночи, сразу осветил все окружающее, до того тонувшее в черном мраке».

То, что раньше волновало, но оставалось непонятным, теперь становилось доступным разуму.

То, что казалось темным и непостижимым, озарялось ясным светом мысли.

«С каким наслаждением читались эти брошюрки!» — восклицает участник рабочего движения в Донбассе П. Смирнов-Дружковский.

«Прочел я первую запрещенную брошюру в один прием, забравшись для этого во время обеденного перерыва в огромный пустой ящик, стоявший во дворе завода», — говорит А. В. Шотман, рабочий завода «Нобель», ставший затем крупным партийным работником.

«Ночь промелькнула незаметно, — рассказывает рабочий из Донбасса В. Гончаров, впервые познакомившийся с нелегальной литературой на тайной сходке. — На дворе светало... Мне хотелось скорее разобраться во всем, только что услышанном. Было как-то чудно. Все, от первого слова до последнего, говорилось по-русски, а целиком понять нельзя... Я чувствовал себя счастливым, что находился на тайном собрании и что своими ушами слушал умные разговоры. И само слово «тайное» волновало по-особенному, как-то пьянило».



Знакомство с подпольной литературой приводило к желанию познакомиться с революционерами и самому стать революционером.

Потом был нелегальный кружок.

Потом — первая нелегальная работа.

Потом приходил день, в который участник нелегальных кружков становился членом партии.

И наступал какой-то момент, когда он превращался в профессионального революционера, то есть в человека, для которого революционная деятельность составляет его профессию.

Отныне он, как об этом прекрасно сказал по собственному опыту профессионального революционера Андрей Сергеевич Бубнов, «ежесекундно чувствовал себя солдатом революции и членом партии, находящимся в ее распоряжении. С революционной работы он уходил в тюрьмы, в ссылку и выходил «на волю» только для того, чтобы немедленно взяться за партийную работу. И ни в тюрьме, ни в ссылке он не бросал партийной работы или подготовки к ней...»

6

Знаете ли вы стихотворение в прозе Тургенева «Порог»?

Громадное здание, растворенная настежь узкая дверь, за дверью угрюмая мгла. Перед высоким порогом стоит девушка, русская девушка. Из глубины здания вместе с леденящей струей доносится медлительный, глухой голос:

«— О ты, что желаешь переступить этот порог, знаешь ли ты, что тебя ожидает?.. Холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида, тюрьма, болезнь, самая смерть?.. Отчуждение, полное одиночество?.. Безымянная жертва? Ты погибнешь — и никто... никто не будет даже знать, чью память почтить!..

— Знаю... — отвечает девушка. — Знаю и это. И все-таки хочу войти».

Это стихотворение Тургенева вспомнила Елена Дмитриевна Стасова в письме к отцу своему, написанном в 1904 году из Таганской тюрьмы. Зная, что тюремное заключение грозит ее здоровью, отец хлопотал об освобождении под залог. Но она написала ему, что, если ее выпустят из тюрьмы, она тотчас вернется к подпольной революционной деятельности.

«Пойми, дорогой, что в этом моя жизнь, в этом и только в этом, — писала она, — что никакая иная работа не может мне дать сил жить, что это плоть от плоти моей. Это не фразы, родной мой, любимый. Мне страшно тяжело, что я заставляю страдать тебя и маму, лучше мне не жить тогда. Пойми меня, дорогой, хороший, пойми, что я пишу тебе это со слезами на глазах, что у меня душа болит, когда я думаю о вас обоих, но нет сил поступать иначе. . .»

И тут Елена Дмитриевна напомнила отцу стихотворение Тургенева. Напомнила потому, что, подобно девушке-революционерке, которая решилась переступить через этот страшный порог, она так же твердо и бесповоротно посвятила себя великому делу революции.

Выбор революционного пути был не только самопожертвованием, но прежде всего счастьем. Человек приобретал смысл, цель и содержание жизни. Он не мог жить по-прежнему, если только он действительно человек. Говоря словами Анатолия Васильевича Луначарского, из железа он становился сталью. В нем рождались черты героя: доблесть, готовность к борьбе, ненависть к врагам, верность своему классу, партии, товарищам.

«Передо мной стояли два пути, — вспоминает это время своей жизни рабочий Илья Кузьмин. — Либо жить так, как жило большинство рабочих, то есть гнуть спину в три погибели, в меру развратничать и пьянствовать, выслуживаться перед власть имущими, а то и просто удариться в беспробудное пьянство, чтобы забыться от того кошмара, который назывался жизнью, или же бороться с теми, кого я ненавидел и презирал.

Был я молод и силен, да вдобавок еще и горд, как истый пролетарий. Неудивительно, что я выбрал второй путь, по которому и пошел твердой и уверенной поступью. Выбранный мною путь оказался трудным и тернистым, все же я ни разу в своем выборе не раскаивался».

7

Так совершалось приобщение к революции — у каждого по-своему, но в то же время сходно с общей судьбой его поколения революционеров.

У Владимира Ульянова все сложилось по-особенному. Как ни у кого другого.

На его долю не выпали муки детства, которые так омрачали детские годы его ровесников. Семья его, в отличие от многих, не превратилась в арену борьбы «отцов» и «детей». Те книги, которые другие доставали с таким трудом, стояли на полках в кабинете его отца либо в библиотеке старшего брата.

Когда вчитываешься в воспоминания его сверстников и современников, то видишь невысокого гимназиста с подвижным и умным мальчишеским лицом, смелого, отчаянного, то не по летам веселого, затевавшего с младшими детьми шумные игры в «индейцев», в «брыкаски», в «черную палочку», то также не по летам серьезного, пытливо задумывавшегося над вопросами, которые ставила перед ним окружающая действительность.

В тогдашней школе почти в каждом классе складывались три группы учащихся: одна — «камчадалы», жители именуемых «Камчаткой» последних парт, этакая бесшабашная вольница, стреляющая в учителей горохом, не склонная к изучению наук и гордящаяся единицами и двойками.

На противоположном «Камчатке» полюсе находились сидевшие на первых партах пресловутые «первые ученики», зубрилы, ябеды и подлизы, с самых ранних лет выслуживающиеся перед учителями и гимназическим начальством.

Но была и третья группа: юноши и девушки, вдумчиво и глубоко относившиеся к науке, но не тупо прилежные, не зубрилы, не карьеристы в гимназической форме. Даже «казенная наука» будила их мысль и воспитывала интерес к знанию. Круг их интересов далеко выходил за пределы школьной премудрости. Поэтому, много читая, много зная, много думая, они без особых усилий блестяще учились в гимназии, но отдавали все силы ума и души тому, в чем они справедливо видели свое главное призвание.

К таким юношам принадлежал Володя Ульянов.

Приехавший из Сибири товарищ Александра Ильича, который около месяца прожил во флигеле дома Ульяновых, запомнил, как Володя, тогда гимназист третьего класса, подолгу расспрашивал его о каторге и политических каторжанах, об их жизни и нравственных переживаниях. Однажды разговор зашел о свободе мнений и убеждений. Володя задумчиво молчал, потом вдруг спросил:

— Скажите, если папа любит полбенную кашу, а я ее не выношу, неужто я потому являюсь преступником?

— Ни в коем случае...

— Так почему же те, кто не согласен с правительством, являются преступниками и их ссылают на каторгу и даже вешают, как повесили некоторых декабристов?

Огромную роль в формировании личности Володи Ульянова сыграл его старший брат. Нередко в то время, когда Александр Ильич вел с приходившими к нему друзьями революционные разговоры, а подчас и жаркие споры, Володя — весь слух и внимание — сидел, притаившись в углу, боясь пропустить единое слово. Александр Ильич ему полностью доверял и, с любовью глядя на брата, говорил своим друзьям:

— Можете свободно говорить при нем. Что услышит, он никому не скажет.

С годами дружба братьев росла. Когда Александр поступил в Петербургский университет и приезжал в Симбирск

на каникулы, он обычно жил вместе с Володей в общей или смежных комнатах. В последние два лета он привозил с собой книги по экономике, истории и социологии, между прочим — «Капитал» Карла Маркса. Младшим детям запомнилось, как Саша и Володя часами говорили друг с другом и ночи напролет в их комнатах горел свет. Никогда, наверно, братья не были так близки между собой.

Осенью Александр Ильич уехал в Петербург. За зиму он прислал несколько писем. Обычных писем, ничем не отличающихся от других.

А в марте пришло неожиданное известие: Саша арестован!

О роковых событиях, которые произошли в Петербурге, первой в Симбирске узнала близкий друг семьи Ульяновых В. В. Кашкадамова. Однажды утром она получила письмо из Петербурга. Писала хорошая знакомая. В осторожных выражениях она сообщала, что Александр Ильич в тюрьме, он замешан в заговоре, целью которого было покушение на жизнь царя; надо подготовить к этому известию Марию Александровну (Илья Николаевич к этому времени скончался). Арестована также и старшая дочь Ульяновых, Анна.

Получив это сообщение, Кашкадамова решила посоветоваться с Володей, которого она знала как твердого, мужественного юношу.

В этот ранний утренний час Володя Ульянов должен был быть в гимназии. Кашкадамова за ним послала.

Вскоре Володя пришел — веселый, румяный от мороза, ни о чем не подозревавший. Кашкадамова решила действовать прямо. Она дала ему прочесть письмо и просила подготовить мать.

Просмотрев письмо, Володя задумался и медленно произнес: «Да, дело серьезное». Видно, ему нужно было время, чтоб справиться со своим волнением; он еще посидел молча, потом вышел.

Прошло всего полчаса. Раздался звонок у входной двери. Это была Мария Александровна — очень бледная, словно окаменевшая. Она произнесла одно только слово:

— Письмо!

Кашкадамова молча подала письмо. Мария Александровна прочла его. Ни один мускул не дрогнул на ее лице, когда она читала трагическую весть.

— Сегодня я еду в Петербург, — произнесла она. — Прошу вас, навещайте детей.

В тот же день Мария Александровна уехала в Петербург. Там она ходила по разным сановникам, хлопотала об облегчении участи своих детей. Ее твердость, достоинство и даже величие, с которым она переносила самое тяжкое горе, какое только может выпасть на долю матери, производили на всех сталкивавшихся с нею такое впечатление, что даже жандармы пошли на уступки и, вопреки существовавшим на сей счет правилам, дали ей свидание с сыном в неурочное время.

Следствие по делу о так называемом «Первом марта 1887 года» продолжалось около двух месяцев. В это время Мария Александровна приезжала один раз в Симбирск проведать младших детей. Она говорила В. В. Кашкадамовой, что сочла бы для себя величайшим счастьем последовать за сыном Александром в вечную ссылку куда угодно, хоть на край света.

Пробыв несколько дней в Симбирске, она уехала в Петербург и жила там до самой казни сына.

В эти тяжелые месяцы семнадцатилетний Володя оставался в Симбирске старшим в семье.

Нет среди революционных деятелей прошлого никого, чья юность оборвалась бы так трагически!

Подумать только: Саша, брат, дорогой, бесконечно любимый брат Саша заключен в крепость и ждет суда и смерти на эшафоте. Аня в тюрьме. Мама проходит сквозь муки. А он должен, стиснув зубы, жить здесь, в Симбирске. Он должен заботиться о младших. Он должен не показывать чужим людям свое страшное горе.

Представьте себе тогдашний Симбирск — город, который не случайно родил в душе молодого Гончарова образ Обло-

мова. И вдруг застойную муть его сонного существования всколыхнуло необыкновеннейшее известие: в Петербурге какие-то «злодеи» готовились убить царя Александра III, и один из этих «злодеев» — Александр Ульянов! Да, да, тот самый, сын Ильи Николаича! Кто бы подумал? Таким ведь казался тихоней!

Всего за шесть лет до того, весной 1881 года, симбирские обыватели с замиранием сердца читали и перечитывали приходившие из Петербурга «депеши» с сообщениями об убийстве Александра II. Город только и жил разными вариантами рассказов, как и при каких обстоятельствах произошли цареубийство, а затем суд и казнь народовольцев. Казнь эта была совершена публично, осужденных выводили на высокий помост, на котором стояли виселицы, и толпа, собравшаяся на плацу, видела все в малейших подробностях.

Но теперь симбирские обыватели волновались еще пуще: ведь одним из «злодеев» был уроженец Симбирска!

Володю и всю семью Ульяновых окружило плотное кольцо одиночества, ненависти, сплетен и злобных слухов. Особенно плотным стало оно, когда на всех городских столбах были расклеены объявления о смертном приговоре и казни Александра Ильича и его товарищей.

Какой силой воли, каким мужеством должен был обладать Владимир Ульянов, этот едва оперившийся юноша, чтоб вынести обрушившуюся на него страшную беду, выстоять, выдержать!

Он с честью перенес это тягчайшее испытание. Но далось оно ему не легко. Как вспоминает В. В. Кашкадамова, за это время Володя Ульянов резко изменился. Он перестал шутить, редко смеялся и как-то сразу стал взрослым. Только в отношениях с младшими детьми оставался прежним — добрым и ласковым Володей.

Говоря с В. В. Кашкадамовой об Александре Ильиче после его казни, Володя убежденно сказал:

— Саша должен был так поступить!



...Другого подобное испытание могло сломить. Володя Ульянов не только выстоял, но закалился, окреп. «Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат».

Участь брата усилила созревшую в нем давно решимость отдать революции всю свою жизнь, до последнего вздоха. После казни Александра Ильича прошло меньше полугода, а тайные фискалы, шнырявшие среди студентов Казанского университета, куда поступил Владимир Ильич, уже доносили, что «Владимир Ильич Ульянов, брат повешенного», замечен в компании студентов, находящихся на подозрении, он с ними шушукается и за ним следует вести неусыпное наблюдение. И в происшедшем вскоре выступлении студентов университета, протестовавших против введения усиленного, чисто полицейского надзора за студентами, в первых рядах протестующих был Владимир Ильич.

В следующую же ночь он был арестован, затем исключен из университета и выслан из Казани.

Он был водворен в село Кокушкино, где жила высланная туда старшая его сестра Анна. Там он много читал и работал. Затем, после короткого пребывания в Казани и на хуторе Алакаевка, переехал в Самару. Все это время изучал произведения Маркса и Энгельса. Анна Ильинична считала годы пребывания Ленина в Казани и Самаре «самыми важными, пожалуй, годами: в это время складывалась и оформлялась окончательно его революционная физиономия».

Осенью 1893 года Владимир Ильич переехал в Петербург. К этому времени он был убежденным последователем Маркса, с целостным, глубоко продуманным мировоззрением.

8

Приехав в Петербург, Владимир Ильич быстро установил связи с петербургскими социал-демократами. На первых порах встречи происходили под видом вечеринок с чаепитием: на столе шумел самовар, а собравшиеся слушали и обсуждали доклад одного из членов кружка.

Проникнем вслед за Софьей Павловной Невзоровой-Шестерниной на одну из таких вечеринок, на которой присутствовали участники первых марксистских кружков — сплошь молодые люди, только начинавшие революционную деятельность.

«На диване за столом сидит Владимир Ильич, — вспоминает она. — Свет лампы освещает его большой, крутой лоб с кольцами рыжеватых волос вокруг значительной уже лысины, худощавое лицо с небольшой бородкой. Он делает доклад. . .»

Все, кто знал молодого Ленина, в один голос говорят, что впечатление он производил необыкновенное. Недаром он сразу стал первым среди равных.

«Уже тогда чувствовалось, что перед тобой могучая умственная сила и воля, в будущем — великий человек», — пишет член марксистского студенческого кружка А. А. Ганшин. «Ему было тогда только 23 года, но он казался значительно старше своих лет,— рассказывает М. Н. Шестернин.— При первой встрече с ним меня поразили его проникновенные глаза, которые, казалось, насквозь видели человека. В товарищеской беседе Владимир Ильич смеялся нередко тем заразительным смехом, каким смеются только дети и очень хорошие люди». «Мало того, что он был умен и высокообразован, — в его психике было нечто такое, что подчиняло ему слушателей, — отмечает М. А. Сильвин. — . . . Чувствовалось, что этот человек нашел самого себя, что основные целевые устремления определились у него прочно, на всю жизнь».

Так оценивают Ленина не только его соратники, но и идейные противники. Близко знавший его в те годы Лев Мартов, уже разойдясь с Лениным и став меньшевиком, вспоминая, как он читал первые произведения Ленина, говорит о «революционной страсти», которой от них веяло. Они, пишет Мартов, обнаруживали «литературное дарование и зрелую политическую мысль человека, сотканного из материала, из которого создаются партийные вожди».

Но вернемся на ту вечеринку, на которой у кипящего самовара хозяйничает Софья Павловна Невзорова-Шестернина.

Напротив Ленина, напряженный, как стрела, сидит Герман Красин. Дальше, на стульях, разместились остальные: всегда спокойный на вид, но горячий в спорах Старков, чернобровый и черноглазый Мальченко, высокий и красивый Запорожец, коренастый, белокурый, рассудительный и скромный Ванеев, нервный, подвижный Сильвин. На кровати сидят сестры Якубовы, а у печи стоит, заложив руки за спину, высокий, с большим лбом, бурнопламенный Глеб Кржижановский.

Владимир Ильич кончил доклад. Начинается жаркий спор. Высказывает свою точку зрения Герман Красин, горячится Кржижановский, возражает Старков. Владимир Ильич молчит, внимательно слушает, переводя острые, смеющиеся, пытливые глаза с одного на другого. Наконец он берет слово. Сразу наступает тишина. Все с необычайным вниманием слушают, как он опровергает взгляды своих противников, изумляя своей необыкновенной эрудицией, несокрушимой логикой и горячим темпераментом.

«Мне той осени не позабыть вовек», — писал много лет спустя Глеб Максимилианович Кржижановский в одном из своих сонетов, посвященных Ленину:

Все в этой комнатке, обставленной сурово,
Сегодня приняло веселый вид,
Не оттого ль, что ленинское слово
Впервые мощно здесь звучит?

В его докладе все так просто, ясно,
Но взято с небывалой глубиной.
И каждого из нас неотразимо властно
Увлек он в дум своих заветный строй.

Немного нас, но мы отвагой полны,
И правда жизни вся на нашей стороне,
Нам бурь лихих не страшны волны,
Добьемся счастья мы родной стране.
И то, что было нам еще темным-темно,
Ум гения прозрел давно. . .

9

В старых царских архивах сохранился написанный по данным охранки отчет о деятельности созданного Лениным и его единомышленниками «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».

Автором этого отчета был некий Статковский.

В молодости, будучи студентом, Статковский завязал знакомства в революционных кругах. Охранка заподозрила его в политической неблагонадежности; он был арестован — и на первом же допросе согласился стать тайным агентом полиции. Некоторое время он занимался шпионской деятельностью среди студентов, но те его распознали и здорово избили. После этого он перешел на службу в охранное отделение.

Там он проявил себя ревностным сотрудником. В служебной характеристике о нем сказано:

«Отличаясь громадными розыскными способностями, неутомимой энергией и редкой преданностью долгу службы и любовью к делу, П. С. Статковский выполнил целый ряд блестящих ликвидаций и арестов».

Отчет этот был совершенно секретным и напечатан был в трех экземплярах на пишущей машинке.

«Во второй половине 1895 года, — говорится в отчете, — охранное отделение вступило в борьбу с новой революционной организацией, принявшей наименование «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В сентябре 1895 года впервые появились в Санкт-Петербурге прокламации от имени «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» с обращением к рабочим сестрорецкого оружейного завода. Главным организатором этого «Союза» был помощник присяжного поверенного Владимир Ильич Ульянов (брат Александра Ульянова, казненного в 1887 году за цареубийство)...

Некоторые из членов «Союза» приняли на себя ведение пропаганды и распространение воззваний, преимущественно среди рабочих Шлиссельбургского и Нарвского районов... Члены нового сообщества старались завязывать знакомства

с рабочими и составлять из них кружки с целью преступной пропаганды, а главное — подготовлять хороших пропагандистов и агитаторов из среды самих рабочих.

В ноябре 1895 года «Союзу борьбы» пришлось впервые активно выступать с подстрекательством рабочих к забастовкам. Именно: благодаря «Союзу борьбы» произошли забастовки сперва на фабрике Торнтон, затем на фабрике Лаферма и, наконец, трехдневная забастовка рабочих «Товарищества механического производства обуви». Во время каждой из этих забастовок «Союз борьбы» выпускал в большом количестве гектографированные или мимеографированные листовки...

В 1896 году, — продолжает отчет, — число членов «Союза борьбы» значительно возросло... Решено было совершить первое выступление по поводу предстоящего Первого мая — всемирного рабочего праздника... «Союз борьбы» выпустил новую прокламацию, в которой довольно ясно была изложена его программа.

Программа эта, как известно, легла в основу программы возникшей через два года Российской социал-демократической рабочей партии.

«Мы, петербургские рабочие, — повествовала между прочим прокламация, — приглашаем всех остальных наших товарищей присоединиться к нашему союзу и способствовать великому делу объединения рабочих за свои интересы... стать под наше общее знамя, на котором написано: «Рабочие всех стран, соединяйтесь!»

Заключительные слова этой прокламации особенно интересны, так как они указывают самый верный способ борьбы с капиталистами:

«Товарищи! Если мы будем действовать дружно и единодушно, то недалеко то время, когда мы, сомкнувшись в стройные ряды, будем в состоянии открыто присоединиться к общей борьбе рабочих всех стран, без различия веры и племени, против всех капиталистов всего мира. И подымется мускулистая рука, и падут позорные цепи неволи, подымется

на Руси рабочий народ, и затрепещут сердца капиталистов и всех прочих врагов рабочего класса.

Союз борьбы за освобождение рабочего класса.
Петербург, 19 апреля 1896 г.»

Поэтому были произведены аресты и ликвидация выдающихся вожаков «Союза борьбы».

...Почти каждую свою прокламацию к рабочим они заканчивали восклицанием: «Долой самодержавие!»

Таков отчет, составленный охранником, о деятельности ленинского «Союза борьбы».

Приводя обширные выдержки из прокламаций, выпущенных «Союзом борьбы», охранник неплохо освещает цели «Союза».

Но по отчету видно и другое: почти ничего, кроме прокламаций, которые ей удалось выловить, охранка о «Союзе» не знала.

Особенно мало знала она о внутренней жизни центрального ядра «Союза».

Объясняется это тем, что в него не сумел проникнуть ни один шпион-провокатор, а также и тем, что члены «Союза» тщательно соблюдали установленные по настоянию Ленина строжайшие правила подпольной революционной работы.

10

Каждое поколение нашей партии внесло свой вклад в ее великое дело. Но особого преклонения заслуживают те, что были первыми. Сколько дьявольских усилий требовал каждый шаг!

Чтобы проникнуть к рабочим, интеллигенты — участники кружков — заводили знакомства с рабочими на народных гуляниях, возле балаганов и каруселей, снимали комнаты в рабочих семьях, а то и ложились в больницы для городской бедноты.

И так же страстно искали знакомства с революционера-

ми-интеллигентами участники зарождавшихся тогда рабочих кружков.

«...Я вспоминаю первое время революционной работы, когда мы с Путиловского завода шли на свидание к «интеллигенту», шли к Александринскому театру в Петербурге, — рассказывает Михаил Иванович Калинин. — Я вспоминаю это свидание, окутанное романтическими приемами... Вся эта обстановка, полная романтизма, опасности, когда чувствуешь, что малейший твой промах, малейшая конспиративная ошибка — и ты провалишься в каменный мешок...» — в тюрьму или крепость.

Нельзя без щемящей грусти смотреть на цифры, которые относятся к начальному периоду деятельности «Союза борьбы»: первый листок Владимир Ильич написал в четырех экземплярах от руки печатными буквами. Иван Васильевич Бабушкин разбросал их на заводе Семянникова. Из них два подобрали сторожа, и только два пошли по рукам рабочих.

Первая часть брошюры Ленина «Что такое «друзья народа»...», размноженная на гектографе синими чернилами, была выпущена максимум в 250 экземплярах, вторая — еще того меньше, а третья — едва ли в 50 экземплярах.

Но ничто не могло воспрепятствовать бурному нарастанию новых, боевых революционных сил, с шумом врывавшихся на передовую линию исторической действительности.

Ранней весной 1895 года молодой Максим Горький, который жил тогда в Нижнем Новгороде, повстречал одного из представителей этого глубоко интересовавшего его направления — Александра Карповича Петрова — и забросал его вопросами, пытливо разузнавая, в чем видит Петров свое призвание.

— В чем? — переспросил Петров. — Да в том, чтоб организовать и еще организовать рабочий класс...

— И что же, организуете? — продолжал свои расспросы Горький.

— Да, понемногу, — отвечал Петров. — В Казани три года проработал по этой части и намереваюсь года два до ареста проработать в Нижнем.

— Ну, а дальше как?

— Дальше тюрьма, ссылка, оттуда побег на нелегальное положение, и снова организация.

— До каких же пор?

— До социальной революции...

Во имя этого высокого революционного идеала лучшие люди вступали в партию, зная, что им уготованы тюрьма, ссылка, каторга; что они изведают тяжесть кандалов, мрак темных карцеров, тюремные голодовки-протесты, розги в Псковском каторжном централе и побои в Орловском; что, быть может, им суждена гибель в полном одиночестве, безвестная могила — и даже не могила, а только место казни.

Но, зная все это, они не останавливались перед выбором своей судьбы.

Если ж погибнуть придется
В тюрьмах и шахтах сырых, —
Дело, друзья, отзовется
На поколеньях живых!

«О том, что эта борьба не на живот, а на смерть должна вестись и что я буду участвовать в этой борьбе всеми доступными мне силами и средствами, в этом для меня лично уже не было ни малейшего сомнения, — писал о себе один из старейших деятелей большевистской партии, Петр Ананьевич Красиков. — Это была аннибалова клятва, которую я и мои ближайшие друзья дали совершенно искренне и твердо...»

Дали эту аннибалову клятву — и ее выполнили!

Таковы были те люди, которые на грани нового, XX века поднялись во главе с Лениным на штурм самодержавия и капитализма.

Глава вторая

«ДАЙТЕ НАМ ОРГАНИЗАЦИЮ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ!..»

1

Не было в истории человечества поколения, на долю которого выпало бы решение столь великой, исполинской задачи, как на долю ленинского поколения революции.

«Перед нами стоит во всей своей силе неприятельская крепость, из которой осыпают нас тучи ядер и пуль, уносящие лучших борцов, — писал Ленин. — Мы должны взять эту крепость, и мы возьмем ее...»

На стороне засевшего в этой крепости врага — сила, власть, оружие. Враг обладает войском. В его руках полиция и тюрьмы. Он богат. Он чувствует себя всемогущим.

Победить такого врага можно было лишь соединив силы пробуждающегося пролетариата и русских революционеров в единую, сплоченную партию, действующую как один человек.

Вот почему Ленин, думая о России, о русской революции, о том, как выиграть неравный бой, воскликнул:

«Дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию!»

…Подобно тому как воин должен владеть военной наукой, боец подпольной партии должен был в совершенстве изучить науку тайной революционной войны — конспирацию.

Великий германский поэт и мыслитель Гете говорил:

Недостаточно знать,
Нужно также применять.
Недостаточно желать,
Нужно также делать.

Именно для того, чтоб «знать», «применять» и «делать», и нужна была эта наука.

2

Как всякая наука, она имела некий свод общих правил.

Участник подпольной организации обязан был быть исправен и точен. И не болтлив. Товарищам он имел право задавать только такие вопросы, которые были связаны с порученной ему работой. О своей работе говорить только тому, кому это было необходимо для дела. Не хвастать тем, что сделано им для партии. Освоить так называемую «технику»: резьбу печатей, смывание чернил, типографское и переплетное дело, и многое другое.

Заметив, что его взяли под наблюдение, он должен был тут же сменить жилье. При этом стараться найти квартиру с отдельным ходом и глухими стенами. Не хранить писем и фотографий товарищей по подполью. Раньше чем войти в нелегальную квартиру, удостовериться, что условные знаки (занавеска, горшок с цветами на подоконнике, надпись мелом, горящая лампа), предупреждающие, что все в порядке, находятся на месте.

Адреса и вообще все, связанное с подпольной деятельностью, не записывать, а запоминать назубок. Если же запомнить никак невозможно, тщательно зашифровывать запись двойным, а то и тройным шифром, стараясь при этом настолько владеть процессом шифровки, чтоб писать шифром со скоростью обычного письма.

Вместо записных книжек пользоваться листками папиросной бумаги, которые можно, в случае чего, проглотить. Если надо оставить записку, писать ее так, чтоб понять мог только тот, кому она адресована.

Член первой большевистской Боевой организации Александр Михайлович Игнатьев вспоминает такой случай. К нему зашел товарищ по Боевой организации партии, не застал, оставил записку: «Был тот, кто лает у ворот». Вернувшись домой, Игнатьев стал раздумывать над тем, что́ же может означать эта записка. Вспомнил поговорку: «Енот, что лает у ворот». Но кто мог назвать себя енотом? И догадался: это был... Бобров.

О другом подобном случае вспоминает руководитель Боевой организации Николай Евгеньевич Буренин. Ему надо было сообщить товарищам, что начиненные динамитом бомбы из места, адрес которого стал известен полиции, перенесли благополучно. Он написал записку: «Свадебные мешки с конфетами переданы дружкам, и они очень довольны». Но товарищ, которому была адресована эта записка, был арестован и не успел ее уничтожить, так что записка попала в руки жандармов. Они приобщили ее к делу, а несколько месяцев спустя вернули, как не имеющую отношения к тем самым бомбам, о которых в ней писалось.



Конспирация, с ее явками, адресами, паспортами, должна была определять весь образ жизни большевика-подпольщика.

Особенно осторожным ему надо быть на улице. Не оглядываться. При случайной встрече с товарищами не узнавать их. Даже в случае явной опасности не проявлять беспокойства.

Постоянно проверять, нет ли слежки. Если нет, можно идти. Если же есть, то непременно «замести хвост», «затереть след», то есть освободиться от шпионов, сделав не-

сколько петель по городу, скрывшись с помощью проходных дворов или заранее известных лазеек, вскочив на извозчика, на трамвай или на конку, спрыгнув на ходу — словом, любым ловким маневром уйти от шпика.

Среди тайных агентов полиции было много тупиц. Но были среди них и мастера своего дела, набравшиеся большого опыта. Младшая сестра В. И. Ленина, Мария Ильинична Ульянова, вспоминая о своей работе в подполье, рассказывала, как умело держали себя порой эти агенты. «Сплошь и рядом бывало так, — говорила она. — Пойдет за тобой один, а чтоб ты не догадался, что за тобой следят, передаст другому, потом снова появится».

«Частенько верст семь приходилось отмахивать без отдыха, скрываясь от шпика, — рассказывает большевик-подпольщик Александр Карпович Петров. — По пути не раз приходилось пролететь проходным двором, перескочить через забор, забежать в многолюдную чайную, выскочить через черный ход и продолжать дорогу. Но и шпики не дремали. Они тоже забегали в каждое удобное место и оттуда наблюдали за своей дичью. Вскакивали на извозчика, снова гнались. И прибегали ко всякого рода приемам».

Если же уйти не удалось и арест неминуем, нужно было уметь мгновенно «очиститься», уничтожив все, что не должно попасть в руки полиции. Если тебе поручено что-то сохранить, ты должен это так спрятать, чтоб, как говаривали тогда, «не только кто-нибудь, а сам черт не нашел бы».

Набираясь опыта, настоящий конспиратор с годами превращался в сгусток внимания, наблюдательности, мгновенной реакции, безошибочного чутья.

Наметанный глаз сразу выделял в толпе подозрительную фигуру с нарочито тупой или с подвижной, пронырливой физиономией.

Этот же глаз при встрече со вновь вступающим в нелегальную партию человеком быстро определял людей, из которых выйдет толк, и тех, от кого не только не будет толка, а будет один вред.



Недаром тогда полушутя-полусерьезно говорили, что подполье — это великолепная экспериментальная школа для изучения человеческой психологии.

3

Жизнь подпольщика была полна опасностей, полна неожиданностей.

Вот, к примеру, такое.

Осенью 1903 года Авель Сафронович Енукидзе и его брат, известный в партии под партийной кличкой «Семен», решили создать в Баку подпольную типографию.

Семен Енукидзе, разыгрывавший из себя богатого барина, снял для будущей типографии дом в той части Баку, которая была населена азербайджанцами, татарами и выходцами из Ирана. Поселился он там с пожилой женщиной, которую выдавал за свою мать, и с братом. Затем тайком провел в дом несколько работников типографии.

Дом был построен так, как строились дома исповедующих магометанскую религию: в передней части его жили мужчины, а заднюю, выходившую в глухой двор, составляла «женская половина». Там и была установлена печатная машина.

Типография была тщательно законспирирована. Работники ее в течение дня не показывались на передней половине. Их постели и вещи убирались в задние комнаты. Так что, зайди сюда случайный посетитель, он ушел бы, ничего не заметив.

Такие посетители бывали. То и дело у входных дверей звенел колокольчик.

— Кто там?

— Зелень, вот зелень! Кому редиска, огурцы, зеленый лук?

Снова звонок.

— Кто пожаловал?

— Цыплята! Свежие цыплята!

Опять звонок. На этот раз водовоз.

И так весь день...

На праздники приходили городовые. Им полагалось «дать» и «поднести». «Дать» серебряный рубль, «поднести» стакан водки.

А как-то черт принес самого господина околоточного надзирателя. Тот долго сидел, развалившись в кресле, пыхтел, вытирал платком лоб, говорил, что все азербайджанцы и татары — воры и разбойники, и предложил свои услуги, буде таковые понадобятся. За предложение поблагодарили и сунули «красненькую» — так называли тогда десятирублевку. «Услугами» не воспользовались.

Но вот в одно непрекрасное утро, в дни празднования магометанского праздника новруз-байрам, к Семену Енукидзе явился хозяин дома, привел с собой великолепного барана с позолоченными рогами и головой, выкрашенной хной, и объявил Семену, что он, хозяин, решил отправиться в Мекку к священному камню пророка. И по сему случаю он продает дом дальнему родственнику, который скоро придет сюда вместе со своими братьями, чтобы осмотреть покупку.

От неожиданности Семен так переменился в лице, что хозяин это заметил и спросил, что с ним.

Семен нашелся. Объяснил, что его огорчило то, что он должен расстаться со столь почтенным и уважаемым хозяином.

Хозяин стал утешать его. Сказал, что новый хозяин будет еще лучше. Он, мол, очень хороший и почтенный человек. Он «хаджи», побывал уже в Мекке.

На вопрос Семена, не потребует ли новый владелец, чтобы жильцы освободили дом, старый хозяин ответил, что у покупателя много домов и он даже заинтересован в том, чтоб такие хорошие жильцы остались.

В ожидании незваных, негаданных гостей работники типографии со всей своей нелегальщиной забрались в комнату, в которой стояла печатная машина, заперли двери, окна, ставни. Прислушивались, затаив дыхание.

Около часу дня пожаловало шестеро почтенных седобородых старцев в высоких белых чалмах. Семен встретил их у порога и стал водить по дому. Так они подошли к той комнате, в которой находилась типография.

Остановившись у двери, Семен сказал, что это комната, в которой живут его мать и сестра. Если хаджи желают осмотреть ее, он просит их повременить, чтобы перевести женщин в другие комнаты. Но верные сыны пророка, запрещающего смотреть на непокрытое лицо женщины, запротестовали против подобной кощунственной мысли и ушли, дружественно распростившись с Семеном.

Едва их шаги затихли в отдалении, сидевшие взаперти выбежали во дворик и стали бурно ласкать золоторогого барана.

Эта история имела продолжение.

На следующий день новый хозяин прислал в подарок Семену большой деревянный поднос с великолепным рисовым пловом и живую курицу с петухом.

У петуха оказался скверный и даже опасный характер: он повадился перелетать в чужие дворы и заводить отчаянные драки с тамошними петухами. Его ловили и с руганью бросали обратно во двор типографии с крыш соседних домов. Все это грозило привести к скандалу, а то и хуже: обозленные соседи, следя за шкодливым петухом, могли заметить что-то необычное в доме, занимаемом типографией, и донести об этом полиции. Поэтому петуха пришлось прирезать.

А баран и курица жили при подпольной типографии, пока ее не перевели в другое место.

4

Значительную часть профессиональных революционеров составляли так называемые «нелегалы»: это были люди, которые жили под чужим именем, по чужим или фальшивым паспортам, а то и без паспортов.

Вообще переход на нелегальное положение не был обязателен для работника партийного подполья, да и не мог быть обязателен, потому что партии нужны были не только нелегальные, но и легальные люди. Надо помнить также, что партия была очень бедна и не могла содержать своих работников. Поэтому средства к жизни надо было добывать собственным трудом, а для «нелегала» это было очень трудно.

Чаще всего бывало так. Человек сколько-то времени работал легально. Потом обнаруживал за собой неотрывную слежку, уходил незаметно из дому, доставал паспорт и становился «нелегалом». В какой-то несчастливый день он, что называется, «проваливался», то есть попадал в тюрьму. Обнаруженный при аресте паспорт проверяли и устанавливали, что он фальшивый. Ничего не поделаешь: приходилось назвать свое настоящее имя. Под этим именем человека отправляли в ссылку или тюрьму. Там он, в зависимости от обстоятельств, либо отбывал срок, либо бежал — и тот же цикл с различными вариациями повторялся снова.

Итак, переход на нелегальное положение совершен. В кармане лежит фальшивый паспорт. Если это просто чужой паспорт, его звали «железкой». Если это паспорт, в котором смыто подлинное имя и приметы его владельца и вписаны новые, он назывался «липой». Для изготовления «лип» нужно было большое умение. Этим делом занимались специальные люди, которых звали «прачками».

Процесс изготовления «липы» распадался на ряд операций. Сперва смывался старый текст. Делалось это раствором марганца, от которого паспортный бланк становился ярко-красным. Затем паспорт опускали в щавелевую кислоту — и он делался желтым. Потом его обрызгивали чистой водой — и он постепенно белел. Потом, чтоб не расплывались чернила, его держали некоторое время в желатиновом растворе.

Только тщательно подготовив бланк, можно было приступать к его заполнению: вписывать новые имена, превращая

4*

разыскиваемых полицией большевиков в «потомственных почетных граждан», живущих «своим капиталом», в мещан, дворян, купцов и прочее, и, приноровив свой почерк к изысканным почеркам чиновников полицейских участков, выводить заковыристые подписи с росчерками и завитушками.

«Железка» — это паспорт не поддельный, а подлинный, но выдан он другому человеку. Может, этот человек давно умер. Может, он свой паспорт потерял или пропил. И хотя паспорт настоящий, но предъявивший его партийный «нелегал» в случае провала оказывался в весьма трудном положении.

Так, например: одному товарищу попался паспорт беглого уголовника, приговоренного к смертной казни через повешение. Товарищ заявил, что паспорт у него фальшивый. Но его два года таскали из тюрьмы в тюрьму на «опознание».

Бывали и забавные казусы. Вроде такого, который произошел с Сергеем Ивановичем Гусевым.

Бежав из ссылки и приехав в Петербург, С. И. Гусев получил от товарищей «железку», о которой отзывались, как о вполне надежной. Снял комнату. Дал паспорт на прописку. Но несколько дней спустя за Гусевым пришел городовой и препроводил его в участок. Оказалось, что подлинный владелец паспорта учинил в пьяном виде скандал в ресторане и присужден к двухнедельной отсидке в камере при полицейском участке.



Делать нечего: пришлось Гусеву сесть под арест.

На беду, настоящий владелец паспорта был электротехником, и пристав решил воспользоваться этим, чтобы сделать в участке электрическую проводку. Вот и пришлось Гусеву выкручиваться, разыгрывая из себя придирчивого мастера, недовольного то проводом, то инструментом и часами рассуждавшего насчет всяких «коэффициентов» и «гальванизмов».

...Одно из правил подпольной работы гласило, что члены партии должны быть известны в организации под партийными псевдонимами или кличками. Даже близкие товарищи порой знали друг друга только по этим кличкам.

По какому же признаку давалась товарищу та или иная кличка?

Были среди них ничем не мотивированные или ничего не говорящие. Федора, скажем, начинали звать «товарищ Степан», а Владимира — «товарищ Мирон».

Были глубоко мотивированные. Такая, как «Старик», данная партией двадцатитрехлетнему Ленину в знак признания его ума и всесторонней образованности.

В основе некоторых кличек лежало какое-то сходство: светло-рыжего Енукидзе прозвали «Золотая рыбка»; товарища, выделявшегося своей отчаянной храбростью и находчивостью, — «Чертом»; пылкого оратора — «Маратом».

Другие клички подбирались по противоположности: длинного, поджарого дядю называли «Санчо Пансой», коротконогого толстяка — «Дон Кихотом».

Бывало и так, что разные клички одного и того же человека были подобраны и на том и на другом принципе. Так, к Елене Дмитриевне Стасовой, с ее цельной, несгибаемой натурой, прижилась партийная кличка «Абсолют». Но она же в переписке петербургской партийной организации с В. И. Лениным и Н. К. Крупской носила кличку «Разбойник».

Что касается имени «Ленин» — оно было одним из литературных псевдонимов Владимира Ильича Ульянова, под которым его знала партия. После Октябрьской революции, став Председателем Совета Народных Комиссаров, он подписывался: В. Ульянов (Ленин).

Какой ни есть, но паспорт в кармане. Получены «связи», то есть фамилии и адреса людей, с помощью которых можно найти членов подпольной организации. Вызубрены наизусть адреса явок — квартир, на которых встречаются участники

партийного подполья. Нелегальный партийный работник приступает к очередному циклу своей деятельности.

Он знает, что ему отпущен неопределенный, но наверняка короткий срок. Дамокловым мечом висит над ним постоянная угроза ареста. Идя по улице, он неприметно оглядывается, проверяя, не следует ли за ним осторожная тень. Подходя к дому, в котором находится явочная квартира, глядит, стоит ли на окне, как то было условлено, горшок герани.

Работу, которую он успевает проделать, подчас губят последовавшие за нею провалы. Аресты вырывают то одного товарища, то другого. Только что сколоченная организация распадается под ударами. Приходится снова и снова налаживать, сколачивать, чинить, штопать.

Все это так. Но нет в его жизни большего счастья, чем эти короткие месяцы, а то и дни подпольной работы между выходом из тюрьмы и новым арестом, новой тюрьмой...

5

Сам Владимир Ильич Ленин был в подпольной работе мастером высшего класса. Вероятно, еще юношей, после гибели брата Александра, он задумался над тем, почему же провалилось так называемое дело «Первого марта 1887 года»? Почему на Невском были арестованы метальщики, которые должны были бросить бомбы в царскую карету? Почему вслед за их арестом последовал полный разгром организации и арест всех ее участников?

Только много лет спустя, уже после Октябрьской революции, когда были раскрыты тайны царских архивов, стало известно, что причиной этого страшного по своим последствиям провала было грубейшее нарушение правил конспирации: один из участников готовившегося покушения послал своему приятелю письмо, в котором болтал о готовящемся покушении. Письмо это перехватила полиция и по этому следу установила причастных к тайной организации.

Но и не зная этого, Ленин с самого начала своей революционной деятельности придавал важнейшее значение самому строжайшему, самому неуклонному выполнению всех конспиративных правил.

Как рассказывают сестры, в Казани и в Самаре Ленин познакомился кое с кем из старых народовольцев. Не соглашаясь с их программой и тактикой, Владимир Ильич старался узнать у них все, что можно применить с пользой для революционной работы. Всегда их расспрашивал:

— А как вы прятались от шпиков? Как вы заводили знакомства? Как устраивали типографии и распространяли листки?

«Он удивительно умел быть совершенно незамеченным, — рассказывает Авель Сафронович Енукидзе. — Пройдешь, бывало, по улице, никого знакомого не встретишь, а он потом говорит: «Я вас видел».

Благодаря соблюдению правил конспирации, а также природной находчивости и наблюдательности Владимир Ильич не раз уходил от почти неминуемого ареста. Ему, рассказывает Мария Ильинична, «приходилось изучать проходные дворы и все время зорко следить, а не идет ли кто-нибудь? У него было особое уменье от них уходить».

Так, однажды в Петербурге, «подцепив», как говорили тогда, шпика, он не растерялся: подойдя к парадному подъезду какого-то дома, нырнул в него и уселся на стоявший у самого входа стул. Шпик принял его за швейцара, пробежал мимо, понял, что потерял свою жертву, заметался, а Владимир Ильич, глядя на него, весело смеялся.

Такая же находчивость помогла ему благополучно провезти из-за границы чемодан с двойным дном, в котором было запрятано изрядное количество запрещенной литературы.

Не пренебрегать угрозой ареста, а тщательно избегать ненужного риска требовал он и от других, и от себя. Только строгая конспиративность позволила ему сравнительно долго проработать в Петербурге в девяностых годах прошлого века. Соблюдению конспирации обязан он и тем, что ни

разу не был арестован во время своего пребывания в России и Финляндии в 1905—1907 годах.

При этом он никогда не прятался от опасности, никогда не отказывался от дела, которое могло привести к аресту, никогда не думал о себе. Нет, он был смел и отважен и именно поэтому умел перехитрить врага.

Характерный случай рассказывает Николай Леонидович Мещеряков.

Было это в Москве в начале 1906 года, вскоре после поражения Декабрьского вооруженного восстания. Москва была буквально наводнена полицией и агентами охранки всех чинов и рангов. Несмотря на это, московские большевики вели подготовку нового вооруженного восстания, и Владимир Ильич специально приехал из Петербурга в Москву, чтобы обсудить с товарищами, как вести эту подготовку.

Однажды, когда он шел на нелегальное собрание, его встретили товарищи, предупредили, чтобы он не ходил туда, там полиция, и предложили ему уйти, а они останутся на улице и будут предупреждать остальных, которые придут на собрание.

Владимир Ильич наотрез отказался уйти и оставался с товарищами до тех пор, пока это было нужно, чтобы никто уже не попал в полицейскую ловушку.

Старейший питерский рабочий Василий Андреевич Шелгунов как-то почувствовал за собой слежку и, соблюдая всяческие предосторожности, пришел к Владимиру Ильичу, чтобы предупредить, что могут арестовать участников «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Так пусть на допросах Владимир Ильич сделает вид, что он с ним, с Шелгуновым, не знаком.

— Я все это ему говорю, — вспоминал Шелгунов, — но нужно было видеть его лицо в это время, одновременно и

простое и хорошее, и в то же время какая-то ирония была в его взгляде и голосе. «Что ты думаешь, дурак я, что ли? Не знаешь, кому говоришь. Я и без тебя это знаю», — казалось, думал он.

Трудности и опасности существуют совсем не для того, чтобы перед ними вдаваться в панику и останавливаться. Владимир Ильич всегда придерживался мнения, что трудности и опасности существуют, чтобы их преодолевать, и этим-то преодолением препятствий он и был прежде всего занят. Всякая работа, которая какой-либо стороной касалась революции, была ему близка, интересна, весела.

Дерзанье юности и мудрость зрелых лет —
Таков источник мировых побед...

6

Петербург. Явочная квартира. Появляется приезжий. Спрашивает некоего товарища, которого знает под кличкой «Мирон».

Если явка не «перевалочная», встреча происходит на этой же квартире. Если «перевалочная», приезжего, проверив, направляют на следующую явку. Оттуда, быть может, на третью.

И вот два взрослых человека сидят друг против друга и на полном серьезе ведут такой разговор:

— Товарищ Мирон?

— К вашим услугам.

— Битва русских с кабардинцами...

— Или прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа...

— Где вы читали эту книгу?

— Там, где ловят женихов.

— Хорошо ли там жилось?

— Кормили хорошо, но спать было холодно...

Это — пароль «трех степеней доверия». Если один из собеседников знал одну лишь первую реплику, это значило,

что он может получить лишь ответ на вопрос, с которым он приехал. Знание второй реплики позволяло быть с ним в меру откровенным, но не называть ничьих имен. И только знание третьей реплики означало, что с ним можно разговаривать с абсолютным доверием.

— Дело такое, — говорит приезжий после третьей реплики. — Я — агент «Искры». Приехал я сегодня прямо из Женевы, от Ильича. Ильич поручил мне передать петербургским товарищам его мнение о том, с чего нам надо начать...

7

Отбыв три года ссылки, на которую он был осужден после разгрома петербургской организации «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», Владимир Ильич Ленин уехал за границу. Еще в Сибири он разработал план создания партии рабочего класса. Основным звеном этого плана было издание за рубежом общерусской политической газеты. Редакция избрала ее эпиграфом слова из послания декабристов Пушкину: «Из искры возгорится пламя» — и назвала эту газету «Искрой».

В статьях, напечатанных в «Искре», и в брошюре «Что делать?» Ленин звал к строительству могучей и строго тайной организации, держащей в руках все нити конспиративной работы. Ее участниками должны быть главным образом люди, профессия которых состоит в революционной деятельности. В период революционного затишья они должны вести будничную работу «кротов революции». В период взрыва — поднимать массы, организовывать их, вести в наступление против неприятеля, нападая на него там и тогда, где он менее всего ожидает нападения, руководить подготовкой и проведением всенародного вооруженного восстания.

Популярность «Искры» была огромна. Рабочие, прочитав с пропагандистом вновь полученный номер, вели потом чтение сами, и читали так много раз, что тонкая бумага совершенно изнашивалась и текста уже не было видно.

...Подобно той основной нити, которая помогает каменщику находить правильное место для укладки каждого камня, ленинская «Искра» помогала строить крепкую организацию революционеров, и притом революционеров «всех видов оружия».

Связь «Искры» с русским революционным подпольем осуществляли особо надежные люди, которых называли «агентами «Искры», — люди «подвижные, летающие, свободные и нелегальные», как характеризовал их Ленин.

Они могли бы сказать о себе словами Герцена: «Мы — агенты русского народа, мы работаем для него, ему принадлежат наши силы, наша вера».

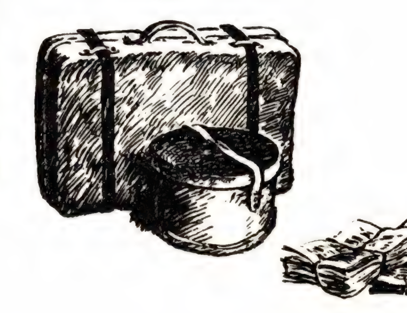
Рискуя жизнью, они тайно перебирались через границу и доставляли в Россию номера «Искры», запрятанные в чемоданах, сундуках, шляпных картонках с двойным дном и двойными стенками или же в специально сшитых поясах. Наиболее важные документы зашивались под подкладку, вклеивались в твердые переплеты книг или под их корешки.

Чтобы найти явку, на которой можно было сдать этот драгоценный груз, агентам «Искры» приходилось иногда объехать пол-России. Порой на месте партийной организации они обнаруживали лишь пепелище, черневшее после очередного полицейского нашествия.

Но для «искровца» препятствий не существовало...

Главной целью «искровцев» была подготовка съезда, который объединил бы разрозненные организации в единую партию российского пролетариата.

Мысль о созыве съезда, что называется, носилась в воздухе. Подобно тому как это бывает на войне, когда нужно во что бы то ни стало занять важную стратегическую позицию и один отряд за другим поднимается на приступ, так подпольные организации нашей партии



шли на бой за созыв общепартийного съезда. Большинство их было разгромлено врагом, но на смену им поднимались все новые и новые силы.

Как ни труден был созыв съезда, но без Ленина для создания партии потребовалось бы еще больше времени, еще больше жертв, еще больше усилий в борьбе против разветвленной полиции, все силы которой были направлены на разгром революционных организаций.

8

На протяжении нашего повествования мы уже не раз употребляли и будем употреблять впредь слова: «охранка», «жандармы», «полиция», «шпики», «провокаторы».

Во всех этих случаях речь идет о той или иной форме действий тайной царской политической полиции.

Тайная политическая полиция в России возникла вместе с самодержавием. Недаром охранник, сопровождавший в тюрьму арестованного большевика Сергея Розеноера, не без гордости сказал:

— Мы со времен Иоанна Грозного.

На протяжении столетий тайные соглядатаи вели по всей Руси «сыск» на предмет уловления «крамолы». Они ловили «прелестные письма» — так назывались обращенные к народу письма Разина и Пугачева; хватали каждого, заподозренного в неповиновении царской власти; отправляли в остроги и темницы, где «пыточных дел мастера» страшнейшими муками вырывали у него «признания».

Но полного своего расцвета тайная полиция достигла позже, в XIX и XX веках, когда, после восстания декабристов, император Николай Первый создал так называемое «Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии», ведавшее тайным розыском «государственных преступников» и дознанием (следствием) после их ареста.

Исполнительным органом Третьего отделения был «Особый корпус жандармов». Начальник Третьего отделения являлся шефом корпуса жандармов.

Жандармы носили голубые суконные мундиры, за что Герцен прозвал их «голубое ведомство».

Первым шефом жандармов был граф Бенкендорф — тот, который травил великого Пушкина.

Когда народовольцы казнили императора Александра II, для борьбы с разрастающимся революционным движением правительство значительно расширило деятельность тайной политической полиции.

С этой целью было учреждено «Отделение по охранению общественной безопасности и порядка», в просторечии «охранка», — орган тайной полиции, ведавший политическим сыском.

Охранка обладала разветвленной сетью секретной агентуры.

Она засылала в революционные организации своих агентов — провокаторов, которые действовали по ее указаниям, шпионили и выдавали охранке революционеров.

Провокаторы занимались тем, что на языке охранников носило название «внутреннее наблюдение».

Кроме того, существовали еще и сотрудники «наружного наблюдения», или «филеры» (от французского слова filer — следовать), но в народе их звали просто «шпики». Они следили за революционерами на улицах: кто, куда, когда, с кем пошел.

Охранка ведала тайным сыском. Жандармское «голубое ведомство» занималось по преимуществу дознанием. Оно производило (нередко с помощью агентов охранки) аресты, вело следствие, передавало дела в суд.

И жандармское, и охранное управления были подчинены департаменту полиции, являвшемуся верховным органом политической полиции.

Кроме секретной полиции, существовала полиция несекретная.

Каждый город был разделен на полицейские участки, во главе которых стояли приставы. Им были подчинены околоточные надзиратели, ведавшие отдельными околотками. Низшими полицейскими чинами были полицейские или го-

родовые, вооруженные револьверами и плоскими шашками в ножнах, которым народ дал презрительное прозвище «селедки».

Такова была система политической полиции царской России, ставшая, по определению В. И. Ленина, «одним из самых устойчивых, основных законов Российской империи».

Большое место в тайном сыске занимала так называемая перлюстрация писем; состояла она в том, что письма вскрывались, прочитывались, в нужных для охранки случаях с них снимались копии, а затем их снова заклеивали и отправляли адресату.

При петербургском почтамте существовал специальный «черный кабинет». Вход в него был замаскирован большим платяным шкафом, через который проходили сотрудники «кабинета». Посторонний туда проникнуть не мог: дверцы шкафа запирались намертво.

Туда, в «черный кабинет», специальная подъемная машина доставляла из экспедиции почтамта всю корреспонденцию. Там ее разбирали секретные чиновники, которые так наловчились, что по одному виду конвертов сразу определяли, нужно ли данное письмо перлюстрировать.

Вскрытие писем производилось паром над специальным чаном, в котором постоянно кипела вода. Держа левой рукой письмо над струей пара, которая распускала клей, перлюстратор длинной толстой булавкой отгибал один из углов конверта — и письмо было вскрыто.

При помощи перлюстрации писем охранка напала на след многих важных политических дел, участники которых нарушали принципы конспиративной работы.

Вся переписка, которую вели между собой департамент полиции, охранка и жандармское управление, была тщательно засекречена. На всех бумагах крупным шрифтом в верхнем углу листа непременно значилось: «Секретно»,

«Доверительно», «Совершенно секретно», «Совершенно доверительно».

Но были в этой переписке бумаги, на которых сверх пометки об их секретности имелась написанная красными чернилами и тщательно подчеркнутая надпись: «Св. Св.»

Что означала эта надпись?

Историки долго ломали головы, пока не установили, что она означала «Святая Святых».

Этим «святая святых» для жандармов и охранников были различные документы, связанные с деятельностью крупнейших провокаторов. Списки этих провокаторов, их донесения, переписка об угрозе разоблачения того или другого провокатора и о том, что надо сделать, чтоб его спасти: может быть, на время арестовать, может быть, подбросить какое-нибудь письмо, которое внушило бы революционерам подозрение, что провокатором является какой-нибудь другой, совершенно честный человек...

Там же, в «Св. Св.», группировались материалы об особо опасных, с точки зрения самодержавия, революционных организациях.

Все материалы, поступавшие от сыщиков, доносчиков и провокаторов, охранка и жандармские управления отправляли в департамент полиции, где они обрабатывались, заносились в картотеку, сводились воедино, а затем по ним давались директивы об обысках, арестах, «ликвидациях».

С начала XX столетия все более и более важное место во всей этой переписке стало занимать «преступное сообщество» «Искра», все шире и шире разворачивавшее свою деятельность.

9

Посмотрим же на «искровца», который тайно пробирается из Женевы, от Ленина, в Россию.

Переход через границу совершен удачно. Правда, чтоб не попасть на глаза пограничному патрулю, пришлось про-

сидеть полночи в болоте и вымокнуть до костей. Кривой контрабандист подпоил дежурного жандарма, и тот не придрался к довольно плохо сработанному фальшивому паспорту. Явка в Петербурге «перевалочная», но с «товарищем Мироном» встретились в тот же день. «Прекрасная магометанка», пароль «трех степеней доверия». Директива Ленина о подготовке к партийному съезду передана по назначению.

Все прошло как будто бы гладко, «хвостов» за собой не привел. Но почему же в Питере по всем тротуарам, как клопы, ползают шпики? Котелок, зонтик, шмыгающие глаза. Иногда такой «клоп» остановится на перекрестке двух улиц и примется осматривать и ту и другую стороны. Или присядет на скамейке около ворот и вертит головой вправо и влево.

Почему же их столько развелось?

Ответ на этот вопрос мог бы дать бывший в начале XX века директором департамента полиции Лопухин, у которого в «святая святых» хранилась переписка с местными охранными отделениями.

Уже в течение долгого времени департамент полиции со все большим вниманием и тревогой следил за растущим, несмотря на все «изъятия», влиянием «Искры». Во всех уголках обширной империи Российской глаза и уши полиции и охранки старались выследить каждый шаг «искровцев». Собрав воедино все клочки, обрывки и лоскутки полученной им информации, Лопухин установил факт, которому придал первостепенное значение, и немедленно же «лично» и «строго доверительно» сообщил всем начальникам охранных отделений: по сведениям, полученным «агентурным путем», то есть через провокаторов, в недалеком будущем должен собраться съезд, созываемый последователями «Искры».

Начальникам охранных отделений предписывалось «принять все зависящие от них меры к выяснению тех лиц, которые поедут на этот съезд», «учредить за ними осторожное и неотступное наблюдение», сопровождать их «наблюдательными агентами», «имея в виду обнаружение места съезда».

Департамент полиции рассчитывал, что он сумеет расправиться со II съездом партии, как он сделал это в 1898 году с I ее съездом, происходившим, когда Ленин был в Сибири. Сразу же после съезда пятеро из девяти делегатов были арестованы, руководящие центры партии разгромлены полицией. Неужто и теперь департамент полиции не одолеет горстку революционеров, преследуемых по пятам? Неужто дозволит собрать съезд и благополучно после него разъехаться?

Так начался невидимый поединок между Лениным и царской полицией. Кто же одержал в нем победу?

10

По дошедшей до нас переписке Ленина видно, в каком напряжении он тогда жил, каких огромных усилий стоила борьба за созыв партийного съезда.

«Нам «приходится» биться как рыбе о лед», — писал Ленин. Все идет «так медленно и с такими перерывами, — с горечью рассказывал он в другом письме, — а «скрип» машины так рвет нервы, что... иногда зело тяжело приходится».

Не было денег. «У нас сейчас касса плоха», «Сейчас у нас совсем круто с деньгами», — повторял он не раз. Происходили бесконечные аресты: «Лепешинский в крепости... Грозят ему судебной палатой (сиречь каторгой)». «В Воронеже взято человек 40... В Уфе 8 обысков, 2 ареста. Вообще арестов тьма...»

Аресты губили людей, срывали работу. Особенно тяжело сказывались они на транспорте «Искры» в Россию. «Транспорта швах, совсем швах, — писал Ленин. — Просто беда!»

С самого своего возникновения «Искра» употребляла все усилия, чтоб наладить отправку своих изданий в Россию. «Каких-каких путей не было испробовано, — рассказывала об этом Н. К. Крупская. — Румыния, Персия, Александрия,

Архангельск, Финляндия, морские пути. То здесь, то там удавалось протащить несколько пудов литературы, но все это были пути или слишком долгие, или случайные».

Необходимо было наладить постоянный, скорый, правильно действующий путь. Представитель «Искры» вел переговоры с контрабандистами, сам ездил на границу, устроил склад и передаточный пункт. Дело налаживалось медленно. Но когда оно, наконец, пошло на лад и кое-что удалось провезти, товарищ был арестован.

Ко всему этому среди тех, кто причислял себя к социал-демократии, было немало людей, чуждых революционному рабочему движению. Одни из них открыто выступали против «Искры» и против создания политической партии рабочего класса. Другие называли себя «искровцами», но считали созыв партийного съезда преждевременным и вообще ненужным.

Немало было и таких, кого Ленин называл «безрукими», «мямлями», — людей, которые при виде неудач, вместо того чтобы энергично взяться за дело и преодолеть трудности, беспомощно разводят руками, охают да ахают.

Трудностей и препятствий, стоявших на пути создания партии, не счесть. Но Ленин последовательно и неуклонно проводил свою линию.

«...помните о важнейшем значении Второго съезда! — писал он в Россию своим соратникам, агентам «Искры». — ...самое, самое и самое главное — *спешить со съездом*, спешить всеми средствами».

11

Агенты ленинской «Искры» отдавали себя делу партии полностью, целиком. Они жили только своей подпольной работой, думали только о ней, воспринимали все окружающее только через нее.



Вот уже знакомый нам В. Н. Соколов едет по Волге пароходом из Саратова в Самару, Казань и Нижний, чтобы наладить транспорт «искровской» литературы, издаваемой бакинской подпольной типографией.

Перегоны на Волге большие. Восходы, закаты, многоверстные заволжские луга, Жигули...

Глядя на изрезанные оврагами и поросшие лесом Жигулевские горы, В. Н. Соколов прикидывает:

«Этот лес достаточно укромен, чтобы скрыть, скажем, хорошую типографию. Бакенщик всегда может посадить на пароход нужного человека или высадить его на берег. Кто этот пассажир, откуда, на пароходе не знают. Случайно принят и случайно слез, и никому нет до него дела. И если мы заведем двух бакенщиков...»

А в то самое время, когда В. Н. Соколов едет по Волге, А. С. Енукидзе, работавший в той самой подпольной типографии, продукцию которой должен был переправлять Соколов, сидит в кабинете жандармского ротмистра Карпова. Неделю назад Енукидзе был арестован в Баку на улице, и чуть ли не каждый день его возили из тюрьмы на допросы в жандармское управление.

За несколько дней до ареста Енукидзе узнал, что в Женеве издан двадцать второй номер «Искры», в котором напечатан проект партийной программы, а также ленинская брошюра «Что делать?». Оба эти издания были уже отправлены из Женевы в Баку и должны были бы уже прибыть, но транспорт где-то задержался. Уж не провалился ли?

В самый разгар этого тревожного ожидания Енукидзе был арестован. И вот сейчас, в то время когда он сидел на допросе, в кабинет жандармского ротмистра принесли два больших чемодана. Ротмистр встал из-за стола, поднял крышки чемоданов и сказал, обращаясь к Енукидзе:

— Полюбуйтесь, господин Енукидзе! Это ваши вещи?

Енукидзе бросил взгляд и увидел, что чемоданы доверху полны заграничными изданиями «Искры». Это был тот транспорт «искровских» изданий, который он ждал.

Ох и обидно же!



Ротмистр готовился задать какой-то вопрос. Но тут его вызвали к начальнику жандармского управления. Уходя, он оставил Енукидзе в кабинете и наказал стоявшему тут же жандарму: «Смотри за ним!»

У Енукидзе была в эту минуту одна лишь мысль: во что бы то ни стало, любой ценой завладеть хоть чем-нибудь из груза, который находится в чемодане. Мысль дерзкая и отчаянная, ибо он знал, что его отправляют в Тифлис, в Метехскую тюрьму, — значит, предстоит несколько обысков. Но будь что будет!

— Земляк,— негромко сказал Енукидзе, обращаясь к жандарму, — а земляк! Позволь поглядеть книжечки!

Жандарм хмуро проворчал:

— Гляди. Только скоренько...

Первое, что увидел Енукидзе в чемоданах, были долгожданный двадцать второй номер «Искры» и ленинское «Что делать?».

Как? Подержать в руках и, даже не прочитав, положить обратно? Да мыслимо ли это?

— Земляк, — снова позвал Енукидзе жандарма,— а нельзя ли мне эти две книжечки взять с собой?

Жандарм сначала решительно отказал. Потом буркнул:

— Ладно, бери... Только поосторожнее...

По дороге в Тифлис Енукидзе ловко спрятал драгоценный подарок, полученный в жандармском управлении, и благополучно пронес его в Метехский тюремный замок.

Эти партийные документы создали целую эпоху в жизни Метехской тюрьмы. В политических камерах устроили настоящие школы по изучению проекта партийной программы и ленинского «Что делать?».

Так тюрьма готовилась к предстоящему партийному съезду.

Вся работа по подготовке съезда велась с соблюдением строжайшей конспирации. Шифровка, расшифровка, проявление «химии» — все это требовало адского терпения и

огромной затраты времени. К счастью, Владимиру Ильичу в этом помогала Надежда Константиновна Крупская.

Как следует говорить о ней: соратник, друг, жена? И то, и другое, и третье, и все вместе. Редко можно встретить такую близость, такую гармонию личного и общественного, такое глубокое взаимопонимание, как то, что существовало между ними.

Нашу партию в годы подполья невозможно представить себе без Владимира Ильича. Но ее нельзя представить себе и без Надежды Константиновны.



В том разделении труда, которое сложилось у них с Владимиром Ильичем в годы создания партии, Надежда Константиновна взяла на себя кропотливую, незаметную, но необходимейшую работу: поддержку связи с Россией, с русским подпольем, с товарищами по партии. По выражению Пантелеймона Николаевича Лепешинского, Надежде Константиновне принадлежала в этом деле роль «всевидящего ока».

Изо дня в день, а порой и из ночи в ночь, склонившись над столом, Надежда Константиновна разбирала, шифровала, расшифровывала почту из России и в Россию.

Если письмо шло почтой, обычно писался так называемый «скелет» — невинное письмо с рассказом о всяческих домашних происшествиях. Нина выходит замуж, бабушка сломала ногу, дядя Петр Иванович купил имение, Анна Федоровна поссорилась с Феоктистой Павловной. А между строками «скелета» специальным химическим составом вписывался невидимый зашифрованный текст, проступавший, если письмо прогладить утюгом или нагреть над лампой.

При шифровке вместо букв употреблялись цифры. Клю-

чом шифра чаще всего бывало какое-нибудь литературное произведение. Так, в переписке с Еленой Дмитриевной Стасовой основой для шифра служила басня Крылова «Дуб и Трость», в которой, несмотря на небольшие ее размеры, имеются все буквы русского алфавита. В переписке с Николаем Эрнестовичем Бауманом — песня «Есть на Волге утес...». Для казанской группы «Искры» ключом служила поэма Некрасова «Размышления у парадного подъезда», для харьковской — лермонтовский «Мцыри».

Как бы ни была занята Надежда Константиновна, она даже в самые деловые письма умела внести свою особенную теплоту, ласку, юмор.

Жилось и работалось им с Владимиром Ильичем трудно до предела. «Нет ни сапог, и ни сантима в кассе... Каждую минуту нам угрожает полное банкротство, — писала она. — Ох, и другу, и недругу закажу ехать за границу!»

Все это так. Но партия растет, рабочее движение ширится. «У нас настроение теперь бодрое, рабочее, — пишет она. — Работа закипела, и мы не сомневаемся в успехе».

Побывавшая у Крупской по партийному поручению Е. К. Замысловская на вопрос жившей в эмиграции работницы-большевички Геси Глинской о том, какой ей показалась Надежда Константиновна, ответила, что она ее очаровала.

— Я много слышала о ней хорошего. Но она превосходит все, что о ней можно сказать.

Геся ликовала. Ее огромные глаза на некрасивом, измученном лице сияли. Она твердила:

— Скажите, почему такую любовь к человеку нельзя высказать словами? Ведь многие так очарованы этой удивительной женщиной, но, наверно, никто, никогда не посмеет ей об этом сказать.

— Я думаю, — сказала ей Замысловская, — что самое глубокое чувство, самая огромная любовь всегда целомудренно молчаливы...

Получение письма от Ленина, от Надежды Константи-

новны было для работников российского подполья величайшей радостью.

«Дорогие и славные! — писал им из России агент «Искры» Иван Иванович Радченко. — Не получая от вас писем, делается грустно... Ваши письма, какие бы ни были, приносят с собой для меня бодрость».

Рассказывая об этих письмах, Глеб Максимилианович Кржижановский говорил: «Каждый из нас вспоминает, как подбадривали нас эти записки и письма... Всегда здесь было кое-что идущее от самой Надежды Константиновны — такое простое, дружеское и вникающее. И мир революционных подпольщиков никогда не вычеркнет этого из своей благодарной памяти».

Особенно велика была роль этих писем в период подготовки II съезда партии.

К тому времени, когда его созыв сделался самой, самой и самой главной задачей, русское подполье было буквально обескровлено массовыми арестами. Особенно сильные опустошения произвели аресты 1902 года: провалился транспорт, провалились типографии, многие организации «Искры» были вырваны с корнем, их участники оказались за тюремной решеткой или в сибирской ссылке.

«Наступили тяжелые времена, — писала Н. К. Крупская в составленном ею отчете «Искры» II съезду партии. — Но у членов вновь образовавшейся организации «Искры» был громаднейший запас свежих сил и энергии, горячая преданность делу, письма их проникнуты страстной жаждой кипучей деятельности».

Вся тяжесть подготовки съезда в России легла на плечи немногочисленных агентов «Искры». В большинстве своем это были люди, бежавшие из тюрьмы и ссылки либо только что выпущенные «на волю». Их фотографии, оттиски пальцев, подробное описание наружности хранились в охранке и жандармском управлении. Нет нужды объяснять, как трудно было им скрываться.

Аресты следовали за арестами. Исключительно тяжелое положение создалось в Москве. На протяжении пяти лет ни одной организации не удалось держаться более трех — шести месяцев. Едва возникал какой-либо кружок, как все его участники подвергались аресту и высылке. Можно было заранее предсказать, что любая подпольная группа в течение самого короткого срока падет под ударами охранки. Был даже случай, когда московский комитет «искровцев» просуществовал всего... полтора часа.

Причиной тому была деятельность нескольких крупных провокаторов, и в первую голову знаменитой провокаторши Серебряковой, которую в охранном отделении звали то исполненным жандармским уважением именем «Дама-Туз», то умилительным именем «Мамочка». Под видом этакой доброй, заботливой дамы, всем сердцем болеющей за каждого арестовываемого и преследуемого полицией и всегда готовой оказать революции любую услугу, она выведывала фамилии, адреса и явки и передавала все это охранке.

Снова аресты, снова провалы. Снова Надежда Константиновна, склонившись над столом, расшифровывает бледные цифры написанного «химией» письма. Но проходит некоторое время. И либо из Женевы в Россию, либо из России в Женеву протягивается ниточка новой связи. И на новый нелегальный адрес поступает письмо от Надежды Константиновны. «Искра» передает новой организации связи и старается помочь ей чем может. Летучие агенты «Искры» объезжают ряд городов, выясняют положение, завязывают новые связи. И разгромленные подпольные организации возрождаются. А еще несколько времени спустя Надежда Константиновна расшифровывает новое письмо, подобное тому, что прислал в редакцию «Искры» Иван Иванович Радченко после встречи с группой передовых рабочих:

«...Я был поражен. Передо мной сидели типы Ленина. Люди, жаждущие профессии революционера. Я был счастлив за Ленина, который за тридевять земель, забаррикадированный штыками, пушками, границами, таможнями и прочими атрибутами самодержавия, видит, кто у нас в мастерских

работает, чего им нужно и что с ними будет... Верьте, дорогие, вот-вот мы увидим действительных токарей-революционеров. Передо мной сидели лица, жаждущие взяться за дело... так, как берутся за зубило, молоток, пилу, взяться двумя руками, не выпуская из пальцев, пока не покончат начатого, делая все это с глубокой верой — я сделаю это...»

Всячески торопя работу по созыву съезда, Ленин с огромной тревогой думал о судьбе товарищей в России и заклинал их, чтоб они не рисковали зря и старались уберечься от ареста. «Берегите себя пуще зеницы ока — ради «главной задачи», — просил он Глеба Максимилиановича Кржижановского. «Смотрите, обязательно исчезайте при первом признаке шпионства за вами», — писал он Ивану Васильевичу Бабушкину.

И. В. Бабушкин, к которому обращены эти слова Ленина, родился в 1873 году в семье вологодского крестьянина-бедняка. С детства он изведал тяжелую нужду. Четырнадцатилетним подростком попал в Кронштадт, а потом в Петербург, где поступил рабочим на Семянниковский завод. Вспоминая этот период своей жизни, он писал: «Я не жил, а только работал, работал и работал; работал день, работал вечер и ночь и иногда дня по два не являлся на квартиру, отстоявшую в двадцати минутах ходьбы от завода. Никакой жизни, мысль ни на чем не останавливается, ничего не увидишь, не узнаешь, не услышишь...»

Но вот настал день, когда началось, говоря словами Бабушкина, его превращение «из самого заурядного числительного человека без строгих взглядов и убеждений в человека-социалиста».

Однажды, когда субботний день клонился к концу, к станку Вани Бабушкина подошел незнакомый слесарь из другой бригады, такой же молодой человек, как сам Бабушкин, спросил, есть ли у него какие-нибудь книги, пригласил его к себе на квартиру познакомиться поближе.

Когда Бабушкин пришел, в комнате этого парня — будем

звать его Костя — сидело еще двое молодых рабочих. Они перекинулись несколькими словами, потом Костя достал откуда-то печатный листок и предложил прочитать.

— Может, ты хочешь почитать? Так почитай, — сказал Костя, протянув листок Бабушкину.

«Я развернул и приступил к чтению, — рассказывал потом Бабушкин в своих воспоминаниях. — С первых же слов я понял, что это что-то особенное, чего мне никогда в течение своей жизни не приходилось видеть и слышать. . .»



Так познакомился он с первым нелегальным листком — и с этого пошло. Через Костю и человека, который вручил ему этот листок, Иван Бабушкин связался с революционным подпольем, попал в марксистский кружок, которым руководил Владимир Ильич Ленин. В 1895 году вместе с группой других сознательных рабочих он вел энергичную работу за Невской заставой среди рабочих Семянниковского, Александровского, Стеклянного заводов, создавал кружки, принимал деятельное участие в составлении первого агитационного листка, выпущенного в 1894 году петербургским «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса», и распространил этот листок среди рабочих, устраивал библиотеки и сам в это же время страстно учился. Позднее, после массовых арестов членов «Союза борьбы», он написал яркую прокламацию «Что такое социалист и государственный преступник?», в которой выдвинул на первый план лозунги политической свободы и борьбы за социализм.

В 1896 году он был арестован, просидел больше года в тюрьме, затем был выслан в Екатеринослав. Там три года вел активную подпольную работу. В связи с массовыми

арестами вынужден был скрыться. Уехал в Петербург и перешел на нелегальное положение.

Летом 1900 года с помощью Марии Ильиничны Ульяновой он установил переписку с В. И. Лениным и стал затем агентом «Искры».

За короткое время он объехал Смоленск, Полоцк, Покров, побывал в Москве, в Орехово-Зуеве и Иваново-Вознесенске. Везде налаживал связь «Искры» с русским подпольем и расширял ее влияние в рабочих массах. Он посылал в «Искру» корреспонденции рабочих, в которых те описывали свою жизнь, и сам тоже много писал в «Искру» об увиденном и передуманном за время скитаний по рабочей России.

В конце 1901 года он был арестован, но бежал из тюрьмы, перепилив оконную решетку. Не зная ни одного иностранного языка, сумел добраться до Лондона, где в то время находилась редакция «Искры». Там после шестилетнего перерыва снова встретился с Лениным.

«Много переговорено было там, много вопросов обсуждено совместно», — вспоминал Ленин лондонские встречи с Бабушкиным.

Из Лондона Бабушкин как агент «Искры» поехал в Россию, работал в Петербурге. Был арестован и после длительного тюремного заключения сослан на крайний север Якутии, в Верхоянск.

В 1905 году он был освобожден из ссылки и хотел уехать в Центральную Россию. Но в Сибири в это время кипела борьба. Бабушкин остался в Иркутске, с головой ушел в работу, выступал на собраниях, вел агитацию, участвовал в подготовке вооруженного восстания.

Сведения о работе Бабушкина в Сибири доходили до партии, до Ленина. А потом всякая связь оборвалась. Бабушкин пропал без вести.

В течение долгого времени ни жена, ни мать, ни самые близкие товарищи не знали, жив ли он и что с ним. И лишь пять лет спустя стала известна его трагическая судьба.

В ночь на 1 января 1906 года был арестован весь комитет

Иркутской большевистской организации. Узнав об этом, Иван Васильевич Бабушкин, который был тогда в Чите, решил немедленно поехать в Иркутск, чтоб восстановить разгромленную партийную организацию. С ним было пять товарищей. На станции Слюдянка, Кругобайкальской железной дороги, они были настигнуты карательной экспедицией генерала Ренненкампфа, направленной в Сибирь на подавление революции. Тут же все шестеро без суда были расстреляны на краю наскоро вырытой могилы. Бабушкин и его товарищи отказались назвать свои имена и сошли в могилу как «неизвестные». Очевидцы расстрела — солдаты и железнодорожники — потом рассказывали, что все они умерли как герои.



В глубоко прочувствованном некрологе, посвященном памяти Ивана Васильевича Бабушкина, Ленин писал:

«Без таких людей русский народ остался бы навсегда народом рабов, народом холопов. С такими людьми русский народ завоюет себе полное освобождение от всякой эксплуатации».

Таков был один из молодой рати «искровцев», которая, несмотря на громадные провалы и аресты, со все большей энергией и размахом разворачивала работу по завоеванию масс и подготовке II съезда партии.

12

Неравный бой выиграл не Лопухин, а Ленин, не царизм, а революция...

Никто не помог Лопухину: ни жандармы и охранка, ни шпики и провокаторы, ни «внешние наблюдатели» и «внутренние осведомители».

По тщательно продуманному Лениным плану большинство делегатов съезда переходило границу нелегально. Департамент полиции так и не уследил за тем, как несколько десятков крупных партийных работников, большей частью находившихся на учете охранного отделения, уехали за границу. Не сумел департамент полиции проследить, как таким

же контрабандным порядком они после съезда вернулись в Россию.

На протяжении каких-нибудь двух лет работа, начатая отдельными ручейками, вопреки всем препятствиям, поставленным на ее пути силами царского самодержавия, постепенно приобрела единый, централизованный характер.

II съезд партии был созван. Он состоялся в 1903 году. На нем была создана большевистская партия.

Партия рождалась в тяжелых муках, в боях, в идейной борьбе. Во время II съезда произошло несколько отколов и расколов.

Большинство съезда было с Лениным. «Душой съезда являлся Ульянов, — сообщали Лопухину его осведомители. — Он выработал порядок занятий съезда, новый устав партии и вообще имел решающее влияние в принимавшихся резолюциях».

Те, кто остались на съезде в меньшинстве, отныне стали называться меньшевиками, а «твердые искровцы» — большевиками.

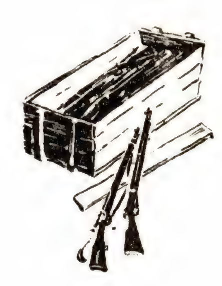
В сонете, обращенном к Ленину, Г. М. Кржижановский писал:

Теснят мне грудь воспоминанья,
Потерь тяжелых — трудно счесть.
Но юность не страшат страданья,
Когда в них смысл глубокий есть.

Заводов молодежь воспряла,
Как мысль ее рвалася ввысь!
Своей отвагой нас пленяла,
В борьбе мы тесно с ней сплелись.

Страна родная! Как сравняться
С тобой по доблести другой,
Когда тобою мог рождаться
В такой страде героев строй.

Великой партии устав
Рожден у питерских застав.



На другой день после закрытия II съезда партии делегаты съезда — большевики пошли вместе с Лениным и Плехановым на Хайгетское кладбище, чтобы возложить цветы на могилу Карла Маркса.

Долго стояли они у могилы. Настроение было взволнованное, сосредоточенное. Все испытывали чувство, которое прекрасно выразил В. Н. Соколов:

«И вот он — перевал! Тягость блужданий и переходов исчезла. Им нет места даже в тайниках памяти. Вольные ветры сдувают последнюю дорожную пыль. Открывается огромный, иной, неведомый мир. . .»

В ближайшие же дни почти все, кто там присутствовал, уехали в Россию.

Глава третья

ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО

1

Второй съезд партии собрался, когда вся обстановка в стране свидетельствовала о близости решающей схватки.

Только что по России прокатилась волна крупнейших стачек и демонстраций. Рабочий класс с поразительной быстротой переходил от экономической борьбы к политическим демонстрациям, от демонстраций — к революционному взрыву.

«Чувствуется, что мы накануне баррикад...» — писал Ленин.

Письма, приходившие в Женеву из России, рассказывали в один голос о том, как изменилась жизнь рабочих кружков. Рабочих уже не удовлетворяло изучение брошюр «О штрафах» или «О формах заработной платы», — не тем была занята голова. На занятиях кружков и на собраниях, которые становились все чаще и многолюднее, раздавались горячие речи о рабочем движении, о социализме, слышались насмешки и ругательства по адресу правительства. Это настроение охватывало всех — и стариков, и молодежь.

— Теперь нам мало того, чтоб нас учили, как начать, — говорили рабочие. — Нам надо знать и как жить, и как умереть. Теперь нам уже не кружки нужны, даже не книжки. Теперь просто учи, как в бой идти, как в бою воевать...

Революция, как никогда, нуждалась в людях, которые встали бы впереди масс, чтоб указывать им дорогу.

Этими людьми были большевики.

С присущим им бесстрашием они устремились туда, где должен был разгореться бой. Одни бежали для этого из ссылки, другие нелегально перебирались через границу. Они были на улицах Петербурга в трагический день 9 Января 1905 года, помогали восставшему броненосцу «Потемкин», дрались на баррикадах Москвы во время Декабрьского вооруженного восстания. Мы видим их в рядах рабочих и матросов в дни революционных потрясений. Они сражаются во время восстаний в Севастополе, Свеаборге и Кронштадте. Вместе с массами они ведут бои за свободу, вместе с ними истекают кровью и гибнут в дни поражений, вместе с ними одерживают победы.

Партия была невелика. Но она была сильна своей сплоченностью. Она была вооружена ясной ленинской мыслью. Она опиралась на широчайшие массы трудящихся, полные революционной энергии.

И в этом был источник ее неиссякаемой силы.

2

Итак, снова Россия, снова подполье, снова явки, пароли, паспорта, тайные типографии, нелегальные собрания. Все такое знакомое, трудное и желанное...

День большевика-подпольщика прошел благополучно.

Он начался в семь часов утра на Васильевском острове, в «меблирашке», куда на одну ночь пустил переночевать на полу случайно повстречавшийся приятель-студент.

К девяти надо встретиться с товарищем с завода Розенкранца. Пришлось на конке, а больше на своих на двоих отмахать на Выборгскую сторону. Не зря кто-то пошутил, что революционеру прежде всего надо иметь хорошие ноги, а голова — «дело второстепенное».

Товарищ с Розенкранца принес прокламацию, врученную ему «Максом». Эту прокламацию надо прочесть, отредактировать и в двенадцать часов дня передать в Публичной библиотеке девушке, которая будет сидеть за третьим столом слева у самого окна. У девушки синие глаза, она будет читать «Историю цивилизации в Англии». На спинке стула рядом с нею будет висеть белый шарфик. Надо сесть на этот стул и сказать: «Что-то жарко». На это девушка с синими глазами пододвинет раскрытую книгу. В эту книгу и надо засунуть прокламацию.

После этого можно будет где-нибудь перекусить. На обед денег не хватит. Придется пойти в студенческую столовку, где вместе со стаканом кофе можно съесть сколько угодно хлеба.

В три часа на Мытнинской улице заседание комитета. Опять и опять вопрос о раскольнических действиях меньшевиков. Они не подчиняются партийной дисциплине, срывают решения съезда партии, расшатывают партийную организацию, вносят разложение во всю работу партии. Чтоб положить этому конец, решено поручить членам комитета сделать доклады во всех существующих партийных кружках и группах.

С заседания комитета, переменив две конки и даже раскошелившись на извозчика, чтоб наверняка не привести с собой «хвостов», — на Забалканский проспект, где назначено свидание с «Михаилом». Он только что приехал из Женевы от Ильича. Как всегда, масса вопросов, все дьявольски интересно...

Но где же сегодня провести ночь?

На вокзале? Там полным-полно шпиков.

Снять номер в гостинице? Но придется дать в прописку паспорт, а он всем бы хорош, только вместо печати к нему

приложен медный пятак с затертыми хлебным мякишем буквами, чтоб на бланке «липы» отпечатался только двуглавый царский орел. Работа неважная, легко провалиться. К тому же денег на номер в гостинице нет.

Остается направить стопы к друзьям-рабочим за Невскую заставу. Прошагаешь полночи, зато ночлег обеспечен наверняка...

Еще день, отданный кропотливым поискам живых связей. Тут завязан узелок, там удалось что-то наладить. На таком-то заводе начал работать кружок. В таком-то районе провели партийную конференцию.

Нет, время потрачено не зря!

Среди тех, кто на другой день после закрытия II съезда партии посетил вместе с Лениным Хайгетское кладбище, чтоб положить цветы на могилу Карла Маркса, был Николай Эрнестович Бауман (партийные клички: «Грач», «Макар Иванович», «Сорокин», «Соровский»).

Он родился в Казани в 1873 году, в том же году, что Иван Васильевич Бабушкин, и был одногодком Бабушкина и по году рождения, и по году вступления в революцию, и по первому аресту, и по времени, прожитому на земле: они погибли почти одновременно от руки врага.

Так рядом шла жизнь этих замечательнейших сынов нашей партии — рабочего Бабушкина, познавшего нищету и эксплуатацию, и интеллигента Баумана, который пришел к революции в поисках высоких идеалов жизни и стал большевиком потому, что его чистая, благородная душа не могла мириться со строем насилия и несправедливости. Он ненавидел царя и религию; буржуазная среда с ее страстью к наживе вызывала в нем чувство омерзения и гадливости.

Еще юношей, когда Россия переживала полосу глубокого политического затишья, начал он искать ответа на мучившие его вопросы. К кому он мог обратиться? Только к жившим

в его родном городе участникам народнического движения семидесятых и восьмидесятых годов. Но это были люди, которые растеряли свои революционные традиции и сейчас твердили, что надо заниматься «малыми делами»: учить, лечить, ждать, что авось лет через двести над Россией взойдет заря свободы.

Слушая эту болтовню, молодой Бауман неистовствовал, а порой впадал в полное отчаяние. На счастье, в его руки попали марксистские книги — и все встало на место.

В начале девяностых годов, двадцатилетним молодым человеком, он уехал в Петербург и вскоре же связался с марксистскими кружками и сделался членом основанного Лениным «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В 1897 году был арестован, двадцать два месяца просидел в Петропавловской крепости, был сослан в Вятскую губернию, бежал из ссылки за границу. Там встретился с Лениным, участвовал в создании организации «Искры» и как агент «Искры» отправился на нелегальную работу в Россию, в Москву.

В начале 1902 года поехал на совещание «искровцев» в Киев. На обратном пути почувствовал за собой слежку. Спасаясь от преследования, пересаживался с поезда на поезд, пока не оказался, измученный, голодный, без гроша, на какой-то маленькой станции.

Надеясь на присущее врачам доброжелательное отношение к революции, он отправился к жившему неподалеку незнакомому врачу и рассказал ему о своем положении. Тот пригласил его пообедать, а тем временем сообщил о нем полиции.

Это было во время огромного всероссийского провала организации «Искры». Жандармам предстояло большое дело, чины и награды. Они свезли всех арестованных в Киев и поместили в знаменитую Лукьяновскую тюрьму.

Там, в Лукьяновской тюрьме, судьба свела Баумана с Владимиром Бобровским, арестованным по делу Киевского комитета партии. Бауман произвел на Бобровского сильнейшее впечатление.

6*

«Он был прирожденным, твердокаменным большевиком, каковым стал на другой день после раскола партии, — писал Бобровский в своих воспоминаниях о Баумане. — Он был таким не только по своим убеждениям, но и по своему нутру, по своему духовному складу. Верный товарищ, коренной партиец-подпольщик, он нес с собой, помимо горячей веры в дело, за которое он отдал жизнь, бодрость, смелость, неутомимость, жизнерадостность».

В Лукьяновской тюрьме в то время был установлен не строгий режим: двери всех камер от утренней до вечерней поверки были открыты, политические заключенные жили коммуной, все продукты и передачи, поступавшие с воли, сдавали в общий котел. Целые дни они то ходили друг к другу потолковать и поспорить, то коротали время на довольно тесном тюремном дворе, где устраивали общие шумные игры, пели хором.

Вскоре после своего прибытия в «Лукьяновку» Бобровскому сказали под строгим секретом, что арестованные «искровцы» готовят побег и предлагают ему к ним присоединиться. Разумеется, он дал согласие.

Бежать готовились с вечерней прогулки, прямо с тюремного двора. Тюремную стражу решили усыпить. Снотворное получили с воли. Но сколько надо было его дать, чтоб усыпить стражника без опасности для его жизни? Решили испытать это зелье на себе. После ряда опытов установили точную дозу и стали угощать тюремных сторожей то вином, то спиртом, чтоб в нужный час угостить их также и соответствующей дозой снотворного.

Побег был тщательно подготовлен: из простынь свили веревки; чтоб прикрепить лестницу, достали с воли якорь-«кошку». Долго учились строить «пирамиду»: два человека стоят внизу, третий становится им на плечи, четвертый взбирается на плечи третьего, — он стоит так высоко, что может достать руками край стены, которой окружена тюрьма, и зацепить «кошку» за наружный карниз.

Наконец все было готово. Но семь раз пытались, семь раз выносили веревочную лестницу и «кошку» во двор —

и всегда что-нибудь мешало. Больше месяца преследовали неудачи, пока в темный августовский вечер все удалось. Сначала напоили двух коридорных смотрителей, потом «поднесли» стакан со спиртом и снотворным вооруженному винтовкой наружному стражнику. Тот выпил полстакана, но больше не стал — показалось, что горько. Пришлось отнять у него ружье, связать, заткнуть рот платком. Но связали плохо, он через минуту освободился и стал кричать: «Ратуйте! Ратуйте!» К счастью, в тюрьме стоял такой шум и крик, что на его вопли никто не обратил внимания.

И вот беглецы были у стены. Вот они построили «пирамиду», зацепили «кошку» и стали по одному перебираться через стену.



Бежало одиннадцать человек — для тюремного побега цифра очень большая.

«Я шел по списку последним, — рассказывает В. Бобровский. — Видел, как каждый взбирается по лестнице и затем на верху стены пропадает во мраке ночи... Всякий шел со своей ухваткой. Кто быстро, кто с остановкой. И лучше всех, красивее всех взобрался и исчез товарищ Бауман. Когда я в эти минуты напряжения всех человеческих нервов наблюдал за мелькавшими передо мной при тусклом свете тюремного фонаря фигурами товарищей, движения Баумана мне показались взмахом крыльев легкой птицы».

Бежав из Лукьяновской тюрьмы, Бауман провел недели две в квартире знакомого адвоката, изменил наружность, оделся щеголем — и в вагоне первого класса уехал за границу в Швейцарию. «Кто мог подумать, что это не барин, а всего-навсего политик и беглый арестант?» — усмехается, вспоминая об этом, В. Бобровский.

Московский комитет партии избрал Баумана своим делегатом на II съезд партии. На съезде этот прирожденный

революционер, разумеется, был с Лениным, с большевиками. А в декабре 1903 года, всего четыре месяца спустя после побега из тюрьмы, он вернулся в Москву, возглавил Московский комитет партии. Денег было мало, поэтому он поселился в подвале и там же, в подвале, устроил нелегальную типографию, в которой работала также его жена, его горячо любимый друг Надежда Медведева.

Полгода спустя он был арестован как «агент ЦК большевиков». Кроме того, жандармы извлекли на свет божий дело о побеге из Киевской тюрьмы. Как беглого, Баумана держали под усиленной охраной. Но столько в нем было человеческого обаяния, так открыта чистая душа, что он заслужил любовь всей тюрьмы, и даже самые «отпетые» уголовники делали все, чтоб связать его с волей и с товарищами по заключению.

На этот раз Бауман просидел шестнадцать месяцев и восьмого или десятого октября 1905 года был освобожден под денежный залог. Веселый, жизнерадостный, он тотчас с увлечением отдался партийной работе.

Тогда же, в октябре 1905 года, Владимира Бобровского, арестованного в Баку, везли этапом в архангельскую ссылку. Довезли до Ростова-на-Дону, высадили, повели в местную тюрьму. Сидел он там неделю, другую. Дальше почему-то не везли. Потом в тюрьму проник слух: забастовали железные дороги.

Вот тут-то, сидя в Ростовской тюрьме, в один ужасный день он услышал, как из-за стены, с воли, кто-то кричит: «В Москве убит Бауман!»

Потом, когда его привезли в Москву, Бобровский узнал подробности этого убийства. Восемнадцатого октября Московский комитет партии организовал уличную манифестацию. Впереди нее с красным знаменем ехал в открытой извозчичьей пролетке Николай Эрнестович Бауман. Когда демонстранты подошли к Немецкой улице, к Бауману подскочил тайный агент охранки Михалин, служивший фабричным сторожем. Перед этим Михалин сказал хозяину фабрики, проходившему через двор: «Дай-ка на полбутыл-

ку водки, я за твое здоровье выпью да еще забастовщика убью...»

Тот достал двугривенный и дал.

Вооружившись отрезком газовой трубы, Михалин дождался минуты, когда Бауман поравнялся с ним, кинулся к пролетке и ударил Баумана по виску и продолжал наносить удары уже упавшему. На подмогу Михалину бросилось несколько мясников, которые стали добивать обливавшегося кровью Баумана.

Похороны Баумана превратились в грандиозную демонстрацию. Москва такого наплыва людей еще не видывала. С самого раннего утра к Высшему техническому училищу, где стоял гроб, стали стекаться рабочие и студенты. Впереди процессий несли знамена — кто траурные, кто красные.

Чтобы не допустить нападения, по всей линии шествия были распределены все московские боевые дружины. Переплетя руки, рабочие образовали сплошную живую цепь.

Над открытой могилой Баумана его вдова с алым знаменем в руках — эмблемой крови, пролитой борцами за свободу, — дала клятву продолжать дело погибшего мужа и выразила уверенность, что его продолжат миллионные массы трудящихся и угнетенных.

Через все выступления на кладбище проходила одна и та же мысль: «Общее дело мы доведем до конца!»

Много жертв понесла революция, много замечательных борцов за дело рабочего класса пало смертью храбрых. Тяжки были эти потери. Но они рождали не отчаяние, а мужество, не уныние, а волю к действию.

Не плачьте над трупами павших борцов,
Погибших с оружьем в руках.
Не пойте над ними надгробных стихов,
Слезой не скверните их прах.
Не нужно ни песен, ни слез мертвецам,
Иной им воздайте почет:
Шагайте без страха по мертвым телам,
Несите их знамя вперед.

С врагом их под знаменем тех же идей
Ведите их бой до конца.
Нет почести лучшей, нет тризны святей
Для тени достойной борца...

3

Владимир Ильич Ленин не раз сравнивал партию с оркестром, в который входят различные инструменты — и скрипки, и виолончели, и ударные, и медные трубы — и звучание которого зависит от соразмерности и согласованности действий каждого из его участников.

Так и партия! Намечая формы ее работы в условиях подполья, Ленин писал, что в ней должны быть созданы самые разнообразные группы: транспортная, типографская, паспортная. Группа по устройству конспиративных квартир. Группы студенческой и рабочей молодежи. Группа по снабжению оружием.

«Все искусство конспиративной организации,— писал тогда Ленин, — должно состоять в том, чтоб использовать *все и вся,* «дать работу всем и каждому», сохраняя в то же время руководство всем движением, сохраняя, разумеется, не силой власти, а силой авторитета, силой энергии, большей опытности, большей разносторонности, большей талантливости».

Условия работы этих групп сильно разнились между собой. У каждой свои особенности, свои сложности, свой опыт, свой голос в звучании «оркестра», именуемого партией.

Были товарищи, работавшие в условиях особо строгой, особо тщательной конспирации.

В первую очередь, к ним принадлежали работники подпольных типографий.

Для них слово «подполье» было не образом, не метафорой: как правило, тайные типографии устраивались именно в подполье, в подвалах, в погребах. Человек буквально замуровывал себя, иногда на несколько месяцев, зная, что «выходом» из этого подвала для него, вероятнее всего, будет арест,

после которого его ждут тюрьма, бессрочная каторга, а быть может, и смертная казнь.

Полиция и охранка охотились за подпольными типографиями с особым усердием. Недаром еще в царствование Николая I шеф жандармов граф Орлов, провожая за границу одного своего друга, попросил его выполнить необычное поручение.

— Когда вы будете в Нюрнберге, — сказал Орлов, — пойдите к памятнику изобретателя книгопечатания Гутенберга и от моего имени плюньте ему в лицо. Все зло на свете пошло от него.

Обычно для устройства подпольной типографии снимался уединенный дом, как можно лучше изолированный от посторонних глаз и ушей. Бывало так, что дом этот снимала «супружеская пара» (нередко эти «супруги» никогда до этого не видели друг друга в глаза). Бывало и так, что кто-нибудь из членов организации снимал отдельную хатенку и устраивал в ней «мастерскую», лучше всего жестяную, слесарную или столярную, в которой при работе стоит сильный шум, заглушающий стук печатного станка. «Мастерская» должна была непременно выглядеть как настоящая: с вывеской, на которой нарисованы тазы и кастрюли, с объявлением, что здесь производится починка, лужение, пайка, клепка.

Пока шло оборудование «мастерской», незаметно подвозилось и оборудование типографии. Прежде всего надо было раздобыть шрифт. Этим чаще всего занимались рабочие-печатники, которые поступали на работу в обычные типографии и понемногу выносили в карманах тугие пакетики свинцовых букв.

Пока накапливался шрифт — а его нужно было не меньше пятидесяти килограммов, — надо было достать или соорудить наборную кассу, тискальный станок, валики для накатывания краски и прочие приспособления. А потом неприметно доставить их на место. И делать все это с самым беззаботным видом, хотя бы на сердце скребли кошки.

Оборудованы подпольные типографии были самым разным образом. Некоторые так примитивно, что им не позавидовал бы сам Гутенберг. В них не было даже вала, и, чтобы получить оттиск, формочку с набором устанавливали на стул, накладывали бумагу, а затем кто-нибудь на нее садился и нажимал на эту бумагу «естественным прессом». Букв не хватало. Во время набора, который производился, конечно, вручную, то и дело слышался шепот: «Вася, дай мне прописное «К»; «Нина, у тебя есть точка с запятой и восклицательный знак?»

Но не все типографии были такими. С течением времени в партии выработалось немало специалистов «тайной печати» — таких, как братья Енукидзе. Созданные ими подпольные типографии не уступали качеством печати типографиям легальным.

Как и во всяком подобном деле, в работе подпольных типографий случались порой неожиданности, каких не могла бы придумать самая богатая фантазия.

В 1907 году Сергей Миронович Киров, только что освобожденный из Томской тюрьмы, занялся вместе с тремя товарищами устройством типографии.

Им удалось снять прекрасное, с точки зрения конспирации, помещение — дом некоего врача, находившийся на краю города. Устраивали типографию в подземелье. Работали весьма упорно.

Помещение было уже почти готово, уже привезен и установлен на место типографский станок. И вдруг в одну ночь явилась полиция. По тому, как велся обыск, видно было, что на след навел провокатор: полицейские искали именно типографию. Но, как ни тщательно они искали, обнаружить ее не смогли, ибо между потолком подземелья и полом дома был насыпан слой земли около метра толщиной, а вход в подземелье тщательно замаскирован. Все же жандармы арестовали работников типографии и препроводили в тюрьму.



Следствие велось долго, улик так и не нашли — и жандармы освободили арестованных. Всех, кроме Кирова.

Полиция давно его безуспешно искала. Еще в 1902 году, шестнадцатилетним юношей, он установил связи с революционными подпольными кружками. Затем устроил на огороде, в бане, самодельный гектограф, на котором печатал прокламации. Начало революции 1905 года застало его в Томске. Он шел в первых рядах демонстрации протеста против расстрела 9 Января. Демонстрация была разогнана полицией и казаками, открывшими стрельбу. Рабочий Кононов, который нес знамя, был убит. С присущей ему смелостью Киров разыскал труп Кононова, чтобы полиции не досталось спрятанное Кононовым на груди простреленное красное знамя. Киров спас это знамя, и оно стало боевым знаменем Томского комитета партии.

За это дело и еще за ряд старых дел Кирова продержали после ареста несколько месяцев в тюрьме. Потом состоялся суд, который приговорил его к трем годам одиночного заключения в крепости. Время, проведенное в тюрьме и в крепости, он использовал для самообразования, хотя, как рассказывал он потом, сидеть в одиночном корпусе было нелегко: по ночам тюрьма часто не спала, прощаясь со смертниками, которых уводили на казнь.

По отбытии срока крепости Киров переехал в Иркутск, и тут совершенно неожиданно товарищи передали ему малоприятную новость: в доме, в котором он когда-то устраивал типографию, поселился некий полицейский чиновник. Жил он, поживал, но вдруг провалилась печь, а под печью оказалось какое-то подземелье. Тут жандармы вспомнили, как они искали в этом самом доме типографию, раскопали подземелье — и все обнаружили.

Хорошо, что Кирова предупредили вовремя и он успел скрыться из Иркутска и бежать на Кавказ!

Работник подпольной типографии обязан был полностью порвать с внешним миром, не выходить на улицу, не встречаться ни с кем, даже с самыми близкими людьми, даже с товарищами по партии, если они не были связаны с рабо-

той типографии. Порой он неделями и даже месяцами не делал ни одного глотка свежего воздуха.

Его жизнь протекала в полумраке, при свете слабой керосиновой лампы. Он набирал, печатал, спал тут же, у типографского станка, ел скудную пищу, знал только свой нервный, напряженный труд, только свою изолированную жизнь, лишенную каких бы то ни было впечатлений, кроме постоянной настороженности и чувства опасности. И единственной его радостью было узнать, что прокламация, которую он набирал и печатал, дошла до рабочих и что где-то на тайных собраниях, на фабриках и заводах, читают пахнущие типографской краской листки, которые рабочие называли «жгучки».

Рабочий завода «Динамо» Д. Барнаков рассказывает в своих воспоминаниях:

«Поступил я на постройку завода в 1901 году, мальчишкой лет тринадцати; сперва разгонял болты, а потом меня взяли учеником в инструментальную мастерскую, и с этого момента я окунулся в кипящий котел заводской жизни рабочего с его борьбой против эксплуатации капитала...

Каждое политическое событие волновало массу и заставляло ответить на произвол царя и его присных. Помню, бывало, утром, когда еще дуговые фонари не зажигались, повсюду были разбросаны прокламации. На верстаках, на станках, на полу лежали белые голуби».

В несколько минут рабочие их подбирали, прятали по карманам и где-нибудь украдкой жадно читали и передавали из рук в руки.

«В каждой забастовке, хотя бы из-за получаса рабочего времени или из-за нескольких копеек заработной платы, мы сталкиваемся с царскими слугами, полицией и войском, точно с каменной стеной, которую не прошибешь...

Только перешагнувши через труп самодержавия, мы действительно поправим свою судьбу.

Товарищи-рабочие! Долой самодержавие!»

4

Если развернуть во всю длину нескончаемый свиток человеческой истории со всеми ее битвами, поражениями и победами, то воскресенье в девятый день первого месяца пятого года двадцатого столетия выступит на нем, как одна из самых бессмертных исторических дат.

Утром этого дня петербургские рабочие верили в царя, как в бога, и шли к нему с иконами и хоругвями молить о помощи и защите.

Вечером в залитом рабочей кровью Петербурге строились баррикады и звучало: «Долой царя!»

Напомним коротко о том, как развивались события, которые привели к этому дню, прозванному «Кровавым воскресеньем».

Весной 1904 года, в самый разгар русско-японской войны, в Петербурге, на дверях старого барского особняка на Петергофском шоссе, неподалеку от Путиловского и других заводов, появилась вывеска: «Союз фабрично-заводских рабочих». Затем такие же вывески появились и в других рабочих районах Петербурга.

Во главе «Союза» стоял священник Гапон. Впоследствии, в 1906 году, он был изобличен как агент охранки. Он убеждал рабочих, что царь хорош, а если им живется трудно и тяжело, то не по вине царя, а только по вине хозяев-капиталистов.

Правительство полагало, что с помощью таких речей Гапона оно сумеет погасить разгорающийся пожар народного недовольства. Но оно просчиталось: слишком много скопилось недовольства, слишком много было горючего материала.

В подобных случаях для вспышки достаточно незначительного на первый взгляд повода: в канун Нового года в деревообделочных мастерских Путиловского завода мастер Тетявкин уволил несколько рабочих. Третьего января рабо-

чие послали директору завода делегацию с требованием вернуть уволенных рабочих и уволить мастера. Директор разговаривать с делегацией не пожелал. Тогда рабочие стали прекращать работу. Молодые рабочие перебегали из мастерской в мастерскую, крича во все горло: «Бросай работу! Выходи все к конторе!»

Перед конторой собралось тысяч десять народу. Директор почувствовал, что дело оборачивается серьезно. Он появился перед толпой в сопровождении полицейского пристава и предложил, чтоб рабочие прислали в контору своих представителей.

— Нет, — раздались голоса. — Говори при нас...

— Здесь холодно, я не могу, — заявил директор.

— Ничего, господин Смирнов, — ответил ему один из рабочих, — на вас шуба теплая. Мы вот рыбьим мехом прикрыты, и то стоим...

Директор помялся, помялся, потом сказал:

— Ну, в чем дело?

Рабочие изложили свои требования.

— Нет, — сказал директор. — Мастера для меня дороже и нужнее, чем рабочие.

Толпа зашумела и с возгласами: «Забастовка! Забастовка!» — хлынула на улицу.

А в главные ворота завода в эту же минуту въехал отряд конной полиции.

Заводская молодежь рассыпалась по фабрикам и заводам Петербурга, и к вечеру весь рабочий Питер знал, что путиловцы забастовали.

Вслед за путиловцами забастовали другие предприятия.

К восьмому января всеобщая стачка охватила почти все крупные и мелкие предприятия Петербурга.

В помещениях гапоновского «Союза» с утра до поздней ночи беспрерывно шли митинги. Тысячи рабочих, не попав внутрь, толпились на улице. Всюду принималось решение: утром в воскресенье девятого января идти к царю с петицией, излагающей просьбы обиженных и страдающих рабочих.

Старшая сестра Владимира Ильича, Анна Ильинична Елизарова, жила тогда в часе езды от Петербурга. Только утром 5 января она узнала, какой широкий размах приняло гапоновское движение.

О Гапоне она уже слышала раньше. Как и все петербургские большевики, считала его фигурой странной и подозрительной. И захотела составить себе о нем непосредственное впечатление.

Вечером восьмого января Анна Ильинична поехала за Нарвскую заставу.

На окраине города, у ворот большого двора, ведущего к отделению гапоновского «Союза», она увидела объявление, что девятого января будет происходить «шествие с петицией к царю».

Поблизости прохаживался городовой. Объявление не срывал.

Рабочие, пришедшие на собрание «Союза», толпились во дворе группами и беседовали. Настроение было спокойное и какое-то праздничное. Они были убеждены, что царь к ним выйдет, поговорит, поможет.

У Анны Ильиничны защемило сердце.

— Вас к царю не пустят, — пыталась она убедить рабо-



чих. — Процессии такой не разрешат... Все кончится арестами и нагайками...

Но рабочие не хотели ее слушать.

— Как так — не пустят? — уверенно отвечали они. — Мы от общества пойдем. Только просить пойдем...

— А студенты? — напоминала она. — Вспомните, как царь послал против них казаков.

— Студенты — другое дело. Они всегда бунтуют. А мы мирно к своему царю идем...

Но смутная тревога все-таки проникала в сердца рабочих.

С вечера восьмого января многие из них, как это делают русские солдаты перед тяжелым боем, ходили в баню, надевали чистые рубашки, ходили даже в церковь помолиться, чтобы быть готовыми «принять смерть».

И вот настало утро девятого января. Когда участники шествия появились на улице, перед их взорами предстала картина военного лагеря. Повсюду по углам выстроились войска в полном военном снаряжении, везде горели костры, дымились походные кухни, слышалось конское ржание и лязг железа. И многие рабочие в эту минуту подумали: «Дело будет. Кровь прольется».

Анна Ильинична Елизарова шла в рядах процессии Петербургской стороны. Когда они подошли к Троицкому мосту, там стояла уже большая толпа. На ярком зимнем солнце блестела преграждающая путь шеренга солдатских штыков.

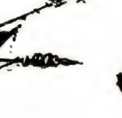
За толпой не было видно, что происходит впереди. Но вдруг послышался сухой, короткий треск. Трудно было представить, что этот легкий звук был началом расстрела безоружных людей. Анна Ильинична вместе с другими решила, что выстрелы холостые.

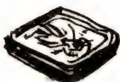


— Какое «холостые»! — закричала бегущая женщина. — Подле меня один упал, а у другого рукав весь в крови.

Все же ряды продолжали стоять. Но послышались новые залпы.

Толпа шарахнулась, проклиная, взывая о мщении.





...За Нарвскими воротами во главе шествия должен был идти сам Гапон. Около гапоновского «Союза» трудно было протолкаться. Из Путиловской церкви принесли хоругви и образа. Многие рабочие пришли с женами и ребятишками, с иконами и царскими портретами. Появилось духовенство — и шествие тронулось в путь. У Нарвских ворот его встретили казаки и гвардейцы, затем наперерез ему двинулась пехота. Заиграл сигнальный рожок, но толпа не поняла сигнала да и не услышала его из-за того, что пела «Боже, царя храни». Только дети, которых было очень много и они бежали впереди, остановились и прислушивались к незнакомым звукам.

Тут раздался первый залп, за ним второй и третий. Дети заметались. Дико закричали женщины. Раненые, убитые, умирающие падали на снег, и от их крови снег стал таять, превращаясь в темно-коричневую жижу. А те, что остались живы, бегом спускались к Обводному каналу, чтоб по льду пробраться в город.

Там, в городе, шла стрельба. Рабочие в порыве бешенства рвали на себе пиджаки и рубахи и с открытой грудью шли на штыки, молча падали, когда солдаты открывали огонь, потом поднимались и пробивались дальше. Тут тоже весь снег кругом был усеян убитыми и ранеными, среди которых было много детей, сбитых пулями с деревьев, куда дети забирались, чтобы «поглядеть на царя».



Солдатам и казакам удалось оттеснить толпу от Дворцовой площади. Но до поздней ночи улицы были полны. Электричество не горело. Подожженные газетные киоски пылали густым оранжевым пламенем. В темноте раздавались крики, гремели выстрелы, слышались восклицания: «У нас нет больше царя!», «Долой царя!», «Долой самодержавие!»

На Васильевском острове и на Выборгской стороне рабочие пилили телеграфные столбы, сваливали поперек улицы вагоны конки и строили баррикады, на которых заалели красные знамена. Разгромив оружейный магазин, строители баррикад захватили все имевшееся там оружие: револьверы, сабли, старинные ятаганы. Кому не досталось оружия, тот

вооружался чем мог: напильниками, топорами, а то просто увесистыми кусками железа. Начались вооруженные схватки с солдатами и казаками...

«Величайшие исторические события происходят в России, — писал Ленин по поводу Кровавого воскресенья. — Пролетариат восстал против царизма».

И обращался со страстным призывом:

«Да здравствует революция! Да здравствует восставший пролетариат!»

Петербургские большевики понимали неизбежность роковой развязки и делали все, чтобы рабочие не попали в ловушку царской провокации.

«Мы наблюдаем невиданную в Петербурге картину, — писали Ленину из Петербурга. — Сердце сжимается страхом перед неизвестностью, окажется ли социал-демократическая организация хоть через некоторое время в состоянии взять движение в свои руки».

А когда большевики увидели, что предотвратить трагические события они не в силах, они решили быть в день тягчайшего испытания вместе с массами и шли девятого января в рядах шествия, понимая, что впереди расстрел и гибель.

Но прошло несколько часов — и те рабочие, которые утром несли царские портреты и иконы, потребовали оружия.

Английский журналист, на корреспонденцию которого обратил внимание Ленин, передал характерный разговор, услышанный им на улице в Москве.

Группа рабочих открыто обсуждала уроки дня.

— Топоры? — говорил один из них. — Нет, топорами ничего не сделаешь против сабли. Топором его не достанешь, а ножом и того меньше. Нет, нужны револьверы, по меньшей мере револьверы, а еще лучше ружья...

Никогда на партийных явках не бывало столько народу, как после Кровавого воскресенья. Отовсюду неслись требования литературы, прокламаций, оружия, оружия и оружия.

«Я работал в Петербурге на металлическом заводе, — рассказывает рабочий-большевик Н. М. Немцов. — Мы чувствовали партию, чувствовали, что идет какое-то громадное движение, что творится что-то великое, что отвлекает рабочих от серых будней...

Так началась революция 1905 года. Рабочий знал, что ему нечего терять, кроме своих цепей...»

5

Силы революции неизмеримо возросли...

Теперь рука об руку со старшим поколением борцов, родословная которого начинается с конца прошлого века, в революционное действие вступила молодая поросль нашей партии, поднявшаяся во времена «Искры» и кануна великого девятьсот пятого года.

Много славных имен, навеки вошедших в историю человечества, насчитывает в своих рядах это новое, молодое поколение революции.

Тут Михаил Васильевич Фрунзе, который еще юношей, гимназистом старших классов, в переписке с родными писал, определяя цель своей жизни:

«...Глубоко познать законы, управляющие ходом истории, окунуться с головой в действительность, слиться с самым передовым классом современного общества — с рабочим классом, жить его мыслями и надеждами, его борьбой, — и в корне переделать все...»

Тут и Валериан Владимирович Куйбышев, который начал свою революционную деятельность еще будучи тринадцатилетним подростком, а три года спустя уже руководил рабочими кружками.

Один из участников этих кружков пишет, вспоминая молодого Куйбышева:

«Высокий, стройный, широкий в плечах, совершенный еще мальчик по возрасту, он производил обаятельное впечатление на своих товарищей-кружковцев. Он появлялся на

занятия в кружок в своей серой кадетской шинели (учился в Сибирском кадетском корпусе в Омске), при тесаке и в больших сапогах, которыми он отчаянно громыхал. Его появление вызывало шутки, смех, которые Валериан умело парировал, заразительно смеялся и увлекал своим смехом окружающих...»

И тут же Свердлов, Яков Свердлов. В шестнадцать лет член подпольной партии. В семнадцать — агитатор и пропагандист. В восемнадцать — зрелый партийный работник. В тяжелых условиях жизни подпольщика он воспитал в себе ту закаленность в революционной борьбе, благодаря которой, говоря словами Ленина, являл собою «...наиболее отчеканенный тип профессионального революционера, — человека, целиком порвавшего с семьей, со всеми удобствами и привычками буржуазного общества, человека, который целиком и беззаветно отдался революции...»



Жизнь его коротка и необыкновенна. Из тридцати четырех лет, что он прожил, восемнадцать он полностью и безраздельно отдал партии, революции, рабочему классу, а из этих восемнадцати — тринадцать провел в тюрьме и ссылке.

Он родился в 1885 году в Нижнем Новгороде, в еврейской семье ремесленника-гравера. С самого раннего детства поражал своим развитием не по годам. Необычайно живой, непоседливый, он любил самые головоломные шалости, и в то же время в нем жила страстная жажда знания. Своими вопросами он нередко ставил в тупик взрослых.

В гимназии он проучился всего четыре года: казенщина преподавания и схоластика вызывали его бурный протест; он убегал с уроков и дошел до тройки за поведение. Все это сделало дальнейшее пребывание в гимназии невозможным. Он покинул ее, уйдя из пятого класса. Но жажда зна-

ния от этого только возросла: он читал запоем. В его руки стала попадать нелегальная литература. Она произвела на него огромное впечатление, и он решил отдать жизнь делу борьбы за освобождение рабочего класса.

Еще подростком он начал оказывать активную помощь революционному подполью. Был арестован как участник революционной демонстрации «за буйное поведение и неподчинение требованиям полиции». По выходе из тюрьмы весь отдался подпольной работе на Сормовском заводе, а квартира его отца, как рассказывают бывавшие в ней, «кипела скрытой жизнью подполья: здесь соединялись нити тайной организации, здесь плелась паутина революционной сети для Сормова и для Нижнего, здесь витал дух классовой борьбы, хотя кругом еще было темно, все спало под гнетом царизма, и нужна была воля сильных людей, чтобы прояснить окружающий мрак...»

Весной 1903 года в Нижнем были произведены крупные аресты.

Оставшийся на свободе Свердлов устроил подпольную типографию и в течение долгого времени снабжал брошюрами и прокламациями агитаторов и пропагандистов, работавших на нижегородских заводах.

Некоторое время спустя он также был арестован, отдан под гласный надзор полиции, но скрылся, нелегально уехал в Кострому, работал там около полутора лет в подпольной организации, а когда почувствовал за собой слежку, переехал в Казань.

Это было в начале 1905 года, вскоре после трагического расстрела петербургских рабочих...

Пленяют бесстрашие и непреклонность, с которыми люди этого поколения революции избирали свой жизненный путь. Когда решение выстоялось, оно принималось с непоколебимой твердостью. Изменить или отменить его не могло никто и ничто. Зато какое огромное удовлетворение испытывал человек, который мог, подобно Ивану Адольфовичу Теодоро-

вичу, сказать о себе, подводя итоги прожитого и пережитого:

«Такова моя жизнь, жизнь профессионального революционера, жизнь рядового ленинской когорты. И в практической работе, и в литературной деятельности я служил одной цели — пропаганде идей великого революционера, моего учителя. И если чем я горжусь, так только тем, что одним из первых я почувствовал гений Ленина и стал под развернутое им знамя».

6

Весть о Кровавом воскресенье долетела до Женевы поздней ночью. Десятого января женевские газеты вышли с аншлагами: «РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ!»

Владимир Ильич и Надежда Константиновна в это утро вышли из дому рано, не читав газет. Они торопились в библиотеку, но по дороге встретили Анатолия Васильевича Луначарского и его жену, которые спешили к ним, чтобы сообщить о потрясающих событиях в Петербурге. Жена Луначарского так волновалась, что не могла говорить, а только размахивала муфтой.

О библиотеке, разумеется, не могло быть речи; они пошли туда, куда в то утро потянулись все женевские большевики: в эмигрантскую столовую Лепешинских, являвшуюся чем-то вроде партийного клуба.

«Хотелось быть вместе, — вспоминает об этом Надежда Константиновна. — Совершенно почти не говорили между собою, слишком все были взволнованы. Запели: «Вы жертвою пали...» Лица были сосредоточенны; всех охватило сознание, что революция уже началась, что порваны путы веры в царя, что теперь уже совсем близко то время, когда «падет произвол и восстанет народ — великий, могучий, свободный...»

Легко представить себе возбуждение, которым была охвачена женевская большевистская колония. Один из молодых

товарищей не выдержал и, глядя на прогуливающихся женевских буржуа, произнес пылкую речь, которую те, конечно, не поняли, ибо произнес он ее по-русски:

— О женевцы! О швейцарские буржуа! Вы, потомки славного Вильгельма Телля! Понимаете ли вы: в России революция? Понимаете ли вы это, о толстобрюхие, самодовольные женевские лавочники? Нет, вы этого не понимаете и не поймете, ибо вы заплыли жиром... В России революция! Великий Телль! Мы будем действовать так, как действовал ты, и даже лучше! Великий Руссо! Пускай твой прах лежит спокойно: мы сделаем свое дело!

Тут же порешили собирать деньги на помощь русской революции. «Сытые женевские буржуа», хотя и не поняли речь, с которой обратился к ним пылкий оратор, неохотно развязывали кошельки. Зато в шапки сборщиков щедро сыпались рабочие медяки; и вечером допоздна Владимир Ильич и Надежда Константиновна вместе со сборщиками раскладывали и подсчитывали собранные монеты.

Но был среди этих медяков один золотой. Его пожертвовала продавщица газет — бедно одетая старуха. Когда она узнала, с какой целью собирают деньги, она вытащила старый кошелек и, достав золотую монету, отдала ее со словами:

— Мой сын тоже социалист. Сейчас он сидит в тюрьме. Вот вам на борьбу. Да здравствует русская революция!

Все эмигранты-большевики стремились уехать из Женевы в Россию.

— Там люди умирают, а мы будем сидеть тут?! — восклицали товарищи. — Мы должны ехать, ехать туда, в самую гущу борьбы!

А Владимир Ильич вынужден был, хотя ему это было безмерно тяжело, оставаться в Женеве и наблюдать за развитием событий, как писал он в те дни, «из проклятого далека»: надо было сохранить центральное руководство партией, надо было выпускать партийную газету «Вперед», которая теперь играла в борьбе рабочего класса такую же роль, как «Искра».

К тому же меньшевики продолжали срывать работу партийных организаций, отравляли ее склокой и всяческими нападками на большевистскую, ленинскую часть партии. «Борьба за партию не кончилась, — писал Ленин, — и до действительной победы ее не доведешь без напряжения всех сил. . .»

Нет, для него отъезд в Россию был невозможен!

Между тем революционные события в России продолжали развиваться нарастающим темпом. То тут, то там рабочее море бороздили стачки и демонстрации. Расширялось движение студенчества и передовой молодежи. Чуть ли не каждый день приносил известия о крестьянских волнениях.

В порядке дня стояла немедленная подготовка к вооруженному восстанию, целью которого было создание временного революционного правительства.

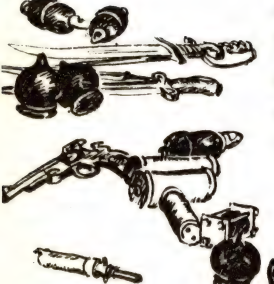
«Вооружение народа становится одной из ближайших задач революционного момента», — писал Ленин.

Эта важнейшая задача была возложена на боевые организации, созданные партией в Петербурге, в Москве, в ряде других городов.

В отличие от эсеров, которые занимались индивидуальным террором, боевые организации большевиков ставили своей целью создание рабочих боевых дружин и подготовку масс к вооруженному восстанию.

Нужно было вооружать рабочих. Нужно было обучать их стрельбе, метанию бомб, тактике уличного боя и баррикадной борьбы, создавать рабочие дружины на фабриках и заводах, в рабочих поселках и в рабочих районах.

Боевые организации добывали оружие и взрывчатку, доставляли их на тайные склады, организовывали лаборатории и мастерские по изготовлению бомб, передавали оружие и бомбы рабочим, учили, как с ними обращаться, и делали все это в постоянной опасности взрыва и несчастных случаев, в постоянной угрозе быть выслеженным, арестованным, убитым, расстрелянным, повешенным.



Работа эта требовала такой конспиративности, как ни одна другая.

Вступивший в Боевую организацию обязан был не встречаться ни с кем, кроме тех, кто нужен для дела. Отныне все его внимание, все его силы принадлежали только организации.

Каждая деталь работы боевой группы была тщательно продумана, чтобы не допустить провалов.

Динамит обычно возили на себе, обкладывая им себя и обматывая бесконечным количеством бинтов. У динамита был едкий и удушливый запах, отдававший горьким миндалем. Поэтому тот, кто его вез, вынужден был даже в мороз стоять на площадке вагона.

Чтобы перевозить и переносить запалы с гремучей ртутью, приспособили специально сшитые лифчики с ячейками в виде патронташей. Гремучая ртуть обладает способностью необычайно легко взрываться, и малейшего толчка, малейшего удара достаточно, чтобы взлететь на воздух.

Еще труднее было с бикфордовым шнуром. Резать его было нельзя: мог понадобиться длинный шнур. Поэтому перевозили его, наматывая на ноги.

— Нечего говорить, что все это было сопряжено с большой опасностью, — рассказывает руководитель первой большевистской боевой группы Николай Евгеньевич Буренин. — Человек превращался в хорошо снаряженную бомбу. Ехать было очень трудно: всю дорогу (а запалы в бикфордов шнур не раз привозили из Парижа) надо было бодрствовать, сидеть в вагоне, не прикасаясь к спинке скамьи во избежание толчков, которые могли привести к взрыву. . .

Ленин внимательно следил за работой Боевой организации, проявляя при этом глубокое понимание стратегии и тактики вооруженного восстания. «Наш Ильич никогда не носил мундира, никогда не имел у пояса сабли, никогда не был военным,— писал о нем П. Н. Лепешинский.— Но его душе и его уму в полной мере были присущи те качества, которыми мог бы гордиться любой военачальник».

Исходя из условий вооруженной борьбы пролетариата,

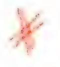
Ленин придавал особо важное значение бомбам. Бомба, писал он, «становится необходимой принадлежностью народного вооружения».

Для изготовления бомб была выделена специальная «химическая» группа. Ее участникам были даны необычные партийные клички: «Эллипс», «Альфа», «Омега». Руководитель Боевой организации Леонид Борисович Красин поручил им выработать состав сильнодействующего, но в то же время безопасного в хранении взрывчатого вещества и создать негромоздкую бомбу, годную для уличного боя.

Оболочки для бомб готовили в небольшой кустарной мастерской, на которой красовалась вывеска: «Мастерская детских игрушек». Чтобы не вызвать подозрений, там действительно изготовляли оловянных солдатиков, игрушечные паровозики и вагончики. А в другом конце города, в переулке, сплошь заселенном мастерскими столяров, мебельщиков, сапожников, гробовщиков, была открыта мастерская по «Изготовлению фотографических аппаратов». Но в ней изготовляли не фотографические аппараты, а динамит, пироксилин и гремучую ртуть, делали бомбы.

В своей опаснейшей работе участники Боевой организации проявляли немало остроумия и находчивости.

Так, один из работников Московской боевой группы М. П. Виноградов, по профессии инженер, когда понадобились оболочки для бомб, поступил на службу в крупную молочную торговую фирму и предложил хозяевам изготовить «сепараторы совершенно новой конструкции». Те согласились. Но лишь после того как были готовы три тысячи штук, хозяева обнаружили, что мнимые сепараторы никуда не годятся. Однако правды так и не поняли.



Они уволили горе-изобретателя и «в наказание» потребовали, чтоб он выкупил эти «сепараторы» как железный лом. А тому только это и было нужно. Уплатив по гривеннику за штуку, Московская боевая организация приобрела для бомб три тысячи оболочек великолепного заводского производства.

Револьверы проносили в потайных карманах. Винтовки

привязывали к полотенцам, которые в виде помочей спускались с плеч, а сверху надевали пальто или платье. При этом, чтобы конец винтовки не вылез наружу, надо было держаться прямо, точно аршин проглотил.

В случае ареста участника Боевой организации его неминуемо ждал военно-полевой суд и каторга или смертная казнь. Поэтому при появлении полиции в мастерских по производству бомб и на складах оружия застигнутые там товарищи нередко оказывали полиции вооруженное сопротивление.

А иногда дело бывало спасено благодаря хладнокровию и находчивости.

Пример тому — история обыска у Александра Александровича Кузьмина, сына известного петербургского архитектора.

Блестяще окончив реальное училище, а затем Горный институт, А. А. Кузьмин, отличавшийся выдающимися математическими способностями, получил предложение остаться при институте для подготовки к профессорской карьере или занять выгодное место на казенном заводе. Но он отклонил оба эти предложения: к этому времени он познакомился с учением Маркса, переселился из барского особняка в рабочий район, за Невскую заставу, и в 1905 году сделался членом партии, большевиком. Взялся за самую опасную работу — в его квартире был устроен склад бомб.

Полиция смотрела на него, как на барина-чудака. Поэтому, хотя не раз следы подпольной организации приводили к его квартире, все оканчивалось поверхностным обыском. Но однажды во время обыска жандармы наткнулись на ящик, в котором под видом каких-то электрических приборов лежали заряженные бомбы.

— Что это у вас? — спросил Кузьмина блестящий жандармский офицер, руководивший обыском.

— Это? — совершенно спокойно переспросил Кузьмин. — Это я произвожу опыты с изготовлением электрических лампочек из особого нового состава, напоминающего по своим качествам и стекло и металл и отличающегося колоссальной прочностью. Хотите, попробуем?

Он взял в руки небольшую бомбочку, вставленную в какой-то футляр, и, приподняв, готов был с силой бросить ее.

Офицер сразу разгадал, что это за «электрическая лампочка», и понял, что Кузьмин, чтоб бомбы не попали в руки полиции, не задумается взорвать и себя, и всех, кто находится в комнате.

— Не надо... Не надо... — залепетал жандарм и записал в протоколе: «Ничего предосудительного при обыске не обнаружено».

Кто же были они — те, что в глубоком подполье готовили оружие для борьбы против самодержавия?

Отвечая на этот вопрос, одна из участниц первой большевистской Боевой организации, Софья Марковна Познер, писала:

«Это были все те же рабочие — авангард пролетариата, который шел на борьбу с капиталом, на борьбу с царским правительством, увлекая за собой массы, разжигая стачку в яркое пламя восстания, идя в открытый бой с самодержавием на улицах больших городов; это была та молодая интеллигенция первой русской революции, которая порвала с прошлым и становилась в ряды армии пролетариата.



Это они ковали оружие против ненавистного самодержавия, учились в подполье боевому делу, расплачиваясь за это годами каторжных тюрем и самой жизнью.

Этим людям приходилось учиться в подполье теории и практике стрельбы, им надо было изучать программу и устав партии, писать «Памятки боевиков», составлять боевые кружки и делать многое другое. А попутно среди всей подпольной боевой работы надо было разрешать без компромиссов запросы своей личной молодой жизни».

7

Большую роль в Боевой организации играла группа рабочих Сестрорецкого оружейного завода — братья Николай и Василий Емельяновы, Тимофей Поваляев, Александр Матвеев, Дмитрий Васильев.

Чтоб ближе узнать этих замечательных людей, посмотрим на жизненный путь одного из них — Николая Александровича Емельянова, которого Владимир Ильич Ленин знал до Октябрьской революции и называл одним из виднейших деятелей питерского рабочего авангарда.

Николай Емельянов родился в 1871 году в Сестрорецке, где его отец и дед работали на построенном еще при Петре оружейном заводе. В одиннадцать лет он тоже пошел на этот завод и проработал на нем до Октябрьской революции, за исключением времени, когда сидел в тюрьме или был в солдатах.

Образование Емельянов получил низшее, хотя желание учиться было огромное. Тоску по знанию заглушал он тем, что очень много читал: начал с лубочных книжонок, вроде «Бовы-Королевича», «Черного монаха» и «Пещеры Лейхтвэйса», потом товарищ по работе дал ему поэмы Некрасова, а потом — «Пауки и мухи» и «Кто чем живет?» — нелегальные книжки, с которых столь многие начинали свое приобщение к революции.

По справедливому замечанию Михаила Ивановича Калинина, рабочий, который в те годы вошел в партию, уже одним тем, что он вошел в партию, был героем. Уже одним этим он определял для себя смысл жизни.

Вступив в кружок, он оказывался среди товарищей, которые по своему развитию стояли на несколько голов выше окружающей массы.

Это были, как их называли тогда, «интеллигентные пролетарии», люди начитанные, цитировавшие на память «Горе от ума» и «Ревизора», знавшие произведения Некрасова и Писарева.

Они много читали, много занимались. Следили за собой,

старались жить в чистоте, не пили. И в то же время сохраняли тесную связь с рабочей массой, к которой были, конечно, ближе и роднее, чем люди, пришедшие со стороны и не жившие с этой массой.

К такому типу «интеллигентных пролетариев» и принадлежал Н. А. Емельянов.

Он вступил в партию в 1899 году. Был убежденным «искровцем». После II съезда сделался большевиком.

Когда партия поставила в порядок дня подготовку вооруженного восстания, Николай Александрович Емельянов организовал группу сестрорецких рабочих, являвшуюся частью Боевой организации партии. Эта группа занималась похищением с Сестрорецкого оружейного завода винтовок, выносившихся обычно по частям, в разобранном виде. Сборка производилась в созданной при группе подпольной мастерской. Кроме того, усилиями Емельянова и его товарищей был создан боевой отряд, который во время будущего восстания должен был захватить арсенал, а также ружья и патроны с Сестрорецкого завода и с заводского стрельбища.

Летом и осенью 1905 года, пока Финский залив не покрыло льдом, Николай Емельянов и его товарищи переправляли динамит и оружие морем.

Как рассказывает Н. Е. Буренин, они под видом рыбаков шли на лодках, груженных оружием, десятки верст мимо пограничных катеров. Не раз попадали они в очень трудное положение, но выходили из него благодаря своему бесстрашию и находчивости.

Было очень важно иметь на трассе, по которой шло оружие, надежные склады и перевалочные базы. Такими складами и базами служили для Боевой организации квартиры многих сестрорецких рабочих, живших в самом Сестрорецке или неподалеку от него.

Во всей этой опаснейшей работе Николай Александрович Емельянов проявил исключительное мужество и преданность делу революции.

Недаром в 1917 году, когда Владимиру Ильичу Ленину

грозил арест и расправа со стороны ищеек Временного правительства, именно Емельянову партия поручила укрыть Ленина от смертельной опасности. И Николай Александрович с честью выполнил это задание.

Рабочие-дружинники тщательно изучали программу действий боевой дружины в момент выступления, изложенную в специальной инструкции. Называлась эта инструкция: «ПЕРЕД БИТВОЙ».

Перед битвой, гласила она, прежде всего надо занять царский дворец и городскую думу, а также банки, полицию, министерство внутренних дел, военное министерство и почтамт, а также все дома, расположенные с ним по соседству.

Перед битвой следует тщательно изучить подземные проводки — телеграфную, телефонную, а также газо- и водопроводы. Приготовить и запасти как можно больше разрывных снарядов, бомб и динамита.

Перед битвой надо заранее точно назначить, где будет находиться главный штаб революционеров.

Перед битвой следует избегать всяких сборищ, шума и чрезмерного движения, которые могут возбудить подозрение. Чем крепче будет спать неприятель, тем ужаснее для него то, что он увидит при своем пробуждении.

8

Среди участников Боевой организации была молодая девушка с гордо поставленной головой и умным, прекрасным лицом. Александр Васильевич Шотман, который познакомился с ней в 1902 году, когда она делала только первые шаги на революционном пути, запомнил, с каким детским восхищением смотрела она на революционеров-рабочих, к которым принадлежал сам Шотман.

Когда же он встретил ее три года спустя, она была уже видной революционеркой.

Это была Ольга Михайловна Генкина. В 1902 году ей было только семнадцать лет. Ей поручали хранение и разноску подпольной литературы: это было самое незаметное, кропотливое дело. На замечание своей подруги, что той наскучила «техника», так хочется живой, боевой работы, Оля ответила:

— Всякая работа жива и интересна, надо только отдаваться ей с душой.

Весной 1904 года она была арестована, но освобождена под залог в тысячу рублей. В день Девятого января шла в рядах рабочих и, когда начался расстрел безоружной толпы, с ненавистью кинулась к казакам и схватила под уздцы офицерского коня. Тут же была она арестована, отправлена в тюрьму. Там ее продержали четыре месяца. Выходя из ворот тюрьмы, она увидела проходившего мимо офицера. Это напомнило ей Девятое января, и она громко крикнула:

— Долой самодержавие!

И тотчас же у самой тюрьмы была вновь арестована.

Осенью она была освобождена. Вскоре стало известно о крупных волнениях среди рабочих Иваново-Вознесенска. Туда надо было срочно доставить оружие. За это взялась Ольга Михайловна.



С полным чемоданом револьверов-браунингов она поехала в Иваново. Сдала чемодан в камеру хранения, а сама пошла в город на явку. Ее приметил дежуривший около камеры хранения шпик. По его доносу к вокзалу были стянуты полицейские и собрана толпа черносотенцев, состоявшая из мясников и ломовых извозчиков, вооруженных железными палками и крючьями.

Когда Ольга, договорившись, куда отвезти оружие, приехала на вокзал и направилась к камере хранения, к ней кинулись поджидавшие ее там шпики, схватили ее и вытолкнули на привокзальную площадь к жаждавшей крови толпе, которая ее растерзала.

9

Владимир Ильич с напряженнейшим вниманием следил за происходящим в России.

Дни были полны событиями. После разгрома русских войск на полях Маньчжурии из конца в конец страны прокатилась волна массовых забастовок, которые носили все более и более политический характер. Все шире становился размах крестьянского движения. Гром пушек восставшего броненосца «Потемкин» возвестил о том, что в революцию втягиваются новые силы: военно-морской флот и армия.

Число партийных организаций росло. В них вступали новые члены партии. Шла подготовка вооруженного восстания.

Владимир Ильич буквально рвался в Россию из проклятой эмиграции. Слал товарищам письмо за письмом. Вчитывался в каждое слово, доносившееся из России. Стремился помочь русскому подполью чем только возможно.

— Задания самые серьезные, — говорил он М. Васильеву-Южину, направляя его в Одессу в момент восстания на «Потемкине». — Постарайтесь во что бы то ни стало попасть на броненосец, убедите матросов действовать решительно. Город нужно захватить в наши руки. Немедленно вооружите

рабочих и действуйте среди крестьян. Уделяйте им больше внимания. Призовите захватывать помещичьи земли и соединяться с рабочими...

С чувством глубокого восхищения воспринимал Владимир Ильич известия о героической борьбе народных масс.

«Хорошая у нас революция, ей-богу!» — писал он в одном из писем того времени. И увлеченно пел вместе с женевскими большевиками новый куплет «Дубинушки», сложенный М. С. Ольминским:

Новых песен я жду для родной стороны,
Но без горестных слов, без рыданий,
Чтоб они, пролетарского гнева полны,
Зазвучали призывом к восстанью...

Осенью 1905 года Владимир Ильич почувствовал, что оставаться дольше за границей он не может. Чем бы это ему ни грозило, его место в России, только в России.

Он приехал в Петербург в начале ноября 1905 года. В тот же день посетил кладбище, на котором в братских могилах были похоронены жертвы Кровавого воскресенья.

Несколько лет спустя я, автор этой книги, в то время десятилетняя девочка, побывала на могилах погибших Девятого января. Навеки врезалось в мою память грустное кладбище петербургских бедняков, похороненных под земляными холмиками, заросшими лопухом.

Долго шли мы между могилами, над которыми не было даже имен убитых. Но вдруг между соснами мелькнул трепетавший на ветру алый лоскут. Мы пошли к нему и увидели длинный высокий земляной холм, в который то тут, то там были воткнуты покосившиеся кресты. На немногих крестах можно было прочесть полустершиеся имя или слова: «Убиенный 9-го января...»

Но был кто-то, приходивший сюда до нас. Тот, кто тайком, под полой, принес сюда этот алый лоскут и укрепил его на вершине братской могилы.

Рабочий Питер помнил своих мучеников-героев...

10

В Петербург Владимир Ильич приехал в то время, когда царское правительство, напуганное натиском революции, немного отступило и был провозглашен царский манифест, объявлявший свободу слова, печати, союзов. Это не было, конечно, настоящей свободой. На следующий же день после царского манифеста черносотенные банды устроили при поддержке полиции серию еврейских погромов и убийств революционеров. В эти самые дни в Москве был убит Николай Эрнестович Бауман.

Недаром о манифесте тогда же было сложено двустишие:

Царь Николашка издал манифест:
«Мертвым — свободу, живых — под арест...»

Когда Владимир Ильич и приехавшая за ним следом Надежда Константиновна попробовали поселиться легально, целая туча шпиков окружила дом. Пришлось с этой квартиры немедленно же уехать и жить нелегально, врозь, по фальшивым паспортам.

Штаб-квартирой большевиков в то время была редакция большевистской газеты «Новая жизнь», помещавшаяся на Невском проспекте. Кого только там не встретишь! И бежавших из ссылки! И освобожденных по амнистии из тюрем! И партийных работников — «профессионалов», разыскивавших явки и связи с партийной организацией.

Владимир Ильич бывал в редакции почти ежедневно. Обложившись свежеполученными газетами, рукописями и книгами, писал очередную статью.

Пренебрегая опасностью, Владимир Ильич принимал участие в нелегальных совещаниях и даже выступил на заседании Петербургского Совета рабочих депутатов, возникшего как боевой орган борющегося пролетариата. Владимир Ильич выступил на нем 13 ноября по вопросу о локауте (всеобщем увольнении), объявленном фабрикантами и заводчиками в ответ на введение рабочими восьмичасового рабочего дня.

Придя в Совет, Владимир Ильич прошел в комнату, где шло заседание Исполнительного комитета.

Видевший его тогда впервые Н. М. Немцов рассказывает:

«Меня во Владимире Ильиче поразила прежде всего живость его взгляда, того взора, которым он окинул не только наше помещение, из которого мы, по силе возможности, руководили революцией в 1905 году в Петербурге, но кажется, что этим проникновенным, быстрым взором он быстро изучал и каждого из участников данного собрания. Я не помню содержания беседы и его речи в то время, потому что меня слишком приковал этот его взгляд».

Один из участников этого заседания, Н. Соболевский, совсем незадолго до того встречался с Владимиром Ильичем в Женеве, но в первую минуту не узнал его: Владимир Ильич изменил наружность, сбрил бороду. Услышав его голос, Соболевский был ошеломлен: «Неужели это он? Да, да, конечно, он! ..»

— Громадное большинство присутствовавших депутатов не подозревали, что перед ними Ленин, — рассказывает Соболевский. — Не помню, под какой фамилией он выступил. Все сразу были захвачены его речью: так в Совете еще никто не говорил.

Сначала Владимир Ильич заметно волновался: перед ним были те, к кому он рвался из своей женевской клетки, — цвет петербургского пролетариата, авангард революции. Но он быстро овладел собой. Речь его потекла, как всегда, стремительным потоком. Когда он кончил, раздался гром долго не смолкавших рукоплесканий. Написанный им проект резолюции был единогласно принят Советом.

Из Петербурга Владимир Ильич ездил в Москву. По его возвращении Надежда Константиновна пошла к нему, на ту квартиру, где он тогда жил. Когда она подходила к дому, ее поразило количество шпиков, выглядывавших из-за всех углов.

— Почему за тобой такая слежка? — спросила она Владимира Ильича.

Они тут же решили скрыться. Вышли на улицу под руку, пошли не в том направлении, куда было нужно, а в обратном, переменили трех извозчиков, прошли через проходные ворота и убедились, что сумели уйти от слежки.

Как-то Владимир Ильич, смеясь, рассказал Надежде Константиновне о том, как на явке он встретился с молодой девушкой-партийкой, которая «пропагандировала» его.

Эта девушка была М. Ираши. Два десятка лет спустя она описала этот забавный эпизод.

М. Ираши была тогда пропагандистом в одном из рабочих районов Петербурга. Однажды она пришла на явку в центре города. День был зимний, холодный. На явке еще никого не было, и М. Ираши с удовольствием грелась в большом теплом кабинете хозяина квартиры.

Несколько времени спустя вошел только что пришедший с улицы крепкий, широкоплечий человек. По его костюму и скромной, простой манере держаться М. Ираши заключила, что он рабочий.

— Вы с завода «Айваз»? — спросила она.

— Да, — ответил он. — Не в этом, однако, дело. Расскажите, как идут дела в вашем районе.

М. Ираши стала растолковывать незнакомому товарищу тогдашние лозунги дня, объяснять их, развивать, доказывать. Потом перескочила на общую политику.

Ее собеседник с легкой усмешкой, остро и с любопытством расспрашивал, и уже не она, а он стал вести беседу.

«Вот интересный рабочий, — думала она. — Должно быть, слесарь».

Ей хотелось получше рассмотреть его лицо. Она была близорука и пересела к нему поближе. Только сейчас она увидела его глаза и была поражена: такие они были умные, живые и веселые.

Тем временем комната стала наполняться народом. Кто-то отозвал собеседника М. Ираши. И один из ее товарищей, сев рядом с нею, спросил вполголоса:

— Ну как, понравился тебе Ленин?

— Какой Ленин?

— Вот тебе и на́! Сама с ним полчаса разговаривала и не узнала...

Все шире становился размах революции, все глубже проникала она в массы. Теперь в ней участвовали не только передовые рабочие, но даже старики, женщины, подростки, дети.

Было тогда в Петербурге два знаменитых дома, построенных по коридорной системе. Оба в рабочих районах. Один носил прозвище «Порт Артур», другой — «Маньчжурия».

Достаточно было войти в коридор любого из них, чтоб услышать пение: «Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут...» Днем пели дети, а вечером эту песню пели взрослые. Под каждой лампочкой, освещавшей коридор, можно было увидеть группу рабочих, читающих революционную книгу, листовку или газету, услышать жаркие споры политических противников или речи кого-нибудь из тех талантливых агитаторов, которые даже сказку о рыбаке и рыбке пересказывали так, что она приобретала революционный смысл.

Выйдя же на лестницу, можно было услышать разговор жен рабочих, задержавшихся, чтоб перекинуться словцом:

— Ну, как твой? Бастует?

— Вестимо, бастует. А твой?

— И мой тоже.

— Вот ходила на рынок, купила репы, сварю ребятишкам, пусть хоть брюхи набьют.

— Кончали бы уж скорее. Мне эти забастовки поперек горла стоят.

— Ты уж потерпи маленько. Вот свалят Николашку, тогда и кончат...

Да, так близок порой казался желанный час, в который «свалят Николашку».

Положение было настолько напряженным, что когда в одну из ветреных ноябрьских ночей Нева, как это часто

бывает в Петербурге, поднялась, угрожая наводнением, и с Петропавловской крепости было дано несколько обычных предупредительных выстрелов, почти все в городе приняли эти гулко прозвучавшие в ночной темноте выстрелы за начало вооруженного восстания.

11

К концу 1905 года не было в России ни одного сколько-нибудь значительного центра, который не был бы охвачен массовой политической стачкой или той или иной формой восстания. В Харькове, Одессе, Ростове-на-Дону, Иваново-Вознесенске, Баку и десятках других городов происходили вооруженные столкновения с полицией и с войсками. В ряде мест борьба переходила на баррикады. В Красноярске, Иркутске, Чите и других городах Сибири возникли Советы рабочих, солдатских и казачьих депутатов. В Красноярске была создана Красноярская республика. Бурное крестьянское движение развернулось на Украине и в Прибалтике, где происходили настоящие сражения между царскими войсками и отрядами восставших.

В середине декабря в городе Таммерфорсе в Финляндии состоялась конференция нашей партии. «С каким подъемом она прошла! — вспоминает о ней Н. К. Крупская. — Это был самый разгар революции, каждый товарищ был охвачен величайшим энтузиазмом, все готовы к бою».

Во время перерывов между заседаниями делегаты конференции учились стрелять. Бывали они и на собраниях финских рабочих. Особенно запомнилось всем одно такое собрание, происходившее при свете факелов. Отблески пламени, которые пробегали по лицам напряженно слушавших людей, глубокая тишина, в которой звучали слова ораторов, — все это придавало собранию какой-то таинственный и по-особенному торжественный характер.

Конференция длилась недолго. В самый разгар ее работ пришло известие о вооруженном восстании в Москве.

Ленин и другие товарищи предложили немедленно ехать в Россию для участия в борьбе.

...Над Москвой гремела канонада. Пресня пылала в огне. На улицах шли бои. Казаки и драгуны вскачь бросались на баррикады, но их встречали ручными бомбами и криками: «Опричники!», «Палачи!», «Убийцы!», «Воронье!», «От японцев побежали, а на нас свою храбрость показываете!»...

Поигрывая нагайками, казачьи патрули дежурили на перекрестках. Всех проходящих обыскивали. Если находили оружие, расстреливали на месте.

Усмиритель Москвы генерал Дубасов занял под свой штаб гостиницу «Метрополь» в самом центре города. В момент, когда баррикадные бои достигли наибольшей силы. в оружейном складе правительственных войск, который был устроен в здании «Метрополя», произошел взрыв патронных и пороховых запасов.

Почти три недели московские рабочие вели бои не на жизнь, а на смерть с превосходящими силами неприятеля. И в передних рядах под пулями, руководя борьбой, сражались большевики.

Помните ли вы Федю Насимовича, того мальчика, ученика Нижегородского городского училища, который нарисовал в школьном сочинении «Наша комната» картину страшной нищеты?



В 1904 году Федор Насимович семнадцатилетним пареньком переехал в Москву и поступил в электротехническое училище. Но его влекла к себе не электротехника, а революция. Он вступил в партию, начал вести работу на Казанской железной дороге, был избран членом районного комитета партии.

В декабрьские дни он участвовал в вооруженной борьбе: был дружинником, дрался на баррикадах в боевой дружине машиниста Ухтомского. Вместе с дружиной выбрался из-под обстрела солдатских пулеметов; увидев, что дружина неминуемо погибнет, Ухтомский развил бешеную скорость и обратным ходом вывел поезд дружинников из зоны огня. Дружинники полегли на пол, спасшись этим от пуль, изрешетивших стенки вагонов.

Чтобы подавить восставшую Москву, правительству пришлось вызвать Семеновский полк с пулеметами и артиллерией.

Тяжким было поражение, страшна была расправа над повстанцами. Семеновцы убивали людей на улицах, врывались в фабричные казармы, в квартиры и общежития рабочих, взламывали полы и стены, чтоб найти припрятанное оружие.

Прочесав Москву, семеновцы принялись за рабочие поселки Подмосковья. Вьюжной, непроглядной ночью в канун рождества пришла очередь расправы с рабочими Покровской мануфактуры, неподалеку от Яхромы.



О приближении семеновцев стало известно заранее. В фабричном бараке собрался местный Совет рабочих депутатов. Молча и сосредоточенно слушали присутствующие роковую весть, сжимая в карманах рукоятки револьверов.

Председатель обратился к собравшимся с речью. Он звал к дальнейшей борьбе. Страстно убеждал, что победа правительства, фабрикантов и помещиков временная. Предостерегал против паники. Говорил, что никто из активных участников движения не должен делать попытки скрыться, ибо это приведет к репрессиям против рабочих. Оружие и патроны рекомендовал побросать в реку Яхрому, так как каждый револьвер и патрон семеновцы объявят приготовленными специально против них, и это послужит предлогом к расстрелам. Литературу сжечь. Все списки, особенно списки членов боевой дружины, уничтожить...

Часы пробили два. Это было время, на которое было назначено прибытие семеновцев.

Посмотрев в окна, все увидели внизу поблескивавшие штыки.

Семеновцы ворвались в барак. Начались допросы и порки, длившиеся до вечера следующего дня. И расстрелы, расстрелы, расстрелы...

Долго длилась расправа над подавленной Москвой. Старая участница «Народной воли», П. С. Ивановская, вспоминая, как она уезжала с первым поездом, выпущенным из Москвы после восстания, рассказывает:

— Поезд уходил при самой тяжелой обстановке. Всюду щетиной блестели штыки, сновали, громыхая саблями, офицеры. В вагонах стояла жуткая тишина... На станции Голутвино по Казанской железной дороге не смолкли еще звуки залпов: там кончались расстрелы без разбора — каждого, на кого указывал перст негодяя...

Отношение народа к царю и самодержавию выразили слова сложенного тогда стихотворения:

Всероссийский император,
Царь жандармов и шпиков,
Царь — изменник, провокатор,
Содержатель кабаков.
Побежденный на Востоке,
Победитель на Руси...
Будь же проклят, царь жестокий,
Царь, забрызганный в крови!

12

Декабрьское вооруженное восстание в Москве было высшим пунктом первой рабочей революции в России, ее вершиной.

Почему же борьба не привела к победе?

Потому, отвечал Ленин, что массы были еще слишком разрозненны и не поддержали московских героев, которые с оружием в руках поднялись против царской, помещичьей монархии.

Какой отсюда следовал вывод?

Впасть в уныние?

Сложить руки?

Заявить. как это делали меньшевики: «Не надо было браться за оружие»?!

Отказаться от дальнейшей борьбы?

Ни в коем случае!

Вывод для большевиков мог быть только один: еще более решительно, энергично и наступательно браться за оружие. Еще настойчивее и самоотверженнее строить подпольную партию. Верить в грядущую победу. Быть такими, какими обязаны быть члены самой революционной, самой преданной рабочему классу и народу партии — партии коммунистов, партии большевиков!

Глава четвертая

КЛЯТВА БОЛЬШЕВИКА

1

Если б мы могли в какой-нибудь «машине времени» перенестись на шесть десятилетий назад, в Москву 1907 года, то, бродя по улицам, мы встретили бы необычную группу: впереди шагал бородатый человек, всем своим обликом похожий на профессора, а за ним — несколько студентов, несших нивелир-теодолиты. Время от времени они останавливались и производили съемки, результаты которых наносили на карту Москвы.

Если кто-нибудь спросил бы их, чем они занимаются, они ответили бы, что ведут опытные работы для изучения возможности и целесообразности измерения аномалии силы тяжести путем нивелир-теодолитной съемки. И при этом, вероятно, добавили бы, что на свои работы они имеют разрешение губернатора и градоначальника, которые приказали полиции оказывать содействие в осуществлении «замечательного научного открытия русских ученых».

Странное было, однако, это открытие. При обсуждении его на ученом заседании физико-математического факультета Московского университета ряд ученых, присутствовав-

ших на этом заседании, ставили под сомнение его научную ценность и возражали против производства работ. Однако автор открытия решительно настаивал на своем. Быть может, он был прав? Случается же, и нередко, что крупное научное открытие бывает отвергнуто представителями официальной науки.

Да, случается! Но почему же результаты этой съемки наносятся на карту не обычными в такой работе знаками, а какими-то таинственными загогулинами и закорючками? И почему наблюдательные пункты, в которых ведется исследование этой самой «аномалии силы тяжести», все, как один, расположены неподалеку от полицейских участков, телефонных и телеграфных станций, военных казарм и подобных пунктов? И, наконец, почему у некоторых студентов, ведущих съемку, такие грубые, покрытые мозолями руки, отнюдь не похожие на руки людей, занимающихся умственным трудом, а профессор, который должен бы вести себя с соответствующей важностью, хохочет и обращается со всеми запанибрата?

Сейчас мы можем дать ответ на все эти «почему».

Метод «изучения аномалии силы тяжести путем нивелир-теодолитной съемки» был не «замечательным открытием русских ученых», а остроумным ходом большевиков-подпольщиков.

«Съемка» эта производилась возле полицейских участков, телефонных и телеграфных станций, военных казарм и проходных дворов потому, что московским большевикам надо было точно знать расположение всех этих пунктов.

Группа, ведшая эту «съемку», состояла частично из студентов, частично же из рабочих-партийцев.

Таинственные значки и загогулины, наносившиеся на карту, были шифром, с помощью которого велась запись нужных московским большевикам сведений.

Сведения эти нужны были для подготовки нового вооруженного восстания.

Руководил всей этой работой замечательный большевик Павел Карлович Штернберг.

В блестящей плеяде старых деятелей нашей партии Павел Карлович Штернберг (партийная кличка «Лунный») занимает совершенно особое место. Он был ученым, к тому же астрономом, составившим себе имя работами по исследованию звездного неба: «О продолжительности вращения красного пятна Юпитера», «Прохождение Меркурия по диску Солнца», «Фотографические наблюдения двойной звезды у Девы».

Казалось бы, автор этих ученых трудов должен быть весьма далек от того, что происходит на грешной Земле. Но молодой ученый, увлеченный общим потоком революционного настроения в стране, все чаще отрывал свой взор от Юпитера и Девы и все внимательнее вглядывался и вслушивался в окружающую его жизнь. И настал момент, когда он пришел к выводу, что место его не только у телескопа Московской обсерватории, но также — и, быть может, прежде всего — в рядах борющегося пролетариата.

В 1905 году он вступил в большевистскую партию и вскоре же проявил себя человеком редкого бесстрашия, обладающим способностями искусного конспиратора. Он был введен в Московское Военно-техническое бюро, занимавшееся подготовкой будущего восстания.

Частью этой подготовки и было составление карты стратегических пунктов и телефонных, телеграфных и прочих коммуникаций Москвы. Составлять такую карту открыто было нельзя.

Вот почему Штернберг, умело обхитрив своих ученых коллег и обведя вокруг пальца московского губернатора и градоначальника, приступил к ее составлению под видом «измерения силы тяжести».

В случае провала Штернберга и его товарищей ждала верная виселица. Но все сошло удачнейшим образом: нужная карта была изготовлена.

Тогда, в 1907 году, эта карта не понадобилась. Зато десять лет спустя, при подготовке Октябрьского штурма, она оказала неоценимую помощь Московскому Военно-революционному комитету.

Всем товарищам, знавшим Павла Карловича Штернберга,

он запомнился, как человек исключительного душевного благородства, удивительно яркий и привлекательный.

В 1917 году, будучи уже убеленным сединами профессором, он сохранил горячее юношеское сердце и всегда стремился на самый боевой, самый опасный участок борьбы.

Он принимал участие в организации отрядов Красной гвардии, в дни Октябрьских боев был начальником штаба Замоскворецкого района. После Октябрьской революции недолгое время работал в области просвещения, а осенью 1918 года уехал на Восточный фронт членом Реввоенсовета Второй армии. Одетый в солдатскую шинель и солдатские сапоги, этот «красный генерал» принимал участие в обсуждении оперативных планов армии и в тяжелых, кровавых боях.

На Вторую армию был возложен разгром колчаковцев и занятие города Ижевска с его крупнейшим военным заводом. Но выяснилось, что штаб армии не имеет нужных карт. И тут на помощь пришли астрономические познания Штернберга.

В крестьянских санях-розвальнях он ехал впереди наступающих частей, определяя направление движения по звездам, ярко горевшим в ночном небе. Этим было обеспечено своевременное и точное сосредоточение войск на исходных рубежах атаки. Ижевск был взят, белые отброшены к предгорьям Урала. Но Павел Карлович Штернберг простудился и заболел тяжелой формой воспаления легких. Его увезли в Москву. Было уже поздно. В январе 1920 года он скончался на пятьдесят четвертом году жизни.

2

Но вернемся к далеким годам первой русской революции.

После поражения Декабрьского восстания рабочий класс был разбит, но не подавлен. Его революционность и сознательность значительно выросли. Он не хотел отказаться от

борьбы. Слишком тяжела была его участь. Слишком свежи в памяти времена, когда его крепостных дедов пороли на барских конюшнях и с бубновым тузом на спине гнали на рудники Урала и Сибири. И слишком страстно желание, чтоб его детям суждена была совсем иная жизнь.

Когда на Прохоровке (так звалась по имени ее хозяина нынешняя Трехгорная мануфактура) во время Декабрьского восстания некоторые семейные рабочие отказывались идти на баррикады, говоря: «Мы пошли бы, да у нас семья, дети», рабочий Гусаров, обняв двух своих малышей (одному шел пятый год, другому — третий), воскликнул:

— Во имя революции я бросаю своих детей и, может быть, буду расстрелян или осужден на каторгу, а дети без меня пойдут по миру. Но лучше пусть я и вся моя семья погибнем, чем жить в рабстве!

В январе и марте 1906 года Владимир Ильич дважды приезжал в Москву, еще полную отзвуков декабрьских боев.

Встречавшемуся тогда с ним Ивану Ивановичу Скворцову-Степанову запомнилось, с каким жгучим интересом относился он ко всему, связанному с московским восстанием.

«Я еще вижу, — писал двадцать лет спустя Скворцов-Степанов, — как сияли его глаза и все лицо освещалось радостной улыбкой, когда я рассказывал, что в Москве ни у кого, и прежде всего у рабочих, нет чувства подавленности.

Партийная организация частично глубже ушла в подполье, но вовсе не отказалась и от открытой агитации и пропаганды. Никто не думает отрекаться от того, что большевики делали в последние месяцы. О панике, унынии не может быть и речи. От повторения вооруженного восстания нет оснований отказываться...»

Революция не была окончена! Впереди была новая борьба, в новых условиях, порой еще более трудных, чем прежде.

3

Один год революции недаром приравнивают к десятилетию, а то и к столетию обычного мирного существования. За самый короткий срок сознание и героизм народа совершают невиданный взлет. Растут массы, растут их вожаки. Волшебство революции раскрывает таланты, таящиеся в людях, и превращает этих людей в народных трибунов.

Великий 1905 год подарил нашей партии плеяду замечательных большевиков, отлитых из того же чудесного сплава, что и первое ленинское поколение революции. Совсем молодые люди, они проявили такую зрелость, мужество и политический глазомер, что заняли достойное место в авангарде партии и рабочего класса.

Об одном из них мы уже говорили: это Яков Михайлович Свердлов.

Первую половину 1905 года он работал в Казани и в Нижнем. Но за ним так гонялись шпики, что он был вынужден перебраться на Урал. Там он с удивительной быстротой завоевал любовь и уважение уральских рабочих, знавших его под партийным именем «Андрей».

В те времена в партийном подполье трудно было кого-либо удивить своей работоспособностью. Но равного «Андрею», пожалуй, не было. Когда он спал? И спал ли вообще? Товарищи посмеивались, что он решил задачу перпетуум-мобиле — вечного двигателя, черпающего энергию в самом себе. Так и он: питаясь пищей, главным ингредиентом которой являлось H_2O, он работал чуть ли не круглые сутки и сумел объединить вокруг Уральского бюро нашей партии крупнейшие партийные организации Уфы, Екатеринбурга, Перми. Был он веселым, живым, подвижным, смелым организатором и прекрасным товарищем.

«Небольшого роста, щупленький, в чем душа держится, — рассказывал о нем Борис Иванович Иванов, — со смолистой шапкой густых черных волос, с вечно спадающим пенсне, в простых сапогах, шагает, бывало, Яков Михайлович широкими не по росту шагами с собрания на собрание. И везде,

где он появляется, он вливает во всех бодрость и уверенность».

Сначала он жил и работал главным образом в Екатеринбурге — нынешнем Свердловске. Затем переехал в Пермь, где только что прокатилась волна арестов.

Положение в Перми было предельно трудное. От партийной организации, по тогдашнему выражению, «не осталось ни корешков, ни вершков». Но железная энергия «Михалыча», как звали в Перми Свердлова, была неисчерпаема, и партийная работа ожила. Вновь создались подрайонные и районные партийные комитеты. Восстановились связи с рабочими Перми и находящегося неподалеку от города гигантского Мотовилихинского завода.

Когда встал вопрос об избрании делегата на предстоявший в 1906 году партийный съезд, большевики Урала единодушно выбрали Свердлова.

На съезд он, однако, не попал: помешал арест. Сначала его держали в Пермской тюрьме, затем перевели в прославившиеся особо суровым режимом «Николаевские роты».

Там, в «Николаевских ротах», Яков Михайлович Свердлов полгода спустя встретился с другим представителем того поколения революции, к которому принадлежал он сам.

По паспорту этого человека звали Федором Андреевичем Сергеевым. Но он сам почти забыл об этом: настолько сроднился он с именем, которое дала ему партия и под которым он вошел в историю.

Имя это — Артем.

Сын зажиточного украинского крестьянина, он родился в 1883 году. Окончив гимназию, уехал в Москву, поступил в Московское высшее техническое училище (ныне это училище носит имя Баумана), но на первом же курсе был арестован за участие в студенческой демонстрации.

В России пути к высшему образованию были для него закрыты. Он уехал в Париж. Там на его блистательные

способности обратил внимание известнейший ученый того

времени, профессор М. М. Ковалевский. Однако Артем недолго жил и учился в Париже. В 1903 году он вернулся в Россию, чтобы посвятить себя делу большевистской партии.

Сначала он поехал в знакомую ему Екатеринославщину (нынешняя Днепропетровская область). То переходил с завода на завод в качестве рабочего, то разъезжал по району кочегаром паровоза и вел при этом партийную работу.



За одну ночь он успевал побывать на нескольких предприятиях: с вечера — на паровозостроительном заводе, в середине ночи — в вагонных мастерских, под утро — на Русско-французском заводе. И всюду он был желанным гостем и товарищем, которого ждали с любовью и нетерпением.

Встречавшиеся тогда с ним товарищи рассказывают, что он жил «как птица небесная» — ни денег, ни своего угла. Ночевал на чужих квартирах, постоянно меняя их. Иногда проводил ночь в чистом поле. Как-то после такой бесприютной ночи явился в простреленном пальто: за ним охотились казаки. В другой раз, уходя от погони, провел ночь в камышах. На рассвете пришел к домику, где жил товарищ, но не хотел его будить и лег спать в сарае.

В 1905 году партия направила его на работу в Харьков. И двадцатидвухлетний Артем сделался общепризнанным руководителем рабочего движения на Харьковщине и в Донецком бассейне, быстро завоевал самое горячее признание со стороны широких масс.

Однажды он заболел и лежал в рабочем домишке в Журавлевке (район города Харькова). Шпики напали на его след. Об этом узнали рабочие и ночью на руках перенесли больного Артема с Журавлевки на Павловку и там его спрятали.

Товарищи иногда называли Артема «шапкой-невидимкой» — так ловко умел он уходить от слежки. Он быстро менял квартиры, внешность, профессии: то был слесарем, то кочегаром, то помощником паровозного машиниста, то санитаром и даже буйным больным в сумасшедшем доме, то лощеным офицером, который беспрепятственно проходил через кольцо охотящихся за ним полицейских.

В декабре 1905 года, опираясь на сочувствие некоторых воинских частей, он предпринял попытку поднять вооруженное восстание в Харькове.

Дело сорвалось из-за тайного предательства. Неподалеку от завода Гельферих-Саде, у ворот которого началось выступление, полиция, предупрежденная предателями, устроила засаду.

Попытка вооруженного восстания была подавлена. Тут же, на поле битвы, начались аресты. Артем ускользнул из рук полиции, забежал в сумасшедший дом, переоделся в халат буйнопомешанного и так скрылся от преследования.

Некоторое время спустя полиция чуть не настигла его в сумасшедшем доме на «Сабуровой даче». Положение казалось безнадежным: дача была оцеплена, у всех входов и выходов стояла стража. Но Артему пришла в голову блестящая идея: он улегся в гроб, товарищи накрыли его крышкой, заколотили гвоздями и на глазах стражников вынесли мнимого покойника.

Легко представить себе веселое лицо Артема в минуту, когда он вылезал из гроба!

В 1906 году Артем был арестован, но бежал из тюрьмы. Был делегатом IV съезда партии, происходившего в Стокгольме.

Оттуда поехал в Россию. В Петербурге встретился с Лениным, который направил его на Урал; и снова началась его жизнь профессионала-подпольщика. Снова в плохоньком пальтишке с фальшивым паспортом в кармане переходил он с завода на завод, связывая порванные нити разгромленной партийной организации.

По-прежнему оставался он неуловим для полиции вплоть до несчастливого дня, когда простудился, заболел и больной был схвачен и отправлен в Пермскую тюрьму, а оттуда — в «Николаевские роты», где уже находился Яков Михайлович Свердлов.

4

Аресты Свердлова, Артема и многих других были не случайны. В то время, когда пролетариат собирал силы для вооруженного восстания, правительство готовилось к подавлению революции. Оно стягивало войска. Оно содействовало организации контрреволюционной «черной сотни» — «Союза русского народа» и «Союза Михаила Архангела». Оно направляло недовольство масс в грязное русло антисемитизма, погромов, межнациональной резни.

Начались массовые аресты и казни. Наступление правительства по всему фронту стало делом самого близкого будущего.

Быть или не быть победе революции? — так стоял вопрос.

Времени терять было нельзя. Дорогá была каждая минута. Упущенное мгновенье грозило гибелью. И так же грозила гибелью опрометчивая поспешность выступления.

Продолжая свою прежнюю работу среди рабочих и крестьян, большевики теперь придавали первостепенное значение армии и флоту. Они проникали в казармы и в кубрики боевых кораблей. В условиях, о которых матросы говорили, что это «как по лезвию бритвы ходить», они создавали в армии и во флоте ячейки партии. Издавали солдатские газеты. Разъясняли матросам и солдатам, что у них общие интересы с рабочими и крестьянами, сынами которых они являются.

На протяжении ряда месяцев большевики тщательно готовили вооруженное восстание. Особенно успешно шла эта подготовка в крепостях, расположенных на подступах к Петербургу: в Кронштадте и Свеаборге. Большевики создали

там военно-боевой центр. Ряду работников организации было поручено изучить обстановку будущего восстания и приступить к действиям только после того, как партия подаст сигнал.

В плане, разработанном военно-боевым центром, было предусмотрено все необходимое, чтобы восставшие крепости, корабли Балтийского флота и финляндские рабочие-красногвардейцы действовали во время восстания единым фронтом.

Подготовку восстания сильно осложняли эсеры и анархисты. Это были люди, по природе своей склонные к авантюрам. Трезвый учет сил они считали проявлением трусости, тщательную подготовку — никчемной затеей. Смелость они видели в том, чтобы лезть на рожон, не задумываясь о последствиях.

Напрасно большевики доказывали им, что подготовка восстания не завершена и условия для победы еще не обеспечены. В ответ на это эсеры орали: «Все готово!», «Все согласовано!», «Флот распропагандирован!», «Совместное выступление солдат и матросов обеспечено!»

Эту ложную информацию, быть может, удалось бы обезвредить. Но тут сыграли роковую роль аресты, произведенные в кронштадтской и свеаборгской организациях большевиков.

Ими воспользовались анархисты и эсеры. Настаивая на том, что успех гарантирован, они толкнули массы на преждевременное выступление.

Первым восстал Свеаборг. Семнадцатого июля 1906 года на Михайловском форту, который сделался центральным



пунктом восстания, было водружено красное знамя и в полночь прозвучал первый орудийный выстрел.

Видя, что стихийное выступление масс сдержать невозможно, оставшиеся на воле большевики, ни на минуту не задумываясь, решили разделить судьбу восставших. Члены большевистской военной организации — подпоручики А. Емельянов и Е. Коханский — фактически возглавили восстание. Благодаря их смелым, самоотверженным действиям удалось захватить ряд островов, входивших в состав Свеаборгской крепости. Но правительство стало спешно стягивать свои силы. К восставшим островам подошли корабли военной эскадры Балтийского флота, которые, вопреки ложным сведениям, распространявшимся эсерами, не были готовы к участию в восстании. Началась артиллерийская перестрелка. Перевес огня оказался на стороне правительственных войск. Сильнейший обстрел восставших островов продолжался до наступления темноты и был возобновлен на рассвете двадцатого июля. Под прикрытием артиллерийского огня на восставшие острова были высажены пехотные десанты. Вспыхнули пожары. Положение восставших стало безнадежным. Они вынуждены были сдаться.

В тот же день начал заседать военно-полевой суд. Около четырехсот участников восстания были приговорены к каторге, многие — навек. Двадцать восемь человек были расстреляны. В числе расстрелянных были и замечательные большевики А. Емельянов и Е. Коханский.

В то время когда Свеаборг вел неравный бой с превосходящими силами врага, восстал Кронштадт.

— Товарищи! — говорил один из руководителей кронштадтского восстания, Герасимов, обращаясь перед выступлением к солдатам-минерам. — Я скажу вкратце. Веками висел роковой гнет над рабочими и крестьянами. Укажите мне то место, где бы не страдал рабочий люд. Он стонет за железной решеткой с оковами на ногах, стонет от помещичьей кабалы, божьего света не видя. Пришел тот час, в кото-

рый мы должны восстать. Свергай кабалу мироедов, или умрем в борьбе...

Едва Герасимов произнес последние слова, взвился шелковый красный флаг, на котором было написано: «Земля и народная воля». Минеры арестовали офицеров и пошли к казармам саперов, чтоб звать их присоединиться к восстанию.

Одному из отрядов минеров, участвовавших в восстании, было поручено захватить форт Константин, господствующий над Кронштадтом.

Незамеченные благодаря ночной мгле и шуму моря минеры, погасив огни, подъехали к форту Константину и легко им овладели. Однако вопреки тому, в чем их заверяли эсеры, они увидели, что гарнизон форта не намерен поддержать восставших.

Согласно уговору, минеры, заняв форт, должны были оповестить Кронштадт орудийным залпом. Но сами они с орудиями обращаться не умели, а гарнизон форта дать залп отказался.

Тогда минеры послали в Кронштадт связного. Связной был по пути арестован и до Кронштадта не добрался.

Напрасно минеры вглядывались в даль, ожидая от Кронштадта сигнала, что там знают о захвате форта Константин. Кронштадт безмолвствовал.

«Видно, в городе неблагополучно, — сказал командир отряда минеров Герасимов. — На фортах должны были выбросить флаги в знак того, что артиллеристы примкнули к нам. Ни на одном форту нет флагов. Плохо дело! У нас проиграно. А город в руках правительственных войск...»

Начало рассветать. И в свете встающего дня минеры увидели, что со всех четырех сторон на Константин наведены орудия фортов. Вскоре на дамбе показались два человека, которые положили на землю лист бумаги, притиснули его камнем, а сами побежали назад. Минеры подобрали этот лист и, собравшись в кольцо, выслушали то, что там было написано: «Если вы, минеры, не сдадитесь через пять минут, мы откроем огонь».

Пять минут спустя началась несмолкаемая стрельба из полевых орудий и пулеметов. Минеры отстреливались. Но что могли сделать их винтовки против пушек и пулеметов?

Решили сдаваться.

— Пусть нас расстреливают, — говорили минеры, — но мы честно провели восстание.

Белого флага у них не было; в знак сдачи они подняли белую рубашку.

В Кронштадте окруженных штыками пленников встретил командующий усмирением генерал Адлерберг. Он осыпал площадной бранью и самих минеров, и их красное знамя с лозунгом «Земля и народная воля».

По приказу Адлерберга семь человек были немедленно приговорены к расстрелу. Остальные были преданы военному суду.

Пленных повели на берег залива и построили там, чтоб они видели казнь своих товарищей. Приговоренным дали лопаты и приказали рыть себе могилы в сыпучем морском песке. Около могил были установлены столбы, по столбу у каждой ямы.

Генерал Адлерберг прочитал вслух смертный приговор. Осужденные встали у столбов.

Генерал отдал команду:

— По десять человек на каждого приговоренного!

Солдаты выстроились для расстрела. Приговоренным надели на голову мешки. Заиграл горнист.

Генерал отдал новую команду:

— Прямо прицел по столбам! Пли!

Раздалось несколько ружейных залпов. Расстреливаемые начали падать, но упали не все. Генерал понял, что солдаты стараются стрелять мимо.

— Стреляй, — закричал он солдатам, — а то и вас поставлю к столбам!

Трупы расстрелянных были брошены в могилы, засыпаны песком.

Генерал Адлерберг снова подал команду:

— Церемониальным маршем... Марш!

И заставил пленных минеров несколько раз пройти по могилам только что расстрелянных товарищей. От солдатских сапог песок притоптался и могилы сровнялись с землей.

В 1917 году прах расстрелянных участников Кронштадтского восстания был доставлен в Кронштадт и с почестями похоронен в братской могиле.

Так окончились восстания в Свеаборге и Кронштадте. Такова же была судьба восстаний в воинских частях и на кораблях Черноморского флота.

Сотни смелых борцов нашли себе смерть от снарядов, пуль и шрапнели или погибли на эшафоте. Тысячи людей, спасавшихся на лодках, обстреливаемых с фортов и береговых батарей, поглотило море. Тысячи и тысячи пошли в тюрьмы, ссылку, на каторгу.

Люди погибли. Но не погибли, а жили и крепли великие идеи, во имя которых они поднялись на борьбу.

5

О том, что Свеаборг и Кронштадт вот-вот выступят, Ленин узнал за несколько дней до событий.

Он считал, что восстание не подготовлено. По его предложению в Свеаборг была тотчас же направлена группа партийных работников, которым было поручено повлиять на местных революционеров, убедить их отсрочить выступление.

Если же остановить взрыв будет невозможно, посланные Лениным товарищи должны были принять самое деятельное участие в руководстве движением, предприняв после надлежащей подготовки решительные наступательные действия, увлечь широкие массы матросов, солдат, рабочих.

Товарищи уехали. Но попали в Кронштадт и Свеаборг тогда, когда приостановить развертывание событий было невозможно.

Весь роковой день двадцатого июля — день, когда сдался Свеаборг, — Владимир Ильич (жил он тогда в Петербурге) безнадежно ждал телеграмм о ходе восстания. Вечером он и Надежда Константиновна пошли к своим друзьям, у которых часто собирались товарищи. Настроение было крайне тревожное. Все предчувствовали беду. Стали думать, как же хоть что-нибудь узнать. Надежда Константиновна вспомнила, что неподалеку живет товарищ, который работает корректором в одной из петербургских газет.

Надежда Константиновна решила пойти к нему. Но, не доходя до дома, куда она шла, увидела двух женщин, которые прохаживались рука об руку. Когда Надежда Константиновна поравнялась с ними, они остановили ее и сказали: «Не ходите. Там засада, всех хватают».

Как потом выяснилось, там была арестована Военная организация нашей партии.

Теперь царизм перешел в открытое наступление. Был введен военно-полевой режим и образованы военно-полевые суды, которые выносили смертные приговоры без права обжалования и приводили их в исполнение в течение двадцати четырех часов. В районах крупных крестьянских движений — в Прибалтике, Сибири, на Украине — действовали карательные экспедиции; они жгли, расстреливали, вешали и сносили с лица земли целые деревни.

— Что же теперь? — спрашивал Ленин. И отвечал: — Будем смотреть прямо в лицо действительности. Пусть перед рабочей партией ясно встанут ее задачи. Надо собирать новые, примыкающие к пролетариату силы. Надо приспособиться опять к условиям, созданным победой самодержавия. Надо уметь везде, где надо, опять уйти в подполье.

Трудно? Да, трудно.

Тяжело? Да, тяжело.

Но ничто не может сломить большевика — революционера ленинской закалки.

Революция побеждена — да здравствует революция!

6

Одним из виднейших работников большевистской Военной организации был Емельян Ярославский. Ему удалось довольно долго благополучно уходить от полиции. Но его выследили, когда он возвращался из Лондона, куда ездил на партийный съезд. Едва он вышел из вагона на перрон Финляндского вокзала в Петербурге, как тут же был схвачен и отвезен в знаменитую тюрьму «Кресты».

Только что он был на воле, только что был свободным человеком, слышал шум волн, вдыхал соленый запах моря — и в одно мгновение все переменилось: его окружали тюрьма, тюремные стены, тюремные звуки.

Где-то шаркают опорки,
И стучат ключами где-то,
И звонок протяжно-долго
Раздается в коридоре...
«Спаси, господи!» — несется...
Кипяток... Прогулка... Книга...
Нет ни моря, нет ни песен...
Часового штык да клетка!

Он знал, что ему суждены долгие годы тюрьмы, ссылка, быть может каторга. Но дух его был крепок. Он сделал доклад о съезде перед товарищами по тюремной камере. Рассказал о страстных спорах с меньшевиками, происходивших на съезде по всем вопросам, и прежде всего по вопросу о судьбах русской революции.



Большевики утверждали, что революция потерпела лишь временное поражение и в недалеком будущем она воспрянет с большей силой, чем прежде. Поэтому надо строить и укреплять подпольную партию. А немощные духом меньшевики ныли на все лады, что революция оправится лишь после долгих десятилетий. Они называли большевиков заговорщиками-якобинцами, проповедовали

отказ от «мертвых», «окаменелых» форм борьбы и отрекались от партийного подполья.

Свой доклад о партийном съезде Емельян Ярославский написал и пустил по тюрьме. И тогда же написал «Сон большевика».

Над седой равниной моря
Ветер тучи собирает,
Между тучами и морем
Громко песня раздается, —
Большевик поет ту песню,
В этой песне жажда боя
И уверенность в победе.

Емельян Ярославский назвал эту поэму «шутливой». В ней и в самом деле много шуток по поводу меньшевиков, один из которых «тихо ходит, песню слушая, вздыхает», а другой желчно укоряет Ленина — «агитатора за восстание».

Но этот шутливый тон меняется, когда автор поэмы вспоминает встречу с Лениным:

Вот уж берег Альбиона
Видит даже близорукий...
Там на береге высоком
Ленин машет шляпой белой.
Восхищенный этим видом,
Громче песнь свою победы
Запевает якобинец...

Большевистская партия не отступила, не сдалась, а принялась за трудную, тяжелую работу, готовя грядущую победу.

На это потребовалось одиннадцать лет.

Но разве одиннадцать лет — это много, чтобы превратить разбитую, истекающую кровью революцию в победоносный шквал, который за каких-нибудь восемь месяцев смел с лица земли и российское самодержавие, и российский капитализм?

7

Первую половину 1906 года Владимир Ильич жил преимущественно в Петербурге, отлучался ненадолго: в Москву и за границу, на партийный съезд.

Жил так, как жили тогда почти все «нелегалы»: не имел ни постоянной квартиры, ни постоянного паспорта; маялся по ночевкам и менял один фальшивый паспорт на другой. Надежда Константиновна тоже скиталась по чужим углам. С Владимиром Ильичем встречалась на явках, за столиком в ресторане, а то брали извозчика и ехали без определенного направления, чтоб хоть немного поговорить.

9 мая Владимир Ильич в первый раз в России открыто выступил на громадном массовом собрании, устроенном в Народном доме Паниной. Зал был полон. Пришли рабочие со всех районов.

«Он выступал под фамилией Карпова, — вспоминает об этом молодой тогда слесарь с Путиловского завода Сергей Марков, — но мы знали, что это он, наш любимый и долгожданный. Мы, рабочие-путиловцы, сидели наверху, а Владимир Ильич говорил с эстрады; это было его первое публичное выступление в Питере. По окончании речи Владимир Ильич предложил резолюцию, которая была принята под гром аплодисментов. Когда Владимир Ильич говорил, мы, что называется, пожирали его глазами, дабы хорошенько рассмотреть: он был одет в пальто, невысокого роста, но хорошо сложен, коренаст; на лице его отражалась лукавая улыбка, странная, загадочная. Впечатление от его речи было колоссальное. Мы были в восторге от его выступления. По окончании выступления наши ребята отправились к себе, за Нарвскую заставу, и всю дорогу говорили только о выступлении Владимира Ильича и его прекрасной речи. В этот вечер наши сердца были переполнены светлой радостью и окрылены надеждой, что и на нашей улице будет праздник. Мы не чувствовали под собой ног, возвращаясь с митинга, — мы не шли, а летели».

Владимир Ильич не раз еще выступал под фамилией

Карпова. Это не могло не привлечь внимания охранки. Уже в мае 1906 года был отдан приказ: во что бы то ни стало задержать Карпова.

Пока что Владимир Ильич благополучно уходил от шпиков, но бесконечно это продолжаться не могло. Он решил перебраться на некоторое время в Финляндию.

Финляндия тогда входила в состав Российской империи, но в вопросах внутреннего управления имела некоторую самостоятельность. Между Россией и Финляндией существовала граница — она проходила в Белоострове, — где производился таможенный досмотр, а под его предлогом жандармы проверяли уезжающих и приезжающих в Россию и в Финляндию. Но по ту, финскую, сторону границы полицейские преследования были значительно слабее, чем в самой России.

Поселились Владимир Ильич и Надежда Константиновна в Куо́ккале, дачном поселке в полутора часах езды от Питера, на даче, которая называлась «Villa Vasa» в честь города Ваза на севере Финляндии, откуда был родом хозяин дачи.

Вопреки своему торжественному названию, «Ваза» эта представляла собой приземистый, неуютный деревянный дом с полуобвалившимся колодцем, сараем для дров и какими-то пришедшими в ветхость пристройками. Стояла она уединенно, в стороне от поселка, на опушке леса, окруженная редкими угрюмыми соснами.

Нанимал эту дачу давний знакомый Владимира Ильича — Г. Д. Лейтезен (Линдов), «искровец», затем большевик. Жил он там вместе с женой и детьми. Кроме Лейтезенов, жило там еще несколько товарищей, в том числе молодой большевик латыш Ян Берзин.

Товарищ, который привел Берзина на дачу «Ваза», не сказал ему, кто там живет, только сказал, что «свои». И когда все собрались в столовой к чаю, Берзин не обратил внимания на человека небольшого роста, но крепко сложенного, с рыжеватой, давно не стриженной бородой, на вид усталого и погруженного в свои думы. Но вот он поздоровался с Берзиным, и того поразили его глаза, их быстрый, легкий, проницательный взгляд.

— Мне показалось, что он видит меня насквозь, — вспоминал потом эту встречу Берзин.

Этот человек пришел позже всех, с газетой в руках, продолжал читать за чаем. Дочитав, отложил газету в сторону. Лицо его как будто посветлело. Он заговорил с Берзиным, сразу же засыпав его вопросами:

— Вы латыш?.. Давно из Латышского края?.. А, только недавно вышли из тюрьмы... Где сидели?.. С кем?

А потом — больше всего — о латышских делах.

— Ваш родной язык латышский?.. Но вы хорошо говорите по-русски. Правда, акцент слышится. Особенно звук «л» у вас не русский. Скажите «лапландец»... Нет, не так. Надо вот так...

Разговор этот начал сильно волновать Берзина. Он чувствовал, что незнакомый товарищ, так дружески с ним беседующий, человек необыкновенной внутренней силы. И, несмотря на то что Берзин был строгим конспиратором, он отвечал собеседнику с откровенностью, которой не позволял себе в разговорах даже с близкими товарищами.

— Что слышно в партизанском движении? — спрашивал незнакомый товарищ. — Вы были «лесным братом»?

«Лесными братьями» в Латвии называли боевые партизанские отряды, скрывавшиеся в лесах. Партизаны вели вооруженную борьбу против царских войск, беспощадно карали предателей и провокаторов, разоряли гнезда черносотенных помещиков, поддерживали революционный порядок. Деятельность «лесных братьев» проходила под руководством латышских большевиков.

Особенно расширилось движение «лесных братьев», когда царское правительство направило в Латвию карательные экспедиции. Высоко оценивая это движение, Ленин с интересом расспрашивал Я. Берзина о «лесных братьях».

В ходе этого разговора у Берзина мелькнула мысль: уж не Ленин ли его собеседник? Может быть, она появилась тогда, когда тот стал говорить о некоторых особенностях земельного вопроса в Прибалтике... А может быть, когда товарищи назвали его «Владимир Ильич».

...Такова была первая встреча Берзина с Владимиром Ильичем. В эту зиму они встречались почти ежедневно. Владимир Ильич часто возвращался к латышским делам.

Берзина всегда поражало всестороннее знакомство Владимира Ильича с земельными отношениями в Прибалтике. Видно было, что он читал по этому вопросу все основные труды на русском и немецком языках.

Расспрашивая Берзина, Владимир Ильич в то же время уговаривал его взяться за перо и писать статьи для выходивших тогда легально и нелегально большевистских газет. Берзин всячески отнекивался, ссылаясь на свое неумение.

Владимир Ильич учил его, как работать, как составлять план статьи, подбирать материал.

Сам Владимир Ильич начинал свой день с чтения газет и по утрам выходил в столовую с большой кипой газет в руках.

Как-то Берзин задал ему наивный вопрос:

— А сколько нужно времени, чтобы прочитать столько газет?

Владимир Ильич взглянул на него с веселой усмешкой и стал объяснять:

— Чтобы прочитать все это, нужно много времени, но журналист должен уметь читать газеты по-особому. Надо завести такой порядок: выбрать себе одну газету и по ней прочитать все наиболее важное, тогда остальные газеты можно просмотреть легко и быстро. Из них берешь уже только то, что нужно для специальной работы. С течением времени создается привычка перелистывать номер газеты и сразу находить то, что требуется...

После чая Владимир Ильич уходил к себе и садился за работу. Писал четыре-пять часов подряд, а если вечер не был занят другими делами, то и по вечерам писал допоздна.

Перед сном он почти всегда уходил гулять, то один, то с Надеждой Константиновной. Иногда с Берзиным.

«Выходим с заднего крыльца, — вспоминает эти прогулки Берзин, — нащупываем в темноте тропинку. Идем под сосна-

ми — сначала по тропинке, потом теряем ее, попадаем в снег. Бредем медленно, обмениваемся редкими словами. Огибаем какие-то темные дачи, заворачиваем налево и выходим к железной дороге. Дальше уже по рельсам — там светлее и там легче идти. И разговор там легче вяжется... Навстречу товарный поезд, сворачиваем в сугроб, пропускаем мимо поезд, и снова дальше по рельсам...

Лениво плетется ночной разговор. О чем — неизвестно. Обо всем...

Из далекого тумана прошлого смутно всплывают некоторые темы этих разговоров — темы, казавшиеся необычными для Ильича: о лесной тишине, о луне, о поэзии, о любви...»

А с утра — снова политика.

Время тогда было горячее, очень горячее.

«Тяжелым и трудным путем идет русская революция, — писал Ленин вскоре после поражения Свеаборгского и Кронштадтского восстаний. — За каждым подъемом, за каждым частичным успехом следует поражение, кровопролитие, надругательство самодержавия над борцами за свободу. Но после каждого «поражения» все шире становится движение, все глубже борьба, все больше масса втянутых в борьбу и участвовавших в ней классов и групп народа».

Реакция продолжала развертывать свое наступление на революцию. Революция продолжала оказывать сопротивление реакции. Несмотря на усиление полицейских преследований, работа нашей партии велась широко и энергично.

Ленин нередко приезжал в Питер, выступал на собраниях, на партийных конференциях. И к нему в Финляндию приезжало множество партийного народу. Входная дверь дачи «Ваза» никогда не запиралась, в столовой на ночь ставили кринку молока и хлеб, стелили на диване постель — а вдруг кто-нибудь приедет с ночным поездом? Пусть он, никого не будя, поужинает и выспится.

Каждый день из Питера к Владимиру Ильичу приезжал специальный человек, который привозил материалы, газеты,

письма. Владимир Ильич их просматривал и тотчас же садился писать статью или ответы, которые отвозил этот же товарищ.

В работе Владимир Ильич не щадил себя, но в подобные моменты острой и решающей борьбы, как это было в 1906—1907 годах, он не знал ни минуты отдыха.

На даче «Ваза» более или менее регулярно собирался большевистский центр. Там же часто заседала редакция газеты «Пролетарий», происходили совещания с работниками петербургской организации, беседы с партийными работниками, приехавшими к Владимиру Ильичу за советами и указаниями. Не проходило дня, чтобы на даче не появлялись посетители.

Владимир Ильич принимал участие в заседаниях, беседовал с товарищами, особенно с партийными работниками с мест, и писал, писал, писал с утра до поздней ночи — писал брошюры, листовки, статьи, воззвания, резолюции, научные исследования. Ближайшие к нему товарищи нередко говорили: «Ильич опять писал всю ночь... Ильич сегодня написал целую брошюру...»

Написанное им за полтора года жизни в Финляндии составляет почти четыре тома полного собрания его сочинений. Около двух тысяч печатных страниц!

Большевики в то время вели агитацию за созыв нового партийного съезда, который должен был решить спорные вопросы революции и создать твердое и принципиально выдержанное партийное руководство, положив конец предательским колебаниям меньшевиков.

Съезд, наконец, собрался. Происходил он в апреле 1907 года в Лондоне. Надежда Константиновна поехать на него не могла: она каждый день ездила в Петербург, где в столовой Технологического института была ее явка для встреч с приезжавшими со всей России товарищами. Работу бросить было невозможно, и Владимир Ильич поехал в Лондон один.

Полиция проведала о готовящемся съезде, усилила слежку. На Финляндском вокзале было арестовано несколько делегатов. Но съезд получился все же многочисленный. Ленин много раз на нем выступал.

Со съезда он вернулся позже других. Вспоминая об этом, Надежда Константиновна пишет:

«Вид у него был необыкновенный: подстриженные усы, сбритая борода, большая соломенная шляпа».

Не та ли это шляпа, о которой вспоминал Емельян Ярославский в поэме «Сон большевика»?

Был он очень усталый. Поехал на некоторое время отдохнуть в глубь Финляндии.

Там, обдумав на свободе политическую обстановку, Владимир Ильич пришел к выводу, что партия должна изменить свою тактику.

Революция потерпела временное поражение. Но именно это поражение дает революционной партии и революционному классу полезнейший урок, урок понимания, умения и искусства вести политическую борьбу.

Разбитые армии хорошо учатся.

Новый революционный подъем неизбежен. Но он произойдет не сегодня и не завтра.

Партия должна сделать отсюда необходимые выводы.

Она должна принять участие в выборах в созываемую по царскому указу Третью Государственную думу, большинство которой заведомо будут составлять самые отвратительные монархисты и правые буржуазные партии.

— Я знаю это, — говорил Ленин. — И все же мы должны идти в Думу, чтоб использовать всякую открытую, легальную возможность борьбы в интересах нашего дела. Выступая с кафедры этой черносотенной Думы, мы сможем говорить рабочим и народным массам о наших взглядах, удерживать связь с массами. Иначе мы превратимся в узкую секту, оторванную от масс и от жизни...

Призыв к крутому политическому повороту, с которым обратился к партии Ленин, встретил возражения со стороны ряда партийных работников.

«Каюсь, все мое существо восставало против участия в этой поганой Думе, — писал в своем дневнике один из молодых членов партии того времени, подлинное имя которого до нас не дошло. — Но Ленин, как и всегда, в конце концов меня переубедил. Ведь это же какая-то высшая ступень самопожертвования выражена в его словах: «Третья дума — это хлев, но если в интересах рабочего класса необходимо, чтобы мы некоторое время посидели в хлеву, то мы посидим».

Большинство партии пошло с Лениным.

К этому времени волна реакции докатилась и до Финляндии.

Полиция все это время вела усиленное наблюдение за дачей «Ваза». Еще в январе 1907 года департамент полиции сообщил Петербургскому охранному отделению, что у Владимира Ильича Ульянова, проживающего в Куоккале, «часто происходят многолюдные собрания». Полгода спустя особый отдел петербургского губернского жандармского управления предложил начальнику петербургской охранки сообщить все имеющиеся данные о Владимире Ильиче и «возбудить вопрос о выдаче его из Финляндии».

Осведомленности охранки помогала провокаторша Екатерина Комиссарова, которая с помощью своего мужа, тоже провокатора, втерлась в работу по связи и разноске литературы.

«Пришла скромного вида стриженая женщина, — рассказывает Н. К. Крупская о появлении Комиссаровой. — Странное чувство в первую минуту овладело мной — чувство острого недоверия, откуда взялось это чувство — не осознала, скоро оно стерлось. Катя оказалась очень дельной помощницей, все делала очень аккуратно, конспиративно, не проявляла никакого любопытства, ни о чем не расспрашивала. Помню только раз, когда я спросила ее о том, куда она едет на лето, ее как-то передернуло, и она посмотрела на меня злыми глазами. Потом оказалось, что Катя и ее муж — провокаторы. Катя, достав оружие в Питере, повезла его на

Урал, и следом за ее появлением приходила полиция, отбирала привезенное Катей оружие, всех арестовывала. Об этом мы узнали много позже».

С каждым днем становилось очевиднее, что в Финляндии дольше оставаться нельзя: «ближнюю эмиграцию» суждено сменить на эмиграцию «дальнюю».

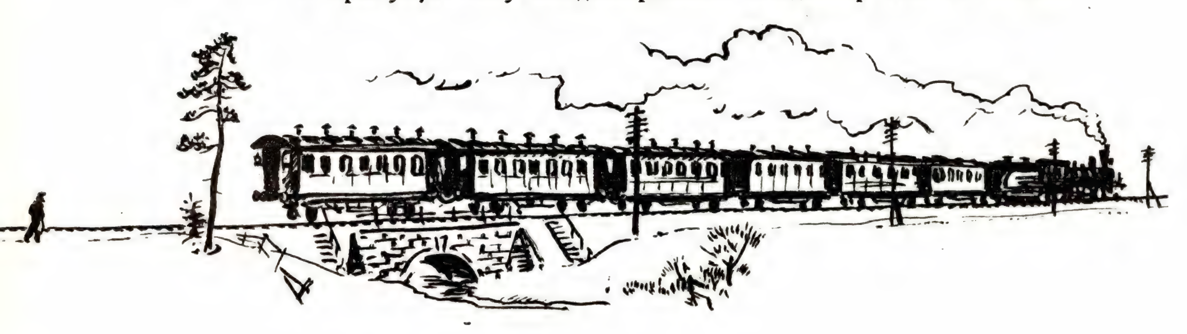
Скрываясь от слежки, Владимир Ильич уехал из Куоккалы в Оглбю, близ Гельсингфорса, а Надежда Константиновна пока осталась, чтоб привести в порядок архив. Ценные документы она передала на хранение финским товарищам, остальное сожгла. Снег вокруг «Вазы» был весь усеян пеплом от сгоревших бумаг.

Полиция уже искала Владимира Ильича по всей Финляндии. Он решил при первой возможности уехать в Стокгольм и там дожидаться Надежду Константиновну, которая до отъезда должна была непременно съездить в Петербург, чтобы устроить больную мать, решить с товарищами ряд дел, договориться о шифрах и адресах, а потом выехать следом за Владимиром Ильичем за границу.

В начале декабря Владимир Ильич выехал из Оглбю в Гельсингфорс. Провел там совещание с большевиками, приехавшими из Петербурга на эту прощальную встречу (Сколько продлится разлука? Когда-то они увидят друг друга вновь? И увидят ли вообще?).

В Гельсингфорсе Владимир Ильич сел в поезд, шедший в Або — портовый город, откуда зимой из Финляндии в Швецию ходили пароходы по трассе, прорезанной во льду ледоколами. В вагоне заметил, что за ним следит некий господин, все повадки которого изобличают агента охранки.

С присущим ему хладнокровием Владимир Ильич, ничем



не выдав себя, прошел в тамбур, на ходу спрыгнул с поезда и остальную часть пути прошел пешком.

Н. К. Крупская рассказывает в своих воспоминаниях о том, как Владимир Ильич чуть не погиб во время переезда в Стокгольм.

«Дело в том, — пишет она, — что его выследили так основательно, что ехать обычным путем, садясь в Або на пароход, значило наверняка быть арестованным. Бывали уже случаи арестов при посадке на пароход. Кто-то из финских товарищей посоветовал сесть на пароход на ближайщем острове...»

Так и было решено. До острова Драгсфиорд Владимир Ильич добрался на лошадях, дальше надо было идти по льду. На беду, зима в тот год была поздняя, лед совсем слабый. Надо было найти проводников, но идти по такому льду никто не хотел. Наконец на это согласились двое финских крестьян.

«И вот, — продолжает свой рассказ Надежда Константиновна, — пробираясь ночью по льду, они вместе с Ильичем чуть не погибли — лед стал уходить в одном месте у них из-под ног. Еле выбрались.

Потом финский товарищ Борго, расстрелянный впоследствии белыми, через которого я переправилась в Стокгольм, говорил мне, как опасен был избранный путь и как лишь случайность спасла Ильича от гибели. А Ильич рассказывал, что когда лед стал уходить из-под ног, он подумал: «Эх, как глупо приходится погибать...»

С тяжелым чувством покидал Ленин Россию. Душа его была полна скорбью. Для него, как и некогда для Герцена, отъезд за границу был жертвой, огромной жертвой, которую он должен был принести партии.

Партия знала, понимала его боль.

«Вернулся опять за границу Ленин, — писал в своем дневнике тот товарищ, слова которого мы уже приводили. — Вынужден был опять уйти в проклятую эмигрантщину ради возможности работать для нового подъема... Как ему должно быть тяжело переживать поражение революции, ему,

который тверже всех верил в нее, энергичнее всех для нее работал! Но уж он-то хныкать не станет!

Ленин, слышишь ты через тысячеверстные расстояния, через горы и моря: ты не один! С тобою тысячи верных рядовых революции! И мы...»

Здесь запись дневника обрывается. Запись дневника, но не работа партии!

Ленин! Слышишь? Мы с тобой...

Глава пятая

КАНДАЛЬНЫЙ ЗВОН

1

Снова подполье, кружки, явки, пароли, нелегальные типографии. Снова мелькающие, как в кинематографе, сёла, города, люди. Снова перипетии бродяжнического существования: неожиданные приезды и скоропостижные отъезды на телегах, извозчиках, поездах, пароходах, а то и просто пешком.

Но коротки сроки этой жизни. Как говаривали тогда, «человек предполагает, а жандарм располагает». Уже «спущено» предписание: «Разыскать такого-то, обыскать, арестовать и препроводить куда следует». За спиной уже маячат неотвязные тени в гороховых пальто. Слежка становится все неотрывнее, кольцо сжимается все плотнее и плотнее.

Еще день... Еще час... И —

Не пылит дорога,
Не дрожат листы,
Погоди немного —
Попадешь в «Кресты».

О российские тюрьмы, остроги, крепости, каторжные централы, участки, кутузки, казематы, каталажки, полицейские части, именуемые в просторечии «блошницами» или «клоповниками», тюремные за́мки, предварилки, пересылки! Вы, о которых народная мудрость говорила: «Тюрьма — что могила: всякому место есть». И она же добавляла: «Умного ищи в тюрьме, а дурака — в попах».

Если в городе был только один каменный дом, это была тюрьма.

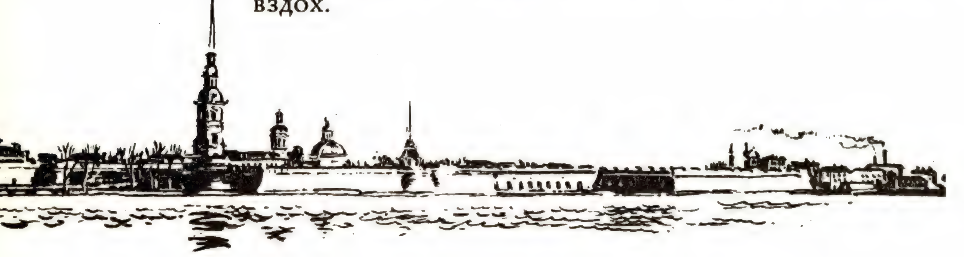
Если в городе имелось только одно четырехэтажное здание, это тоже была тюрьма.

Большинство российских тюрем было почему-то построено у воды — на берегах рек, на островах, у самого моря.

Воды Невы омывали подножия двух «русских Бастилий» — Петропавловской крепости и Шлиссельбурга. На набережной Невы находились знаменитые петербургские «Кресты». На берегу Москвы-реки — московская «Таганка».

Тюрьмы бывали разные: большие и маленькие, деревянные и каменные. Старинные остроги, выстроенные еще до Петра I, и каторжные централы, усиленно сооружавшиеся после 1905 года с учетом новейших «достижений» российской и зарубежной тюремной техники.

В одних тюрьмах стояла мертвая тишина. В других шум не умолкал ни днем, ни ночью. Там — одиночка. Здесь — общие камеры. Но везде окно, затянутое тюремной решеткой. Везде дверь, замкнутая снаружи на железные замки и засовы. Везде «волчок» или «глазок», через который тюремные надзиратели подсматривают за каждым движением заключенного, подслушивают каждое его слово, каждый вздох.



2

Самой старой из тюрем в России, в которой содержались политические заключенные, была Петропавловская крепость.

Построенная для военных целей, она в первые же десятилетия своего существования была превращена в место заточения. В ее бастионах — пятисторонних каменных башнях — и в ее равелинах — примыкающих к стене крепости укреплениях — были устроены тюремные камеры. Такие же камеры были устроены и в куртинах — стенах крепости между бастионами.

Сначала в ее тогда немногочисленных тюремных помещениях томились арестованные за побег с военной службы солдаты и люди «подлого сословия», как именовались в России того времени крестьяне и «работные люди». Затем казематы крепости увидели и представителей придворной знати и даже императорской фамилии: сюда, в каземат Трубецкого бастиона, был брошен Петром I его сын — царевич Алексей, который там и умер после очередной жестокой пытки «на дыбе».

Но самые страшные главы трагической истории Петропавловской крепости падают на девятнадцатый век и на начало двадцатого, когда она — и прежде всего Алексеевский равелин и Трубецкой бастион — оказалась местом заточения для лучших сынов и дочерей России. Через ее холодные, сырые казематы прошли декабристы и петрашевцы, народовольцы и социал-демократы, Писарев и Чернышевский, Достоевский и Горький, большевики Ольминский и Бауман. Здесь, у крепостного вала на берегу Невы, были повешены пять декабристов. Отсюда увозили на суд и казнь народовольцев.

По подписям, иероглифам и рисункам, которыми поколение за поколением «живых мертвецов» покрывало выбеленные известью стены, можно было бы написать историю русской революции.

Здесь царила жуткая, гробовая тишина, прерываемая

лишь боем старинных курантов и заунывными окриками часовых: «Слу-у-шай!»

«Одиночное, гробовое заключение ужасно, — писал декабрист Беляев. — То полное заключение, какому подвергались в крепости, хуже казни. Страшно подумать теперь об этом заключении. Куда деваться без всякого занятия со своими мыслями? Воображение работает страшно. Каких страшных, чудовищных помыслов и образов оно не представляло. Куда не уносились мысли, о чем не передумал ум, и затем все еще оставалась бездна, которую надо было чем-нибудь заполнить».

Ни слова с воли. Ни звука от сидящих здесь же, рядом с тобою, товарищей. Невозможно даже перестукиваться: примерно на метр от стен камеры установлены железные рамы, обклеенные желтыми полосатыми обоями. Перед окном глухая каменная стена. На окнах решетки из полосового железа. Стекла покрыты толстым слоем белил. А после 1907 года натянута мелкая железная сетка, чтобы помешать заключенным общаться между собою при помощи голубей.

Не слышно шуму городского,
На невской башне — тишина,
Лишь на штыке у часового
Горит полночная луна.

Несчастный юноша, ровесник
Младым цветущим деревам,
В глухой тюрьме заводит песню
И отдает тоску волнам.

Не жди, отец, меня с невестой,
Сломи венчальное кольцо,
Здесь, за решеткою железной,
Не быть мне мужем и отцом...

Каменные гробы Петропавловской крепости и Шлиссельбурга, откуда, по образному выражению директора департамента полиции Оржевского, «не выходят, а выносят». Псковский, Орловский, Владимирский, Смоленский, Вятский, Тобольский, Рижский, Ярославский каторжные цен-



тралы. Александровская центральная каторжная тюрьма неподалеку от Иркутска. Нерчинская и Акатуйская каторжные тюрьмы. Варшавская «Цитадель», «Николаевские роты». Петербургские «Кресты», московские «Бутырки»... На десятки тысяч верст были разбросаны заключенные тюрем царской России — от Белого моря до Черного, от берегов Балтики до Тихого океана.

Тюрьма была неотвратимой судьбой каждого революционера, каждого большевика. Вступая в партию, он наверняка знал, что рано или поздно настанет минута, когда он услышит: «Вы арестованы», за ним закроются тюремные ворота, и по коридорам и железным лестницам в сопровождении надзирателей он будет приведен в тюремную камеру, в которой ему суждено провести месяцы, годы, а быть может, весь остаток жизни.

И вот человек, который энное количество времени жил в непрерывном напряжении, не зная ни сна, ни отдыха, ни дня, ни ночи, мотался по адресам и явкам, вечно спешил, вечно не успевал, вечно был на ногах, страдал за каждую потерянную зря минуту, — этот человек вдруг оказывался в остановившемся мире, где время существует только для того, чтобы его убивать, пространство равно семи шагам в длину и трем шагам в ширину, а единственную форму движения составляет монотонная ходьба из одного угла камеры в другой — руки назад, глаза в пол.

Изо дня в день видел он одни и те же стены, один и тот же клочок неба. Каждое утро просыпался от одного и того же громыхания ключей и крика: «Хлеб!» Его завтрак всегда состоял из одного и того же кипятка в жестяной кружке и куска кислого черного хлеба. На обед он получал неизменные щи из полугнилой капусты. В стену камеры были вделаны два небольших железных листа на кронштейнах — это его стол и стул. К противоположной стенке была привинчена железная койка с твердым холщовым матрацем. Высоко под потолком смутно светилось оконце, затянутое решеткой.

Первые недели, а то и месяцы и даже годы он находился

на положении подследственного. Время от времени открывалась вделанная в дверь камеры форточка, надзиратель произносил: «На допрос». Заключенного выводили во двор, усаживали в закрытую четырехместную карету — большой, длинный черный ящик на высоких колесах с решетчатыми окнами, затянутыми синими шторами, — и в сопровождении конных жандармов с саблями наголо везли на допрос в жандармское управление.

И тут начиналась дуэль между следователем и подследственным. Хорошо, если при аресте в руки жандарма ничего не попало. Тогда подследственный делал заявление вроде такого: «Могу дать лишь одно показание: что никаких показаний давать не буду» — или же отвечал на поставленные ему вопросы: «Кем дана мне брошюра Ленина «Что делать?», я забыл. Что за человек ночевал в моей комнате и находился в ней в момент моего ареста, не знаю. С кем я встречался и был знаком, не помню и разговаривать на эту тему отказываюсь».

Но беда, если во время ареста жандармам удавалось найти какие-нибудь записки, адреса, имена. Тогда, по образному выражению одной народоволки, допрашиваемый чувствовал себя, «как живая рыба на раскаленной сковороде».

3

Проходили месяцы, иногда годы — и наступал день, когда следствие заканчивалось. Теперь за «преступлением» следовало наказание.

Наказание это могло даваться без суда, в так называемом «административном порядке», — человека вызывали в контору тюрьмы и объявляли ему под расписку вынесенный по его делу приговор: столько-то лет тюрьмы или же высылки в места «отдаленные» либо «не столь отдаленные». По отношению к «лицам крестьянского звания» (к которому принадлежали почти все рабочие) иногда применялась «высылка на родину»: под конвоем стражника, со связанными позади



руками их доставляли в родную деревню, которую отныне они не имели права покинуть.

Кроме широко применявшегося «административного порядка», существовало наказание по суду. Как правило, судебная процедура заканчивалась трафаретным приговором:

«Такого-то года, месяца и дня, по указу Его Императорского Величества, судебная палата, по особому присутствию, рассмотрев дело таких-то, установила виновность в преступлениях, предусмотренных такими-то статьями уголовного уложения, и признала, что должно быть избрано тягчайшее из предусмотренных по этим статьям наказание...»

Перед теми, кому суждено было предстать перед судом, вставал вопрос: как вести себя на суде? Давать показания? Отказываться от дачи показаний?

Поведение революционера на суде представляло собою важнейшее политическое дело. Окруженный солдатами с обнаженными шашками, он должен был думать не о том, чтобы оправдывать себя, а о том, как использовать суд в интересах партии, изобличить царское правительство и его слуг, показать их преступления перед народом, изложить свою революционную программу.

Из обвиняемого революционер превращался в обвинителя.

Так было в 1907 году в Омске, когда перед военно-окружным судом предстали 38 большевиков, обвинявшихся в том, что они «приняли участие в сообществе «Омский комитет Сибирского союза социал-демократической рабочей партии», заведомо поставившем целью ниспровержение существующего в России общественного строя (преступное деяние, предусмотренное I частью 126 статьи Уголовного уложения)». Осужденным по этой статье полагалось от ссылки на поселение с лишением всех прав до восьми лет каторги.

История этого дела такова.

В ноябре 1906 года на окраине города Омска в небольшом деревянном домике собралась конференция омских большевиков, на которой должны были быть выбраны делегаты

на V съезд партии. На ней присутствовало 38 делегатов. Доклад делал Валериан Куйбышев. Он показал гибельность идей, которые навязывали партии меньшевики, и предложил текст резолюции. Но принять эту резолюцию не удалось, так как в самый разгар работ конференции в домик, где она происходила, ворвалась полиция, раздались крики: «Руки вверх! Будем стрелять!» — и все участники конференции были арестованы и отвезены в тюрьму.

В числе арестованных находился Виргилий Леонович Шанцер, партийная кличка «Марат». Кличка эта не случайна. Шанцер, по происхождению француз, обладал, как и великий трибун французской революции, бурнопламенным темпераментом и редкостным ораторским талантом.

Он был одним из старейших по возрасту и революционному стажу членов нашей партии. Родился он в 1867 году, рано кончил гимназию и прямо с гимназической скамьи попал в одиночную тюремную камеру. Обвиненный в принадлежности к партии «Народная воля», он был приговорен к так называемому «гласному надзору полиции» и прикреплен к одному из жалких городишек Бессарабии. Лишь десять лет спустя смог он уехать и поступить в университет. К этому времени он был уже убежденным марксистом и играл активную роль в научных и политических кружках лучшей части студенчества.

Блестяще окончив юридический факультет университета, В. Л. Шанцер некоторое время спустя переехал в Москву и стал заниматься адвокатской деятельностью, выступая в качестве защитника на политических процессах. Это продолжалось недолго: он был арестован по подозрению в принадлежности к большевистской партии и выслан на три года в Енисейскую губернию.

Там, в ссылке, он руководил кружками, помогал организовывать побеги, сам тоже пытался бежать, но был схвачен стражниками. После этого «за попытку к побегу и за вредное влияние на ссыльных» сослан в далекую Якутию.

В конце 1904 года он вернулся в Москву и весь 1905 год был занят кипучей партийной работой. Его страстные, пла-

менные выступления привлекали тысячную аудиторию. Его партийное имя «Марат» стало известно самым широким кругам московских рабочих.

Но был однажды случай, когда В. Л. Шанцер не смог говорить. Это произошло на похоронах Н. Э. Баумана. Стоя у открытой могилы, «Марат» раз пять произнес: «Николай Эрнестович... Николай Эрнестович...», махнул рукой и со словами: «Да что же тут говорить?!» — сошел со свеженасыпанной кучи земли и разрыдался.

Накануне Декабрьского вооруженного восстания Шанцер был арестован и весь декабрь, когда Москва дралась на баррикадах, томился в Таганской тюрьме, а затем был выслан на пять лет в Енисейскую губернию.

При первой же возможности он попробовал бежать, наняв лошадей под видом поездки в больницу.

«Погода в эту ночь была плохая, — рассказывает его товарищ по побегу, — с утра уже лил дождь, и когда мы выехали, тьма была непроглядная. Лошади не совсем хорошие, но мы все-таки выехали, ибо оставаться дольше не могли. Проехав верст двадцать пять по тракту на Красноярск, мы услышали позади себя звон колокольчиков; это нам показалось подозрительным и странным, и мы подумали, не за нами ли погоня... Скоро нас обогнала тройка... Надеясь, что это случайность, мы решили ехать вперед в село. Как только мы въехали в улицу, наши лошади уперлись в тройку, обогнавшую нас, которая была поставлена поперек дороги; к нашей повозке подошел урядник с зажженной свечой и спросил, кто едет, и потребовал документы».

Первая попытка побега сорвалась: Шанцера и его спутника под усиленным конвоем вернули обратно. Зато следующая попытка, которую они предприняли недели три спустя, оказалась удачной. Они добрались до Красноярска; товарищи снабдили их фальшивыми паспортами, и они уехали в Омск. Там Шанцер немедленно же включился в работу партийной организации, принял участие в конференции, собравшейся, чтобы избрать делегата на V съезд партии. Но, как мы уже рассказали, в самый разгар конференции

ворвалась полиция и арестовала всех присутствовавших, в том числе В. Л. Шанцера, в кармане которого лежал паспорт на имя портного Абрамовича. Под этим именем он был отправлен в тюрьму, под этим же именем прошел предварительное следствие и предстал перед военно-окружным судом.

4

Когда Шанцер, Куйбышев и их сопроцессники обсуждали вопрос, как вести себя на суде, Куйбышев предложил запеть «Марсельезу» и добиться вывода из суда.

Но Шанцер решительно запротестовал и убедил товарищей участвовать в судебном процессе, не приглашая защитников и поручив ему, Шанцеру, выступить с последним словом. Обвиняемые сидели на скамье подсудимых по алфавиту. Первым с края был Шанцер, ибо он судился под именем Абрамовича.

— Господин Абрамович, хотите ли вы воспользоваться последним словом? — спросил председательствующий.

— Пожалуй, воспользуюсь, — сказал Шанцер.

И начал речь.

«Это была не оправдательная речь, — рассказывал потом В. В. Куйбышев. — Это была речь обвинителя против полиции, против самодержавия... Трудно представить себе, какое впечатление произвела эта блестящая речь на суд и прокуратуру. Даже мы, знавшие Шанцера уже в течение пяти месяцев по совместному тюремному заключению, слушали его раскрыв рот, так как тюремная обстановка, естественно, не давала повода для проявления его столь большого, столь исключительного ораторского таланта...»

Суд удалился на совещание. В комнату, в которую отвели подсудимых, вошел прокурор и направился к Шанцеру.

— Господин Абрамович, — спросил прокурор, — вы портной?

— Да, портной.

— Я ничего не могу понять, — продолжал прокурор. —

У меня уже двадцатилетняя судебная практика, и ни разу я не слушал в зале суда такой речи, какую произнесли вы. Чем это объяснить?

Шанцер чуть приметно усмехнулся.

— Знаете, господин прокурор, — сказал он, — я портной, а наше дело какое? Сидим на столе, поджав под себя ноги, шьем и все время разговариваем с товарищами на разные темы. Вот так я и приобрел привычку болтать...

Прокурор с тем и ушел, а сопроцессники Шанцера весело расхохотались.

В своей речи Шанцер опроверг основное обвинение: что собрание, в котором принимали участие подсудимые, было собранием Боевой организации. Он неопровержимо доказал, что единственным «оружием», которое обнаружила при обыске полиция, был обыкновенный перочинный ножик. Поэтому суд вынужден был вынести неожиданно мягкий приговор: к одному месяцу крепости каждого.

По выходе из крепости Шанцер был отправлен в ссылку, бежал, работал в Петербурге, снова был арестован, снова отправлен в ссылку, в пути бежал, оказался за границей, прожил там недолгое время, уехал в Россию на подпольную работу, был арестован, сослан.

Это была его последняя ссылка: он тяжело заболел. Товарищи добились разрешения увезти его в Москву, но он был безнадежен. В 1910 году его не стало.

«Это была воплощенная готовность на самопожертвование, на подвижничество, — писала в посвященном ему некрологе ленинская газета «Социал-демократ». — Он решительно не знал иных велений, иных норм жизни, кроме тех, которые диктовались ему исповедуемыми общественно-политическими убеждениями».

Один из ярких примеров героизма большевиков — поведение группы участников большевистской Боевой организации, представших перед петербургским военно-окружным судом в 1909 году.

На скамье подсудимых сидели молодые рабочие. Зная, что им грозит смертная казнь, они твердо и решительно отказывались давать «чистосердечные показания», за которые им обещали подарить жизнь.

Альфред Адольфович Нейман, который дважды был судим военным судом, всячески выгораживал своего молодого, пылкого товарища Александра Федоровича Чесского, а тот, в свою очередь, делал все, чтобы спасти своих сопроцессников, и брал все обвинения на себя, на одного себя.

— Я заявляю, — говорил Александр Федорович Чесский на суде, — что все найденные документы принадлежат мне и что я действительно принимал активное участие в русской революции...

Нередко царские судьи прибегали к гнусной провокации. Разоблачение такой провокации становилось делом чести подсудимых.

Так разоблачил судебную провокацию Семен Филиппович Васильченко, рабочий из Ростова-на-Дону, который был предан военному суду за участие в демонстрации ростовских рабочих в марте 1903 года. Речь, произнесенная С. Ф. Васильченко на суде, была издана ленинской «Искрой».

«Полиция и суд, — рассказывает об этом сам Семен Филиппович Васильченко, — пытались изобразить демонстрацию «происками жидов». Под этим углом зрения строился процесс.

Я, как наиболее ответственный перед другими подсудимыми и перед ростовскими рабочими организатор демонстрации (среди подсудимых интеллигенты были по происхождению евреи, а рабочих, способных на ораторское выступление, кроме меня, не было), — я выступил на суде с речью, разоблачающей царизм и суд вообще и в той части, где они пытались свалить организацию демонстрации на евреев.

Получил за это каторжный приговор, несмотря на отсутствие материала против меня как участника демонстрации».

...Среди политических процессов по делам большевиков особую известность получил происходивший в 1910 году процесс Екатеринодарского комитета нашей партии, во время которого на скамье подсудимых рядом со своей матерью сидел двухлетний ребенок, родившийся в тюрьме.

Двенадцать человек, судившихся по этому делу, были арестованы в одну и ту же ночь и отвезены в напоминавшую старинную крепость Екатеринодарскую тюрьму, расположенную над крутым обрывом реки Кубань.

Тюрьма была переполнена. Следствие тянулось долго. Настолько долго, что трое обвиняемых умерли до суда, а у одной из обвиняемых, Марии Франк, родился в тюрьме и пробыл в ней около двух лет мальчик Толя.

Трудно растить в тюрьме грудного ребенка: негде купать, нет молока, негде стирать пеленки. Чтоб добиться корыта и бутылки молока, пришлось вызвать прокурора. К тому же Мария Франк все время сильно болела.

Выручили товарки по камере. Они возились с маленьким Толей, варили над керосиновой лампой кашу (варка продолжалась 2—3 часа), над лампой же грели воду для купания.

Так и рос этот «маленький арестант». Все его очень любили и наперебой старались что-нибудь для него сделать. Около году он стал ходить. Пришлось вызвать прокурора, чтоб добиться разрешения водить мальчика на прогулку. А когда ему было около двух лет, он бегал по всей тюрьме, забегал во все камеры, разносил записки, приносил папиросы сидевшим в карцере.

Все сопроцессники его матери с нетерпением ждали суда. Нет ничего хуже неопределенности, а после суда хотя бы можно отсчитывать месяцы и годы, отделяющие от воли. Надежды на оправдание ни у кого не было. Ни у кого, кроме одного: провокатора, выдавшего всех, а теперь прикидывавшегося таким же арестованным, как и остальные.



Перед судом Толику сшили красненькие штанишки и синюю рубашку с красным воротником.

И вот настал день суда. Мужчин повели закованными в кандалы. Женщины взяли с собой Толю, и он сидел вместе со всеми на скамье подсудимых. Когда оглашали приговор, Толя стал проситься на руки к одной из подруг своей матери, Пане Вишняковой, крича: «Пусти меня к бабе!» Публика сначала смеялась, потом стала плакать; в зале поднялся шум; судье пришлось объявить перерыв.

Все, за исключением провокатора и одного обвиняемого, были приговорены к каторге, потом некоторым каторгу заменили крепостью, а Марии Франк — ссылкой на поселение.

Толя прожил в тюрьме до двух с половиной лет. Когда он вырос, он стал комсомольцем, а затем членом партии.

5

До какого-то времени в душе арестованного обычно теплилась надежда на чудо: быть может, обвинители не сумеют добыть достаточных доказательств и суд вынесет оправдательный приговор или даст небольшой срок.

Но наступал день, когда объявляли приговор: столько-то лет тюрьмы, каторги или ссылки. Все надежды рушились.

Даже такой твердый и закаленный в боях человек, как М. С. Ольминский, испытал в такую минуту приступ отчаяния.

То бред иль сон? Объявлено решенье:
Тюрьма! Годами жизнь черпай!
Прощай, друзья! Прощай, освобожденье!
Родная, милая, прощай!
. . . .
Я отдал все святыне идеала,
Ему служенье — жизнь моя!
Но человек я, и удар кинжала,
Как всякого, разит меня!
Я был раздавлен, но сдержу рыданья,
Не дам злорадствовать врагу —
И для тебя в последнее свиданье
Принять спокойный вид смогу! . .

...И тут приходил на помощь верный друг — книга!

«Книга в одиночке — это целый мир, захватывающий, увлекающий,— рассказывает петербургский рабочий-большевик Сергей Николаевич Сулимов. — С книгой беседуешь, книга тебе друг, воспитатель твой. С книгой незаметно летит ненужное время, книга заставляет не замечать одиночества. Она вливает бодрость, ставит тебя выше будничных житейских мелочей».

Страсть к чтению столь велика, что за книгой забывается все.

«Тяжело, душно, тесно, — пишет из тюрьмы слесарь с московского завода «Дукс» Алексей Степанович Ведерников-Сибиряк, отбывающий в каторжном централе приговор к шести годам каторги как участник Декабрьского вооруженного восстания в Москве. — Если бы вы видели все подробности нашей жизни, вы бы ужаснулись...»

И он просит: «Книг! Книг! Книг!»

«Когда у меня есть хорошие книги, — пишет он, — жизнь кажется даже приятной, и я иногда думаю, что если бы был на воле, то многого даже не узнал бы из того, что знаю сейчас, так как у меня едва ли хватило бы времени все это прочесть».

Интересен список книг, которые просит прислать ему этот бывший слесарь, окончивший начальную школу, где он научился только грамоте и четырем правилам арифметики: Мережковский, Куприн, Андреев, книги по детской литературе и воспитанию детей, воздухоплаванию, стенографии, интегральному исчислению.



Недаром в царской России тюрьму называли «тюремным университетом». Царское правительство не жаловало страну школами, зато тюрьмы были в ней «отменные и знаменитые».

«Кто не слышал, например, об Александровском каторжном централе и пересыльной тюрьме, о знаменитой Нерчинской каторге? — спрашивает большевик-ученый, проведший много лет в ка-

торжных тюрьмах, М. Ветошкин. — Это были заведения, через которые проходили тысячи людей, уголовных и политических, молодых и старых, мужчин и женщин. Для приема в эти царские «университеты» не существовало никаких ограничительных норм и процентов: для всех двери были раскрыты широко. Сюда легко было попасть, трудно выбраться».

Если даже для интеллигента и профессионального революционера тюрьма была местом, где он усердно учился, то в гораздо большей мере это было так для солдат, крестьян, рабочих, которые тысячами и тысячами попадали в тюрьмы после девятьсот пятого года. Алгебра, тригонометрия, история, политическая экономия — все это жадно проглатывалось, проглатывались торопливо и жадно сотни книг самого разнообразного содержания, от легкой беллетристики до трудов Карла Маркса.

6

В одних тюрьмах режим был более суровым, в других — менее суровым. Да и одни и те же тюрьмы в разные времена имели разный режим. Почти везде он был облегчен накануне революции 1905 года, в самом 1905 году и отчасти в 1906-м.

Сидевшие в те дни в киевской «Лукьяновке» рассказывают, что тюрьма весь день и вечер гудела как улей, непрерывно слышались шум и голоса, особенно летом и весной. Заключенные открывали форточки, громко кричали и разговаривали друг с другом. Таинственные сообщения делались на иностранных языках. Чаще всего в ходу была латынь. Раздавался возглас: «In urbis» («В город») — это означало: «Вызывают на допрос».

Некоторые переговаривались шифром, и можно было слышать из окна непрерывный ряд монотонно и отчетливо повторявшихся цифр.

Время от времени, в знак протеста против действий пра-

вительства или тюремного начальства, устраивались так называемые «обструкции», когда вся тюрьма стучала, гремела, колотила в стены и двери посудой.

Такие же порядки существовали и в Самарской тюрьме: камеры почти всегда были открыты, можно было получать газеты и литературу и обсуждать животрепещущие политические вопросы. Когда администрация попыталась закрыть камеры и установила в дверях новые замки, которые, по ее мнению, было не так легко открыть при помощи отмычек, в камерах тотчас началась работа собственных слесарей, занявшихся изготовлением новых отмычек к новым замкам. Их делали из медных ручек параш, и они получались не хуже настоящих ключей.

А сидевшие в конце 1904 года в Таганской тюрьме члены Московского комитета партии сумели установить такую тесную связь между собой и с волей, что в тюрьме закипела настоящая партийная работа, о чем оттуда, из «Таганки», Ф. В. Ленгник (партийная кличка «Кол») тогда же сообщил Владимиру Ильичу и Надежде Константиновне.

«Пишет Кол из тюрьмы, — начинал он. — Дорогие друзья! После разных мытарств вся наша компания собралась в Таганке. Оглядевшись здесь, мы решили продолжать борьбу с меньшевиками и слизняками... Чувствуем себя мы превосходно...»

Однако после подавления революции 1905 года самодержавие начало брать тюрьму «на винт», «под замок» и после ряда столкновений с заключенными и страшных тюремных трагедий запретило общение заключенных между собой. Достаточно было часовому увидеть узника у решетки тюремного окна или заметить спускаемую на веревочке записку, чтоб он без предупреждения открывал стрельбу по окнам, по дверям, по камерам.

В эти же годы происходила поспешная постройка все новых и новых каторжных тюрем. в которых самодержавие готовило своим узникам вместо быстрой смерти от руки палача медленную и мучительную смерть в абсолютнейшем одиночестве и молчании, нарушаемом лишь трагическим кри-

ком потерявшего рассудок или казнью, совершаемой тут же, в тюрьме.

В 1911 году Сергей Миронович Киров был арестован во Владикавказе и доставлен по этапу в Томск, где его поместили в камеру, выходившую окнами во двор, на котором стояла виселица и приводились в исполнение смертные приговоры.

Сохранилось письмо, написанное им тогда же и тайно переданное его невесте, Марии Львовне Маркус.

«За стеной раздался специфический стук топора: делают эшафот. В тюрьме тихо, как на кладбище, но многие не спят — чуткое ухо заживо погребенных ясно различает удары, слышит шаги приближающейся смерти...

Надзиратели отступают, чтобы дать дорогу совершающему свой последний путь осужденному. Лязг цепей усиливается... Палач берет папироску, пробует свою черную маску (он не дерзает открыть лицо) и принимает позу выжидающего. И как бы навстречу ему надзиратели поспешно ведут обреченного на казнь... Среди мертвой тишины раздается команда: «Смирно!» Надзиратели становятся во фронт. «По указу его императорского величества... военный суд...»

Но вот чтение приговора окончено, и рядом с осужденным показался священник...»

В тюрьмах сидели представители разных политических партий, подчас весьма далеко расходившиеся во взглядах на пути революционной борьбы. Но их разногласия отступали, когда дело шло о защите прав заключенных, а особенно перед лицом казни.

В конце 1906 года большевик Александр Александрович Ежов попал в одиночную камеру Пензенской тюрьмы. Напротив него в таких же одиночках сидели эсеры Катин и Кузнецов, убившие прославившегося своей борьбой против революции царского чиновника Богдановича.

Месяца три спустя Катина и Кузнецова вызвали на суд.

Вернувшись, они передали товарищам по тюрьме, что оба они приговорены к смертной казни через повешение. Подарили на память кому пояс, кому шарф, кому шапку.

Страшный был этот день. Тюремные надзиратели суетились, готовились. Нескольких каторжан-уголовников вызывали в кандалах в контору и предлагали им стать палачами, обещая за это снять кандалы и сократить срок наказания. Но охотника долго не находили, а один из вызванных заявил в глаза тюремщику: «С удовольствием тебе, рыжему, оторвал бы голову, а не этим героям».

Около полуночи в камеру смертников пришел поп для исповеди. Катин прогнал его. «Ты, долгогривый, — сказал он, — исповедуй лучше тех прохвостов, которые в эту ночь нас казнят, ибо им будут мстить наши товарищи».

В ночной тишине раздавались удары топора: это заканчивали устройство виселицы. Потом эти звуки смолкли. Послышались шаги идущих на казнь.

Вся тюрьма запела: «Вы жертвою пали в борьбе роковой. . .»

«Стреляй в волчки!» — закричал солдатам начальник тюрьмы.

Но солдаты стрелять не стали. . .

7



Осужденные на каторгу составляли особую категорию узников царской тюрьмы.

Каторжанин — совершенно бесправное существо. В приговоре так и говорилось: «лишенный всех прав». Тюремная администрация могла в любой момент наказать его розгами.

Чтоб сломить его волю, после приговора над ним совершали процедуру превращения в каторжанина.

Чаще всего ее проделывали ночью. Схватив спросонок, куда-то вели. Приведя, быстро и молча раздевали донага, а затем облачали в каторжную одежду: грубое белье чуть ли не из мешковины, кóты — тяжелые башмаки, подбитые желез-

ными гвоздями, онучи. Брили полголовы, надевали серый арестантский халат с двумя желтыми бубновыми тузами на спине, серую же плоскую, как блин, шапку без козырька и заковывали в кандалы.

Когда осужденного привозили в каторжный централ и вводили во двор, его поражал какой-то тихий, странный звон.

«Что это? Откуда?» — спрашивал он себя и не мог найти ответа.

Звон шел со всех сторон, заставляя дрожать воздух. Весь двор, вся огромная тюрьма были словно наполнены этим таинственным звоном.

То звенели кандалы.

Тяжкая это вещь — тюрьма, через которую прошли почти все, кто были членами подпольной ленинской партии.

И самое тяжкое в ней — не голод, не холод, не сырость, не грубость надзирателей.

Самое тяжкое и страшное — режим.

Сидящий в одиночке был обречен на то, чтоб месяцы и годы не слышать человеческого голоса, не видеть никого, кроме ненавистных ему надзирателей, вечно быть взаперти, гулять в одном и том же, до последнего камушка знакомом ему тюремном дворе, возвращаться в ту же тюремную камеру, преследуемый все той же неотступной мыслью, что так же будет и завтра, и послезавтра, и всегда, всегда, в течение бесконечно долгих, медленно ползущих лет.

Сидящий в общей камере испытывал другую муку: он был вечно на людях, вечно не один.

Чтобы заключенным было легче уживаться в пределах четырех тюремных стен, в некоторых общих камерах вводили специальную «конституцию» — распорядок тюремного дня.

Так, в одной из камер Александровской каторжной тюрьмы «конституция» устанавливала время «абсолютной тишины», когда совершенно запрещались какие бы то ни было разговоры, время «относительной тишины» — групповых

занятий вполголоса и «абсолютный галдеж», когда было позволено громко говорить, петь.

Устраивались и своеобразные развлечения, помогающие заглушать тоску в длинные, тягучие тюремные вечера. Кто давал необычайные и неожиданные «медицинские советы», ссылаясь на авторитет мифического «доктора Тряпичкина», кто занимался сочинением коллективных романов.

Но «конституцию» с ее нехитрыми развлечениями, помогающими хоть на минутку забыть о стенах тюрьмы, удавалось ввести только там, где сокамерники были близкими друг другу людьми. А если они были чужды, даже враждебны по характеру, взглядам, склонностям, идеям? Если, говоря словами поэта, «меж ними все рождало споры»? Тогда общая камера превращалась в ад, по сравнению с которым одиночка — счастье.

Какой неисчерпаемый запас душевных сил нужен, чтобы в таких условиях не дать себя сломить, чтоб все это выдержать! Человек должен непрерывно бороться не только с тюремщиками, но прежде всего с самим собой, со своими нервами, с охватывающим его чувством безразличия и расслабленности, с безнадежностью и порывами отчаяния.

Когда, зная все, что приходилось вынести большевикам в царских тюрьмах, берешь в руки ставшее от времени ветхим письмо из тюрьмы, перечеркнутое накрест желтыми полосами шириною в два сантиметра, — это делала тюремная цензура, чтоб проверить, не вписано ли в письмо что-нибудь «химией», — невольно ждешь, что тебе предстоит прочесть нечто тяжелое и страшное.

«За меня не беспокойтесь, — пишет на волю родным Аркадий Федорович Иванов, арестованный, когда он, молодой студент, вступил в партию большевиков. — Во мне растет и ширится огромная внутренняя жизнь. Каждый час моего пребывания в каземате заполнен каким-то интересным и полезным делом. Сплю без кошмаров и баланду поглощаю с отменным аппетитом».

И такие письма не исключение. Они — правило.

Но, может быть, тон их продиктован желанием успокоить родных и друзей?

Было и это. Но главное — другое.

Главное — то мироощущение, которое владело истинным революционером.

Именно оно продиктовало Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому его письмо из Седлецкой тюрьмы сестре Альдоне.

«Я выпил из чаши жизни не только всю горечь, но и всю сладость, и если кто-либо мне скажет: посмотри на свои морщины на лбу, на свой истощенный организм, на свою теперешнюю жизнь, посмотри и пойми, что жизнь тебя изломала, то я ему отвечу: не жизнь меня, а я жизнь поломал, не она взяла все из меня, а я брал от нее полной грудью и душой!»

И Дзержинский, заключенный в прославившийся своим жесточайшим режимом Десятый павильон Варшавской цитадели, в годину тяжелой реакции, когда первая русская революция потерпела поражение, записывал в своем дневнике: «Сегодня — последний день 1908 года. Пятый раз я встречаю в тюрьме Новый год (1898, 1901, 1902, 1907)... В тюрьме я созрел в муках одиночества, в муках тоски по миру и по жизни. И, несмотря на это, в душе никогда не зарождалось сомнение в правоте нашего дела. И теперь, когда, может быть, на долгие годы все надежды похоронены в потоках крови, когда они распяты на виселичных столбах, когда много тысяч борцов томятся в темницах или брошено в снежные тундры Сибири, — я горжусь. Я вижу огромные массы, уже приведенные в движение, расшатывающие старый строй, — массы, в среде которых подготавливаются новые силы для новой борьбы. Я горд тем, что я с ними, что я их вижу, чувствую, понимаю и что я сам многое выстрадал вместе с ними. Здесь, в тюрьме, часто бывает тяжело, по временам даже страшно... И тем не менее, если бы мне предстояло начать жизнь сызнова, я начал бы так, как начал. И не по долгу, не по обязанности. Это для меня — органическая необходимость...»

8

Дни и ночи. Ночи и дни. Лишь зачеркнутые клеточки самодельного тюремного календаря отмечают их длинную череду.

И вдруг шум, беготня, звон ключей. Хлопают двери, стучат приклады, в коридоре слышится голос надзирателя:

— Выходи на эта-а-ап!

Это значит: переводят в другую тюрьму или отправляют этапом на каторгу.

Всех отправляемых на этап выстраивают во дворе, пересчитывают раз, другой, а если цифры не сходятся, то и в пятый раз, и в десятый.

Наконец цифры сошлись. Теперь каторжан ведут в кузницу.

Надзиратель балагурит, показывая на сваленные в углу кандалы:

— Вот мы дадим вам бесплатный подарочек, которого хватит на всю вашу долговременную жизнь, а если сносите, то получите новенькие, прямо с иголочки. Выбор неограничен, выбирайте, не стесняйтесь.

Приходит кузнец с молотком в руках. Каторжане подходят к наковальне, садятся на пол, протянув ноги. Надзиратель подбирает кандалы, примеряя, не велики ли кольца, не сможет ли каторжанин их снять. Девять фунтов железа на ногах, четыре с половиной на руках.

— А ну-ка, дайте ножку, дайте ручку, примерим, чтоб все было в порядке, — приговаривает он, поворачивая обручи кандалов.

А когда все примерено и прилажено, кузнец закладывает в специальные пазы железные болты и на наковальне наглухо их заклепывает.

Все закованы, обезличены. Нет ни имен, ни фамилий. Есть только номера.

Впереди протоптанная сотнями тысяч ног Владимирка — дорога, ведущая в Сибирь. Впереди — каторга.

Начальник конвоя отдает команду:

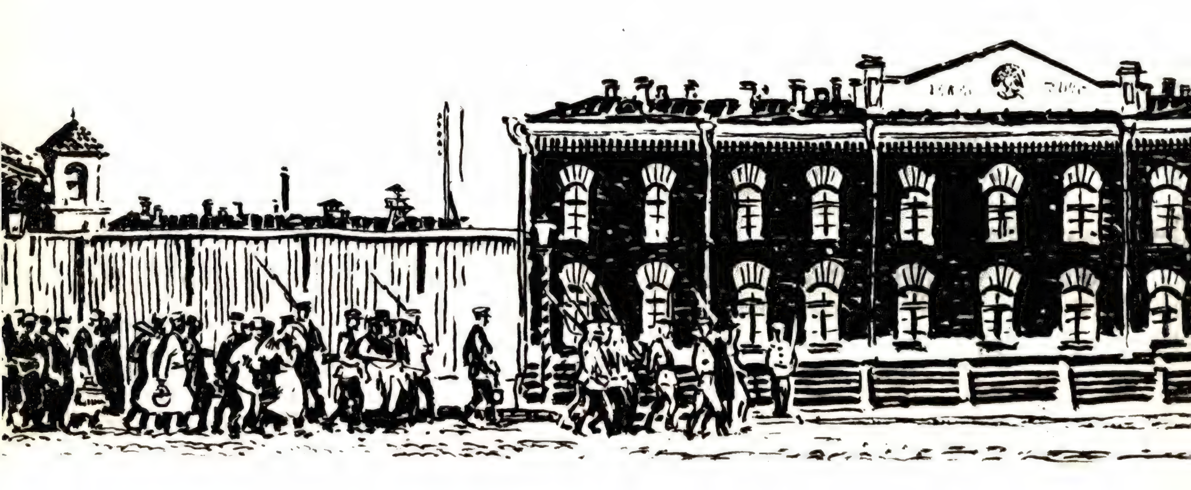
— Шашки вон! Ша-а-гом ма-а-арш!

Конвой лихо, со свистом рассекая воздух, обнажает шашки, и под звон кандалов длинная колонна трогается в путь.

Ранней весной 1908 года из Елисаветградской тюрьмы на Украине уходил большой этап ссыльных и каторжан. В первом ряду его шел Ефим Лаврентьевич Афонин (партийная кличка «Батько»).

К этому времени «Батько» провел в тюрьме уже около двух лет. В тяжелую минуту, когда он знал, что надолго, быть может навеки, разлучен с семьей, он написал письмо-завещание старшему сыну.

«Дорогой мой, — писал он. — Я шлю тебе горячий привет. Моим пожеланием тебе будет, чтобы вместе с твоим ростом росли и развивались твои духовные силы. Наряду с развитием разума, чтобы росло и развивалось чувство гуманности и сердечности ко всему живущему на земле, но только не к сознательным угнетателям человечества. Пусть всегда и всюду, на протяжении всей жизни, сопутствуют тебе пытливость и жажда знания; пусть растет и крепнет в тебе жажда борьбы за лучшие идеалы человечества. И если данные тебе природой способности дадут тебе возможность выйти на



широкую, светлую дорогу борьбы и знания, то тогда ты не осудишь меня, твоего отца... Ты поймешь, почему я общественное благо ставил выше блага своей семьи.

Я пишу эти строки в наследство тебе. Когда ты вырастешь и будешь читать это письмо, перед тобой всплывет жизнь твоего отца, и ты будешь иметь возможность критически отнестись к моим взглядам и поступкам. Это письмо, быть может, будет единственным наследством, оставленным тебе мною. В этом я уверен. Ведь я живу в такое время, когда каждый честно мыслящий человек должен заботиться не только о своих личных материальных благах, а всего себя отдать на служение народным интересам, на борьбу в защиту человеческих прав и раскрепощение человеческой личности. Я живу в такое время, когда нужно быть готовым умереть каждую минуту за народное счастье.

Вот почему, родной мой, я не могу оставить тебе большего наследства, кроме этих строк, написанных за тюремными стенами.

Твой бодрый и верящий в светлое будущее отец».

9

Годы и годы звенел над Россией кандальный звон... Вереницы поездов тянулись в Сибирь, в «землю каторжную», раскинувшуюся от Урала до берегов Лены.

«Душная ночь в вагоне, — вспоминает путешествие по этапу уже знакомый нам А. К. Петров. — Уголовные арестанты спят и на лавках, и на полу среди окурков, плевков и грязной рухляди, которую они везут с собой. Остается один простор, недоступный царским солдатам, это — простор мыслей, бегущих одна за другой».

Громыхая колесами, поезд приближается к Уралу. Замедляя ход, поднимается по отрогам Уральского хребта. Осторожно, чтоб не заметил конвоир, узник припадает к оконной решетке, быть может, в тщетной надежде увидеть «Горючий камень».

...Этот «Горючий камень» — сложенный из выбеленных кирпичей пограничный столб, воздвигнутый на границе между Европой и Азией, Россией и Сибирью.

Американский путешественник Джордж Кеннан, совершивший в 1885 году путешествие по Сибири для изучения условий жизни в тюрьмах и ссылках, ярко описал этот столб, около которого в те времена, когда еще не была построена Транссибирская железнодорожная магистраль, каждая партия шедших по этапу в Сибирь непременно делала привал.

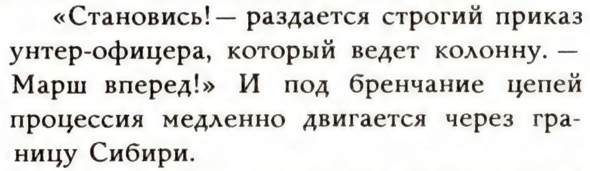
«Ни с одним другим из пунктов между Петербургом и Тихим океаном не связывается столько мучительных воспоминаний, как с этим, — писал Дж. Кеннан. — Ни один из пунктов не внушает путешественнику более грустного интереса, чем эта маленькая просека с освященным скорбью столбом. Сотни тысяч человеческих существ — мужчин, женщин, детей — простились здесь навсегда со своими друзьями, отечеством и родимой землей.

Ни один из пограничных камней во всем мире не был свидетелем такой тьмы человеческих страданий; нет ни одного, мимо которого прошло бы такое бесчисленное множество жизней с разбитыми сердцами...

Так как пограничный камень лежит на половине пути между последним европейским и первым сибирским этапом, то обыкновенно здесь позволяли отдохнуть и сказать родине, отечеству последнее «прости»... У пограничного камня часто разыгрывались самые душераздирающие сцены. Многие безудержно предавались своей скорби, рыдали; некоторые падали на колени и прижимали лицо к дорогой земле-родине или целовали холодный кирпичный столб, как будто он был символом всего любимого, что они оставляли позади.

«Становись! — раздается строгий приказ унтер-офицера, который ведет колонну. — Марш вперед!» И под бренчание цепей процессия медленно двигается через границу Сибири.

Еще недавно сибирский пограничный



камень был испещрен надписями, прощальными словами и именами ссыльных, выцарапанными по твердому цементу, которым первоначально был покрыт столб. Ко времени нашего посещения штукатурка по большей части облупилась, осталось только несколько трогательных и полных значения надписей и инициалов. В одном месте я прочел: «Прощай, Мария!»

Для осужденного, который написал на пограничном столбе эти прощальные слова, «Мария», вероятно, соединяла в себе все на свете; переход через границу был для него отречением от отечества, родной земли и любви...»

Эти слова были написаны в восьмидесятых годах прошлого века. Вскоре после путешествия Джорджа Кеннана было развернуто строительство железной дороги. К 1900 году она была доведена до Тихого океана.

Ссыльных и каторжан везли через Сибирь в специально оборудованных для этого арестантских вагонах. Но память о «Горючем камне» долго еще сохранялась в сердцах узников.

10

Поезд за поездом, этап за этапом двигались на восток, всегда на восток. Утром они шли навстречу восходящему солнцу, вечером закат отбрасывал тени впереди арестантской партии.

Железная дорога редко довозила этап до пункта назначения. Чтоб добраться до тюрьмы, обычно надо было одолеть десятки, а то и сотни верст, а до ссылки — даже тысячи.

— Не растягивайся! — кричит конвой.

Люди идут длинной цепью, опустив руки, еле переставляя закованные ноги. За плечами небольшие мешки. Кое у кого чайники. Два-три человека несут собранный по пути хворост.

— Запевай! — командует офицер, начальник конвоя.

Под звон кандалов песенники заводят любимую каторжную песню:

Снеги белые, пушистые
Покрывали все поля.
Одно поле да не покрыто,
Поле батюшки мово. . .

Два дня пути, день дневки на «полуэтапе» — большом деревянном загоне с кишащими клопами нарами. Снова два дня пути и день дневки. Каждые три дня новые офицеры, новые конвоиры, новые порядки, новое самодурство, новые столкновения, во время которых конвоиры бьют, калечат, всячески издеваются над «партией».

«В Александровский централ, — вспоминает бывший каторжанин, а потом известный писатель Андрей Соболь, — партия следовала по железной дороге до Иркутска, там шла в пересыльную тюрьму, а оттуда — пешим трактом. Особенно тяжело бывало зимой, в лютые морозы. Кто проходил от Иркутска до каторжного централа, тот помнит проклятый перевал, отнявший у многих столько сил и здоровья.

Так как он находился довольно далеко от Иркутска, да и долгая сидка в тюрьме без движения давала себя чувствовать, к нему прибывали основательно усталыми. Он — нечто вроде высокой и крутой горы. Идти не могли, ползли на четвереньках, кто как мог, цеплялись за снег, обрывались, скатывались вниз, где конвойные избивали прикладами, вскакивали и опять карабкались... И под крики: «Не отставай!», еле передвигая ноги, покрытые ранами от кандалов, шли дальше...»

Но вот, наконец, сквозь густую сетку снега проступал тусклый свет, падавший на высокие каменные стены и круглые башни...

Как дело измены, как совесть тирана,
Осенняя ночка черна. . .
Черней этой ночи встает из тумана
Видением мрачным тюрьма.
Кругом часовые шагают лениво,
В ночной тишине то и знай,
Как стон, раздается протяжно, тоскливо:
— Слу-шай! . .

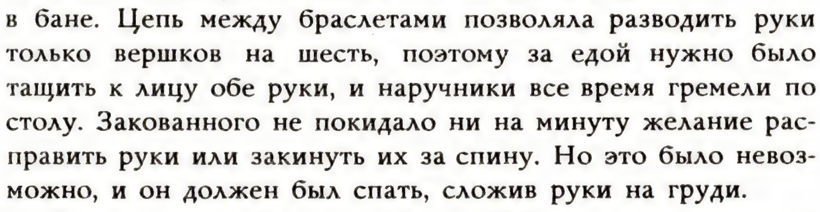
11



Кто из каторжан не запомнил бесконечные ночи, в которые вся тюрьма спит и не спит и нет сил дождаться, когда же наконец забрезжит новый день?

О наступлении его прежде всего возвещают железные прутья решетки, выступающие на предутреннем небе, затем шум в коридоре и окрики надзирателей: «Становись на подъем!»

По камерам разносят бачки с баландой — похлебкой, в которой среди ее «водного содержания» сиротливо плавают редкие крупинки и волоконца мяса, но зато в изобилии попадаются и черные и рыжие тараканы. Чтобы хлебать закованными в кандалы руками, нужна немалая тренировка: заклепанные наглухо кандалы не снимались даже



в бане. Цепь между браслетами позволяла разводить руки только вершков на шесть, поэтому за едой нужно было тащить к лицу обе руки, и наручники все время гремели по столу. Закованного не покидало ни на минуту желание расправить руки или закинуть их за спину. Но это было невозможно, и он должен был спать, сложив руки на груди.

Сотни и сотни большевиков перебывали в эти проклятые годы на каторге и в каторжных тюрьмах. Через входные ворота Шлиссельбургской крепости, над которыми красовалась надпись: «Государева», прошли многие видные деятели партии, в том числе Георгий Константинович («Серго») Орджоникидзе. В Орловском каторжном централе отбывал каторгу Феликс Эдмундович Дзержинский. В Рижском и Бутырском — Ян Эрнестович Рудзутак. Во Владимирском — Михаил Васильевич Фрунзе.

Летом 1907 года в городе Владимире заседал военный суд, судивший группу большевиков. В качестве свидетеля обвинения был вызван урядник Перлов.

Давая показания, Перлов внимательно вглядывался в подсудимых — и вдруг закричал, показывая пальцем на человека с привлекательным, светлым, открытым лицом:

— Он! Он!!!

И в дополнение к прежним показаниям урядник заявил суду, что однажды в морозную январскую ночь, когда он шел по улице на окраине города Шуи, он случайно встретил там группу людей, которые, увидев его, быстро перекинулись несколькими словами, а потом один из них, припав на колено, вынул маузер и выстрелил в него, в урядника, но промахнулся. Урядник Перлов открыл ответную стрельбу. И сейчас он, якобы, опознал в подсудимом того, кто в него стрелял.

Этим подсудимым был Михаил Васильевич Фрунзе.

Он принадлежал к тому молодому поколению нашей партии, которое вступило в революцию под влиянием ленинской «Искры» и развернуло свои выдающиеся революционные качества в канун 1905 года и в самом 1905 году.

Сначала он работал в Петербурге. Затем перебрался в «Ситцевый край», как нередко звали крупнейший район русской хлопчатобумажной промышленности в верхнем течении Волги, — Шую, Иваново-Вознесенск, Кострому, Ярославль. Там он работал под именем «Арсения».

Близко знавшая М. В. Фрунзе старейшая большевичка Ольга Афанасьевна Варенцова, вспоминая о нем, рассказывала, что, несмотря на молодость, он поражал всех размахом своих мыслей и поступков и всегда и во всем проводил линию Ленина, линию большевиков: она так гармонировала с его боевой натурой, его кипучей энергией, его революционной страстью к борьбе!

Полиция вела за ним долгую, но безуспешную охоту. И лишь вследствие роковой случайности наткнулась на него во время ареста на одной из конспиративных квартир. Когда полицейские ворвались в квартиру, Фрунзе держал в каждой руке по маузеру и хотел отстреливаться. Но в квартире были маленькие дети, и он сдался без боя, чтобы не погубить детей.

Весть об аресте товарища «Арсения» мгновенно облетела город.

На фабриках раздались гудки, рабочие прервали работу и огромной толпой кинулись к тюрьме, требуя освободить «Арсения».

Местный исправник, видя, что дело может для него обернуться плохо, успокоил толпу, пообещав, что «Арсений» будет освобожден. Но обещание это было лишь лживой уловкой, чтоб выиграть время и отправить Фрунзе во Владимирскую тюрьму.

Для сопровождения арестованного исправник вызвал роту солдат. Подумать только: целая рота, сверкая штыками, вела одного человека! Но этот человек был Фрунзе!

Показания урядника предрешили судебный приговор: лишить всех прав состояния и подвергнуть смертной казни через повешение.

Вернувшись в тюрьму, Фрунзе стуком передал это товарищам. А сам... Сам взял учебники английского и итальянского языков и принялся усердно заучивать незнакомые слова и правила грамматики.

Адвокаты добились пересмотра дела. Снова суд. Снова урядник. На этот раз урядник в помощь себе привез за



собственный счет еще одного свидетеля обвинения. И снова смертный приговор. И так же снова учебники английского и итальянского.

— Есть два сорта смертников, — говорили товарищи Фрунзе по тюрьме. — На одних безмерно тяжело смотреть. Их жалко. К другим испытываешь иное, сложное чувство: и боль за них, и гордое сознание — он сумеет умереть! Таким был «Арсений».

Фрунзе в третий раз предстал перед судом. Приговор гласил: шесть лет каторжных работ с лишением всех прав состояния.

Он отбывал каторгу во Владимирском каторжном централе. Это был один из самых суровых централов: бесконечные карцеры, порки, издевательства над заключенными. Фрунзе не раз объявлял голодовку, не раз участвовал в протестах против действий тюремщиков.

Один товарищ сказал о нем:

— Фрунзе очень мягкий человек.

На это другой, просидевший с ним несколько лет в каторжном централе, возразил:

— Вы его не знаете. Он мягок в личных отношениях и товарищ, каких мало. За людей, которые разделяют его идеалы, будет стоять до конца. Но внутри он кремневый человек. У него огромная сила воли и твердость сердца. Он чужд жалкому себялюбию и самолюбованию и слишком духовно богат, чтобы идти окольными дорогами. Слово его никогда не расходится с делом...



В самые черные годы реакции Михаил Васильевич Фрунзе сохранял уверенность в грядущей победе. По окончании срока каторги был сослан на вечное поселение в далекий угол Сибири. Оттуда бежал, пробираясь через глухую, девственную тайгу. Было это незадолго до первой мировой войны.

Когда началась война, М. В. Фрунзе был призван в армию и там, зная, что это грозит ему расстрелом в двадцать четыре часа, вел среди солдат пропаганду против империалистической войны.

12

Облеченные чрезвычайными полномочиями, военные суды без конца выносили каторжные приговоры. Их жертвами были не только видные партийные деятели, но и низовые работники партии, и беспартийные рабочие, крестьяне, матросы, солдаты, активно участвовавшие в революционной борьбе девятьсот пятого года, осужденные за поджоги и разгромы помещичьих имений и захват помещичьих земель.

Кто имел пять, кто десять, кто пятнадцать или двадцать лет, а кто и бессрочную каторгу. Одни проводили весь срок в одной и той же тюрьме. Других без конца перегоняли из одной каторжной тюрьмы в другую — из Москвы в Александровск, из Александровска в Сретенск, из Сретенска в Акатуй, из Акатуя в Горный Зерентуй, из Зерентуя в Кутомару, из Кутомары в Кудару.

И на Амур, на знаменитую амурскую «Колесуху».

Бывалые каторжане, рассказав о десятках тюрем, через которые они прошли, заключали:

— Это что! Это ерунда! А вот «Колесуха» — там запоёшь...

Амурская «Колесуха» — колесная дорога вдоль Амура, между Благовещенском и Хабаровском, — строилась трудом каторжан. Весь «инструмент», которым вели заготовку леса и камня, резали дерн, копали канавы, устраивали земляную насыпь, состоял из лопат, топоров и тачек.

Работы велись зимой и летом, в дождь и стужу; выводили из бараков в пять часов утра и работали до позднего вечера. Люди надрывались, выполняя непосильный «урок», а конвойные ублажали себя зрелищем клубков полусонных змей, которых каторжане выкапывали из земли вместе с камнями: сначала змеи, все так же клубком, сильно копошились, но под гогот конвойных постепенно замерзали на морозе.

За невыполнение «урока», а также за любое неповиновение конвою полагалось пороть розгами. Концы длинных, полутороаршинных розог вымачивались в соленой воде, чтобы усилить боль от порки.

Кроме того, существовал ряд способов издевательства и мучений, изобретенных здесь, на «Колесухе». Самый знаменитый из них носил название «На москитах». В тех местах по утрам, до восхода солнца, так много мошкары — москитов, что без сеток выходить нельзя. Конвоиры раздевали наказываемого донага и привязывали к дереву, а потом, распухшего, искусанного москитами до открытых ран, гнали на работу.

Зимой, когда москитов не было, обнаженных людей выгоняли на мороз и обливали водой.

Но были среди каторжного начальства и не просто звери, а звери из зверей, хваставшие тем, что они одной пулей пронизывают по двадцать заключенных. Недаром человек, побывавший на «Колесухе», сказал о ней, что она «от края и до края полита человеческой кровью».

Сначала на «Колесуху» посылали только уголовных. Но после 1905 года туда стали гнать и «политику» — матросов, солдат и рабочих, которые составляли большинство в каторжных тюрьмах, а также и студентов, учителей, статистиков. От единиц перешли к десяткам, от десятков к сотням.

Так попал на «Колесуху» писатель Андрей Соболь, которого до конца жизни преследовали страшные воспоминания.

Первого представителя «Колесухи», начальника конвоя Лебедева, Андрей Соболь увидел в Сретенске.

— Шапки долой! Смирно!

«Шелест. Сотни рук одним взмахом поднимаются, сотни шапок снимаются одним мигом, и горе тому, кто зазевался, кто не успел: лебедевский кулак сметает несчастную шапку, как пушинку, а неповоротливый хозяин валится наземь.

Мертвая тишина, ни шороха, ни вздоха, ни движения — вся партия, как один человек, замирает на месте. И, замерев, обязана выслушать речь начальника: он любит поговорить и говорит красно о «внутренних врагах», о «жидах», о благости самодержавия и прелести дисциплины, о «мерзавцах», восставших против бога и царя...»

Дальше — десять суток в трюме баржи, плывущей по Шилке. И вот она, «Колесуха».

Здесь, рассказывал Соболь, нет «живой» жизни, как нет живых людей, а есть ходячие трупы; вообще нет «людей», а есть числа, номера, манекены с ярлыками: уголовный, политик, бывший студент, бывший агроном, бывший учитель. На «Колесухе» не говорят, а шепчутся; на «Колесухе» не спят, а тяжко дремлют с готовностью в любую минуту вскочить; на «Колесухе» не умываются, а чешутся; на «Колесухе» не едят, а торопливо, обжигаясь, глотают; на «Колесухе» нет ни норм, ни закона, ни правил, ни обычаев, а есть только разнузданное «хочу» любого солдата, любого надсмотрщика... И мошкара — мелкая, злющая, тучами облепляющая лицо, руки, ноги...

Некоторых тюрьма и каторга ломала. Некоторые, не выдержав, кончали с собой. Тюремщики смотрели сквозь пальцы на самоубийства заключенных и беспокоились разве лишь о том, чтоб, вешаясь, они не порвали казенные полотенца.

Но большинство выдержало.

Когда, по указанию свыше, тюрьму и каторгу стали «брать на винт», то есть туго закручивать режим, это было встречено ожесточенным сопротивлением со стороны заключенных. Особенно острой была борьба матросов и солдат, которых судили за участие в вооруженных восстаниях. Тюремная администрация стремилась приравнять их к уголовным. Они решительно сопротивлялись. Это приводило к многочисленным столкновениям, которые нередко заканчивались трагедиями.

К карцеру и поркам тюремщики прибавили теперь наказание «уткой»: повалив людей на пол, надзиратели загибали им ноги за спину и, вывернув руки назад, привязывали кандальным ремнем к локтям.

13

Закончив срок, каторжане уходили не на волю, а в ссылку или на вечное поселение. Но после нескольких лет, проведенных в каменном мешке, даже это казалось огромным счастьем.

«Свобода! Свобода! — писал Алексей Ведерников-Сибиряк на пути из Ярославского каторжного централа в енисейскую ссылку. — Скоро буду бродить совершенно свободно без надзирателя по родному сибирскому лесу. Мне даже кажется как-то странным идти куда захочется, без надзора. А окна будут без решеток — и если вздумается, то можно в любое время вылезти в окно. Вам может показаться смешным, но я серьезно говорю, что после шести лет сидения за решеткой, когда я впервые после освобождения шел по улицам Ярославля до вокзала и видел в домах окна, я считал их не настоящими, а устроенными только для украшения, так как они были без решеток и на них были навешены занавески и наставлены цветочные горшки».

«Дальше едешь, тише будешь» — так русское самодержавие переделало на свой лад старую пословицу «Тише едешь, дальше будешь». Как никогда, широким потоком шли ссылаемые в места «отдаленные» и «не столь отдаленные». Вроде Березова, куда Сергей Иванович Гусев попал без малого два столетия спустя после Меньшикова, но застал там все почти в таком же виде, как было при опальном царедворце: сотня домишек, две церкви, кладбище, деревянная каланча.

«И всё! — пишет Гусев товарищу по тюремной камере. —

Все это можно обойти в десять минут: все улицы, все лавки, церкви, каланчу, кладбище...»

Гусев тяжело болен. У него нет денег, нет книг, нет газет. Но и теперь, по собственному его признанию, он не разучился хохотать, находить смешное или же изобретать его в случае надобности.

Так, описывая в одном из писем свою «деятельность на поприще пропитания живота своего», он заключает этот рассказ следующим выводом:

«Замечательнее всего, что я обнаружил в кулинарном деле неожиданные для самого себя таланты. Вероятно, во мне погиб гениальный повар, и несомненно, что среди марксистов я наилучший повар и среди поваров — наилучший марксист».

14

Тяжел путь в ссылку.

Зимой он совершался на лошадях, частью по льду рек, частью лесными дорогами по сплошной пустыне, а летом — сплавом на паузках — деревянных суденышках, похожих издали на плавучие гробы.

«Бесконечная лента Лены — единственный путь, соединяющий цивилизованный мир с якутской пустыней, — писал М. С. Ольминский. — И зимой и летом некуда свернуть с Лены, кроме как в безлюдную тайгу и снеговую пустыню. И люди, и даже перелетные птицы не знают иного пути с юга на север на протяжении трех тысяч верст...

Уже вторую неделю плывут паузки, а конец еще да-



леко... На склонах всюду один и тот же бесконечный лес, сибирская тайга, успевшая зазеленеть за время нашего плавания. Река повернула на северо-восток, и невольная жуть охватывает при мысли, что направо от тебя, до самого Великого океана, протянулось безлюдье. И будешь плыть так все дальше и дальше, пока паузок не выбросит тебя на одно из грязно-серых пятен, к которому ты и будешь привязан на многие годы.

И вот, несмотря на всю прелесть весны среди дикой природы, мысль настраивается враждебно к ней, а голова работает над вопросом, как бороться... Родятся и обдумываются планы побегов...»

Наконец паузок причаливает к пункту назначения. Сквозь мглистый утренний туман чуть темнеют очертания сараев и хозяйственных построек. Само село не видно.

Суетятся конвойные. Заспанный и недовольный волостной пристав в четвертый раз пересчитывает новоприбывших ссыльных.

На вопрос, можно ли тут найти квартиру, насмешливо отвечает:

— Вот тебе тайга, вот тебе река: хотишь — давись, хотишь — топись...

Так начиналась жизнь в ссылке, которую недаром прозвали «тюрьма без решеток».

Разбирая архивы, перечитывая письма и воспоминания, обнаруживаешь интересное явление: многим ссылка давалась тяжелее, чем тюрьма и каторга.

В чем тут причина? Прежде всего в том, что на каторге люди были в коллективе, и те страдания, которые они переносили, объединяли их между собой.

В ином положении был ссыльный, попавший на какой-нибудь «станок» или маленькую глухую деревушку да и в такой город, как Березов. Он лишен права на труд. Ему запрещено выходить даже за околицу. Заработка нет. Он

берется за все: слесарит, кузнечит, складывает печи, об-

мазывает глиной стены, паяет кастрюли, чинит самовары, гонит смолу и деготь, катает пимы, пасет скот. Но все эти заработки столь малы, что он обречен на голод и холод.

Другое дело там, где есть сплоченная колония ссыльных. Там налажена учеба и экономическая жизнь ссыльных, да и политическая жизнь тоже бьет ключом.

Однако ссылка — это всегда ссылка. И лучшее из всего, что можно было сделать в царской ссылке, — это бежать!

15

Почему до сих пор никто не написал повесть большевистских побегов? Трудно найти что-нибудь более увлекательное по своему уму, дерзости, отваге, находчивости, нечеловеческому упорству.

Ни один побег не был похож на другой. Каждый имел свою историю.

Из тюрем бежали, устраивая подкопы и перелезая через высокие каменные стены. Уходили «через решетку» — подпилив брусья решетки в окне; с «прихваткой» — связав надзирателей; через цейхгауз, откуда уходящих выносили вместе с вещами, или из больницы — в корзинах с бельем; в бочках из-под воды или кислой капусты; в гробу под видом покойника, и еще тысячью способов.

Каждая тюрьма гордилась своими побегами, создавала вокруг них легенды. Иногда она восхищалась тщательной продуманностью и подготовкой, с которыми они были совершены, но с таким же восторгом говорила и о совсем простых побегах, удача которых казалась чудом.

Из ссылки бежали зимой на лошадях, иногда верхом, иногда в телеге, иногда спрятавшись на дне кибитки. Летом же — на лодке или в трюме парохода, а то и пешком, пробираясь через глухую тайгу. Но лучше было бежать не с самого места ссылки, а с дороги.



...Присяжный поверенный Беренштам в книге, посвященной его поездке в Якутию, рассказывает историю побега, услышанную им от волостного писаря из поселка на берегу Лены:

— Вот везли, значит, партию политических. Офицер вез их. Конвойных куча. Смотрят в оба. Близко к станку не пристают, а если останавливаются, то всё у открытых берегов, чтоб деревьев не было да чтоб некуда было скрыться.

Вот задумал один политический бежать, а товарищ его, студент, ему говорит: «Я тебе помогу». Сговорились они, как и что делать, и стал студент при конвойных остальным товарищам хвастаться силой своей необыкновенной.

«Я, — говорит, — свободно могу вырвать из земли любое дерево с корнем, только бы руки обхватили».

Кто из товарищей ничего не знал, тот смеялся. А он упрямо стоял на своем: «Вырву дерево, любое вырву», — и баста!

Все, конечно, заинтересовались. И солдаты тоже. Многие пошли в пари. Диво-то какое! Уж и солдатам не терпится пристать к такому месту, где б хоть одинокие деревья были.

Как раз чуть повыше нашего станка все и случилось. Вон там, где деревья... Солдаты сами наладили здесь пристать.

Вот вышла партия на берег, собралась около деревца. Солдаты цепью окружили политических.

Заговорщики и говорят студенту:

«Ну-ка, покажи нам свою молодецкую удаль! Вырви-ка с корнем это деревцо, которое поменьше!»

Подошел студент к дереву, взялся за него, покряхтел-покряхтел. Нет, ничего не выходит.

«Надо, — говорит, — на руки поплевать!»

Поплевал этак с расстановкой и взялся снова за дерево. Ничего!

Все громко хохочут, потешаются. Солдаты потеснее подошли, по сторонам не глядят, на носки даже приподнялись, чтоб виднее было. А студент уже пиджак снимает, говорит, что под мышками жмет, мешает.

Снова поплевал на руки и за дерево взялся. Смех стоит отчаянный!

В это самое время тот политический, что бежать собрался, присел около ног конвойного и на землю лег. Между конвойными-то расстояния всего не больше аршина-двух, да только не смотрят они на землю, глаза в дерево вперли. А студент уже жилет снимает, говорит:

«Очень тесен он мне, оттого и дерево вырвать не могу».

Веселье общее всех захватило. Каждый насмешку свою спешит выполнить. А тем временем политический между самых ног солдатских пролез, добрался до кустика шагах в десяти и залег.

Лежит себе, кругом веточки, траву щиплет, покрывает себя, чтоб незаметно его было. Место голое, деревьев мало, скрыться или уйти некуда.

Тут рожок с паузка раздался — пора ехать! Все на паузок повалили, а что одного не хватает, конвойные и не заметили. А студент дерева так и не вырвал!

В партии имелись люди, на счету которых было пять, семь, десять, даже тринадцать побегов. И каких побегов! Но, главное, эти побеги совершались не для того, чтобы из ссылки скрыться где-нибудь в «тихой заводи», но чтоб сразу же с головой уйти в нелегальную партийную работу, заведомо зная, что это дело неминуемо окончится новым арестом и новой, еще более далекой и трудной ссылкой.

Вот Виктор Павлович Ногин. Рабочий-красильщик с фабрики Паля за Невской заставой. Участник рабочего движения с девяностых годов прошлого века. Один из активных организаторов знаменитых забастовок на фабриках Паля и Максвелла.

В 1898 году арестован. Просидел год в «предварилке». Выслан в Полтаву. Тотчас бежал.

Оказался в Англии. В 1901 году в качестве агента «Искры» поехал в Россию. Работал в Москве и Петербурге.

Арестован. Просидел год. Выслан в Енисейскую губернию. Бежал.

Попал в Женеву. Полтора месяца спустя вернулся в Россию, работал в Екатеринославе, Ростове-на-Дону, Москве. Арестован в марте 1904 года. Отправлен в тюрьму польского города Ломжа. Просидел там семнадцать месяцев. Выслан в село Кузьмино на Кольском полуострове. Восемь дней спустя бежал.

Прожив короткое время в Женеве, в конце 1905 года вернулся в Россию. Работал в Петербурге, Баку, Москве. Был делегатом Москвы на Лондонском съезде партии. Арестован в 1907 году по делу Московского комитета. Четыре месяца Таганской тюрьмы. Ссылка в Березовский уезд, Тобольской губернии. Через неделю по прибытии в ссылку бежал.

В январе 1909 года арестован в Белоострове при попытке проехать по фальшивому паспорту в Финляндию. Летом возвращен на прежнее место ссылки, в Березовский уезд, Тобольской губернии. Четыре дня спустя бежал.

В начале 1910 года, как член ЦК, избранного Лондонским съездом, участвовал в Пленуме ЦК в Париже. Оттуда вернулся нелегально в Москву, потом поехал в Баку, снова приехал в Москву.

Арестован по доносу провокатора Малиновского. Сослан в Туринск, Тобольской губернии. Через несколько дней бежал.

Нелегально поселился в Туле. Вел партийную работу вплоть до дня ареста в марте 1911 года. На этот раз сослан в Верхоянск. Шел туда этапом год. Первое, о чем подумал, прибыв на место ссылки: «Можно ли бежать?» Понял: невозможно!

Да, бежать оттуда было невозможно...

«После отлета птиц, — писал потом Виктор Павлович Ногин, — в Верхоянске наступает мертвая тишина. В начале зимы ее нарушают лишь звенящие звуки, несущиеся с реки Яны, когда лед на ней еще тонкий. Этот звон возникает от легкого сотрясения льда на Яне, которое вызывается течением».

Кругом безлюдные тысячеверстные пространства. Зимой — снега, летом — непроходимые болота. Этот край был до того пустынен, так мало было в нем жизни, что постоянно думалось о небытие. «Начинаешь представлять себе землю, покрытую трещинами, замерзшую и безжизненную, а себя — последним человеком, оставшимся на ней, — пишет Ногин. — Забываешь о пространстве, о времени, сближаешься с вечностью».

Нигде ссылка не знала такого высокого процента самоубийств и случаев душевного помешательства. Все толкало к тому, чтоб впасть в безразличие, утопить тоску на дне бутылки, потерять веру в будущее.

Так случалось со многими. Но не с большевиком Ногиным.

Против тоски он нашел верное лекарство — работу.

Но какую работу можно было делать здесь, на полюсе холода?

Изучать окружающую жизнь.

Время Виктора Павловича Ногина было заполнено до предела: он отмечал день за днем время прилета и отлета птиц, появление цветов, признаки весны или наступления зимы. Производил тщательные метеорологические наблюдения. Пытался найти удовлетворительную гипотезу для объяснения особенностей местного рельефа — например, янских лунообразных впадин, которые он прозвал «амфитеатрами».

Но больше всего увлекли его полярные сияния. Он возился с самодельным угломерным инструментом, производил подсчеты, выводил формулы, чтоб найти объяснение этому явлению.

«Наблюдая полярные сияния, — пишет он, — я увлекался и забывал, что нахожусь в Верхоянске: забывал о всех своих мрачных мыслях и видел перед собою только землю, охваченную от полюса до полюса лучами сияний. Мне хотелось понять это явление и поставить его в связь с другими явлениями природы. Я строил ряд гипотез. Может быть, они и не выдержали бы научной критики, но мысль об этом не

останавливала меня. Я думал и уходил мыслями далеко от всех тех пут, которые давили меня».

Одновременно с этим В. П. Ногин с такой же серьезностью и пытливостью изучал условия жизни местного населения.

Хотя и раньше ему приходилось бывать в очень глухих углах, но такого, как здесь, он еще не видел. Тут не было известно даже употребления колеса! История словно отодвинулась на несколько тысячелетий назад, к первобытному обществу, в котором, однако, имелись урядники, становые, водка, сифилис и купцы, обманывающие и грабящие несчастных якутов.

И еще одним занимался Ногин: расспрашивая местных жителей, собирая сохранившиеся на руках письма и вещественные памятники, он восстанавливал трагическую историю якутской ссылки.

Ему и сейчас бывало трудно. И сейчас бывали минуты, когда он чувствовал себя настолько изъятым из жизни, что переставал ощущать жизнь в себе самом. Но все же основным, что определяло весь тонус его существования, была работа, было творческое горение, плодом которого явилась изумительная книга «На полюсе холода», полная наблюдательности, эпической силы и тонкого юмора.

Виктор Павлович Ногин не был ученым. Он не имел высшего образования. И даже среднего.

Он, как и другие товарищи по партии, прожившие такую же, а порой еще более трудную и бурную жизнь, был большевиком ленинской школы. В этом разгадка необыкновенной натуры этих людей.

16

Отсидевший в те годы каторжный срок в тюрьмах Восточной Сибири большевик Владимир Виленский-Сибиряков, вспоминая узловые этапы в Красноярской и Иркутской тюрьмах и знаменитый Ленский двор Александровской тюрь-

мы, говорит, что тот, кто там побывал, видел всю каторжную и ссыльную Россию, которая растекалась оттуда по ссылкам и каторжным тюрьмам Восточной Сибири.

Волна осужденных широкой волной шла через этапы и пересылки. Порой во время пересыльного половодья образовывались заторы, и в этих тюрьмах скоплялись сотни, а то и тысячи пересылаемых. В эти моменты в пересыльных тюрьмах происходило нечто похожее на всероссийские партийные конференции и съезды.

В тюрьмах развертывались обстоятельнейшие дискуссии, во время которых шел процесс воспитания широких масс и взаимной шлифовки, как это бывает с галькой, когда она, увлекаемая мощным потоком речного течения, шлифуется, обтираясь друг о друга.

Так каторжане, которые были взяты как революционные повстанцы, сплачивались и становились сознательными борцами.

— Каторга и ссылка, — заключает свою мысль Виленский-Сибиряков, — превратились в школу для подготовки кадров будущей революции.

Именно революции!

Революция была подавлена, но не побеждена. Она отступила, но отступила с боями. Под пеплом тлели горячие угли.

Прошло немного лет — и они вспыхнули ярким пламенем нового революционного подъема!

Глава шестая

СТРАНИЦЫ ЛЮБВИ

1

Листок бумаги, перекрещенный широкими желтыми полосами... Дальний звон быстро двигающихся почтовых колокольцев. Крик: «Почта!.. Почта едет!..»

Дрожащие руки нетерпеливо разрывают конверты. Письма, письма, письма... От жены, мужа, детей... От любимого человека... От родителей, братьев, сестер... От друзей и товарищей...

Взгляд жадно скользит по строкам, чтоб схватить общий смысл, потом вернуться снова — и снова читать и перечитывать, пока события полугодовой давности не будут пережиты и передуманы и не запомнятся в каждой, самой малой своей подробности.

Тому, кто находится в тюрьме, на каторге, в ссылке, в каждом письме с воли чудится недосказанное. Как заметил кто-то, «не говоря уже о многоточии или вопросительном знаке, каждая запятая и та делает вид, что она что-то знает...»

Но вот прошла неделя, другая. Письма выучены почти наизусть, газеты и журналы прочитаны вдоль и поперек. Мир опять замкнулся в стенах тюремной камеры или опостылевшей избы. И ухо снова прислушивается: когда же послышится звон колокольцев, разноголосый вой ездовых собак и крик: «Почта!.. Почта едет!..»?

Жизнь большевиков-подпольщиков представляла собою беспрерывную цепь скитаний из тюрьмы в подполье, из подполья в тюрьму, оттуда в ссылку, на каторгу и опять в тюрьму, опять в ссылку. Однако отсюда не следует делать вывод, что они не знали личной жизни и всей связанной с нею гаммы чувств.

Они жили не одной только идеей, им никогда не были чужды иные человеческие чувства. И они страдали, томились, знали любовь, ревность, боль и счастье, ту огромную, всепоглощающую нежность, страсть, при которой, говоря словами поэта Элюара, «звезды рассеивают мрак, и нет ничего, кроме звезд».

Увы, архивы почти не сохранили личных писем, по которым мы смогли бы воскресить эту сторону жизни революционеров-подпольщиков, да и те письма, что сохранились, написаны с постоянной оглядкой на тюремную и иную цензуру. Трудно писать о любви, когда знаешь, что прежде, чем твое письмо прочтет любимый человек, его будут прощупывать глаза тюремщиков, что слова твоей тоски, тревоги, любви, отчаяния перечеркнут крест-накрест две жирные желтые полосы проявителя.

Но тогда, когда человек знал, что письмо его будет передано из рук в руки...

«Владимирская тюрьма.

Дорогая моя, милая, родная... Сегодня, кажется, последний день я с тобой под одной кровлей. Эти две недели были ужасны! Находиться так близко и не видеть друг друга после двух лет... Ох, как тяжело, больно до слез...

Палачи, наверное, не разрешат проститься... Мне все время приходилось скрывать, что я знаю, что ты, моя милая, здесь. Пытался писать тебе, но ты, кажется, не получала. Маруся, миленькая! Теперь только в полном объеме я испытал страстную любовь к тебе в ужасной муке. Ярко представляется мне вся картина твоего изгнания на пустынный север; живо чувствую все мучения, все горе, которые тебе придется вынести. Завтра я на коленях провожу тот поезд, который увезет тебя от меня... на мучения. Родная, знай, что в этот миг я буду шептать вслед уносящемуся вдаль грохоту ужасного поезда мои горячие мольбы к тебе, слова моей горячей любви к тебе, я провожу этот грохот рыданием, которое и сейчас едва сдерживается... Так близко было свидание, и так надолго оно отдаляется вместе с поездом, уносящим тебя.

Такие моменты, как настоящий, не забываются... Горе перед разлукой с тобой разбудило жизненные силы: я хочу жить и буду жить во что бы то ни стало! Презрение к палачам, любовь к тебе будут источником моих жизненных сил. Знай, дорогая Маруся. Я люблю тебя и буду жить этой любовью и надеждой увидеться с тобой.

...Странная и жестокая русская судьба! Она превращает в мучение любовь тогда, когда эта любовь особенно прекрасна, когда жизнь полна... Но воспоминание о прошлом, воспоминание о таких моментах, как настоящий, тесно и крепко соединили нас и уменьшили боль от сознания, что жизнь разбита...

Прощай, моя дорогая, милая! Сохрани это письмецо до свидания, только спрячь его подальше... Я постараюсь, чтобы в Вологду тебе выслали еще денег. Милая, ты поедешь в моих шубах — это мне очень приятно, что удалось сделать. Береги здоровье.

До свидания, моя Марусенька!.. До свидания, до свидания, до свидания, родная!..»

Автор этого письма Николай Евграфович Федосеев был личностью красочной даже среди богатой яркими фигурами плеяды первых русских марксистов. Его высоко ценил Ленин.

«...для Поволжья и для некоторых местностей Центральной России,— писал он,— роль, сыгранная Федосеевым, была в то время замечательно высока, и тогдашняя публика в своем повороте к марксизму несомненно испытала на себе в очень и очень больших размерах влияние этого необыкновенно талантливого и необыкновенно преданного своему делу революционера».

Так отзывался Ленин о человеке, который прожил всего двадцать семь лет — но каких лет!

Он родился в 1871 году. Из восьмого класса казанской гимназии был исключен без права поступления в другие учебные заведения «за вредное направление своих мыслей» и за чтение «недозволенной начальством» литературы. Но он остался в Казани, занимался саморазвитием, организовал первые марксистские кружки, членом одного из которых был В. И. Ленин.

Так в семнадцать-восемнадцать лет Н. Е. Федосеев стал одним из пионеров революционного марксизма в России!

В 1889 году он был арестован, просидел два с половиной года в Казанской тюрьме и в петербургских «Крестах». В то время когда он сидел в Петербурге, политический «Красный крест» прикрепил к нему в качестве «невесты» Марию Германовну Гопфенгауз.

Как «невеста» она получила разрешение на свидание со своим «женихом» — и впервые они увиделись через решетку, которая отделяла тюремных узников от посетителей. И вышло так, что мнимые «жених» и «невеста» полюбили друг друга...

По освобождении из тюрьмы Н. Е. Федосеев уехал во Владимир, но вскоре был там арестован за социал-демократическую пропаганду в рабочих кружках.

В то время когда Н. Е. Федосеев сидел во Владимирской тюрьме, В. И. Ленин вел с ним переписку, а потом поехал во Владимир, чтобы повидать Федосеева. «Помню, что посредницей в наших сношениях была Гопфенгауз, с которой я однажды виделся и неудачно пытался устроить свидание с Федосеевым в г. Владимире, — вспоминал В. И. Ленин. —

Я приехал туда в надежде, что ему удастся выйти из тюрьмы, но эта надежда не оправдалась».

После года Владимирской тюрьмы Н. Е. Федосеев был сослан на три года в Сольвычегодск, но там арестован, уже в третий раз! Его привезли обратно во Владимир. В тюрьме он много работал и написал большой труд о причинах падения крепостного права в России. Но рукопись погибла.

Снова М. Г. Гопфенгауз ходила к нему на свидания, носила передачи, передавала письма с воли и на волю. На беду, одна из записок, которую она нелегально переслала Федосееву, была перехвачена тюремными надзирателями. Марию Германовну арестовали, привезли в ту самую тюрьму, в которой томился Н. Е. Федосеев, а затем выслали в Архангельскую губернию. Н. Е. Федосеев еще некоторое время оставался во Владимирской тюрьме и был сослан на пять лет в город Верхоленск.

Недаром писал Н. Е. Федосеев о «странной и жестокой русской судьбе» — судьбе человека и его любви в царской России: ему так и не суждено было увидеть вновь ту, которую он так любил. Оба они погибли в ссылке.

«Ужасно это трагическая история!» — писал В. И. Ленин своей старшей сестре.

2

Деятели подпольных поколений нашей партии, как правило, примыкали к революции смолоду. Двадцатилетний революционер знал, что в будущем его ждет если не эшафот, то тюрьма или каторга. И перед ним вставал вопрос: имеет ли он право на личное счастье, любовь, детей, семью? Или он должен стать аскетом, подавившим в себе все земное?

«Нет, я не аскет, — отвечал на такие вопросы Ф. Э. Дзержинский. — ... Я так хотел бы жить по-человечески широко и разносторонне. Я так хотел бы познать красоту в природе,

в людях, в их творениях, восхищаться ими, совершенствоваться самому, потому что красота и добро — это две родные сестры. Аскетизм, который выпал на мою долю, так мне чужд...»

Передо мной дневник старой партийки, которая в сознании всех, кто ее знал, запечатлелась, как сплошная суровость. И вдруг листок с записью на французском языке: «Un jour de pluie... — Дождливый день... Идет дождь. И душа печальна: человеку для счастья нужно солнце...»

Да, человеку для счастья нужно солнце. И нужна ему для счастья любовь. Большая. Настоящая. Единственная и неповторимая.

«Для меня его смерть — непоправимая потеря... — писала замечательная коммунистка Инесса Арманд, потеряв любимого человека.— С ним было связано все мое личное счастье, а без личного счастья человеку прожить очень трудно...»

Идея не убивала любовь, но обогащала ее, делала более чистой, более высокой. На долю любви выпадали бесконечные испытания: годы разлуки, постоянный страх за судьбу любимого человека, вечная тревога, вечная неуверенность в завтрашнем дне. Минуты счастья бывали так коротки, но так прекрасны!

Такая любовь не имеет ничего общего с ложью мимолетных отношений. Ей чужда мораль общества, которое обрекло на гибель Анну Каренину. Она скрепляется чистым, свободным, бескорыстным чувством.

3

> На старом кургане, в широкой степи
> Прикованный сокол сидит на цепи...

О чем же задумался он, этот ясный сокол, попавший в неволю? О прожитой ли жизни, участником которой он являлся? О друзьях и товарищах? О себе ли, о своей не овеянной любовью юности? О жене ли своей? О детях?

Дети, дети, дети! Дети, о которых так тосковали отцы, так обливались кровью сердца матерей!

Это тоже область чувств, о которой почти не расскажут документы, хранящиеся в партийных архивах. О них многое могли бы поведать стены тюремных камер, если б они умели слушать и говорить...

До нас дошло немного, совсем немного писем к детям, писем о детях. Среди них письмо к дочери, совсем еще девочке, написанное одним из крупнейших деятелей подпольной партии Иннокентием Дубровинским.

Он пишет из туруханской ссылки. Тяжело катит свои воды могучий Енисей. На тысячи верст раскинулась непроходимая тайга. Но как рассказать об этом дочке, чтоб она его поняла, и письмо стало хотя бы слабой ниточкой, связывающей ее с жизнью отца?

«...Читал я недавно, — пишет он, — как заскучал принц Лисичка-Острозубок, когда поместили его в зверинец. Пришлю — прочтете. Вот бы пустить его в Туруханский край! Места у нас столько, сколько у вас губерниях в двадцати (1 700 000 квадратных верст...), а народу — остяков, тунгузов и русских вместе — меньше, чем на Никитской улице...»

Нередко случалось, что ребенок появлялся на свет тогда, когда отец его находился в тюрьме, и проходило много времени, пока отец впервые видел своего сына или дочь. Бывало и так, что забирали в тюрьму мать, а то и обоих родителей. Ребенок рос у родных, у товарищей.

Тоска по семье, по детям порой охватывала тюремного узника с такой силой, что он готов был на любой риск, лишь бы на секунду увидеть дорогих ему людей.

С. Марковская рассказывает про такое отчаянное свидание с мужем, Михаилом Ефремовым, сидевшим в тюрьме. С ним она познакомилась в то время, когда они работали вместе в подпольной большевистской типографии.

«Ходить к Ефремову на свидания ни я, ни его сестра не могли, так как мы жили нелегально, но записки от него я

получала через верных людей... Однажды он написал: «Скучаю по вас, у нас с товарищем есть план, как устроить свидание с тобой и с дочуркой во дворе». Он предлагал прийти на тюремный двор как будто за справкой, сесть на скамейку, словно очень устала. В это время он, увидя нас, пойдет с товарищем за водой... Я так и сделала...

Смотря на решетки, я увидела, что с одной из них спускается тоненькая полоска бумаги. Это был знак, что он нас увидел. Я беспокоилась, что наша милая двухлетняя дочурка, увидев его, закричит: «Папа, папа!» Он вышел с товарищем; они несли на плечах на палке огромный пятиведерный ушат. Ефремов шел впереди. Я поднялась. Городовой крикнул: «Куда вы, госпожа?» Я ответила: «Я боюсь арестантов и хочу уйти» — и пошла по направлению к воротам. Тут Ефремов с товарищем как-то ловко повернулись, и Ефремов схватил нас в объятия. Маленькая Танечка обвилась ручонками вокруг его шеи и залепетала: «Папа! Папа!»

Послышался крик надзирателя:

— Это что такое! Это что такое! Я вас сейчас задержу.

Я стала кричать на Ефремова:

— Что вы делаете? Зачем хватаете чужого ребенка?

Он смущенно забормотал:

— Ну, что тут такого? Я люблю маленьких детей и ничего плохого вам не сделаю, — и расцеловал ребенка.

Я выхватила девочку со словами:

— Ах ты глупенькая, всех чужих людей называешь папой!

С плачущим ребенком на руках, отчаянно кричащим: «Папа! Папа!» — я выбежала за ворота. Сердце у меня щемило, губы дрожали, но плакать нельзя было, чтобы не выдать себя, и я крепко закусила губы...»

Родители знали, что детям суждено тяжелое детство и что они разделят с ними общую судьбу: нужду, лишения, долгую разлуку. Но могли ли они отказаться от великой цели, которую поставили перед собой?

Представьте себе тюрьму, глубокий вечер, тишину. Кто спит, кто читает, кто в тяжелых думах борется с бессонницей.

Вдруг в одной из камер слышится беспокойное движение. Заключенная зовет надзирательницу. Все, кто бодрствует, бросаются к «волчкам» и вслушиваются, стараясь понять, что же происходит.

Все напряжены до предела. Но что это? Среди настороженной тишины раздался слабый, беспомощный крик ребенка...

Тюрьма взволнована. Тюрьма не спит. А наутро на доске, на которой отмечается количество хлебных паек, полагающихся для каждой камеры, вместо единицы появляется проставленная мелом двойка.

Дети, родившиеся в тюрьме! Первый звук, который они услышали в жизни, — это звон тюремных засовов, первый солнечный луч пробился к ним сквозь тюремную решетку...

Тюремная девочка Галочка, никогда не жившая на воле, попав впервые за тюремную ограду, испугалась открывшегося перед ней свободного широкого пространства. В течение всей своей крохотной жизни она привыкла ходить только по четырехугольнику, окруженному со всех сторон непроницаемыми каменными стенами. А по вечерам на воле она горько плакала и не хотела ложиться спать: ее пугало, что на окнах нет решеток...

Какой бесконечной мукой было знать, что любимая женщина в тюрьме, ждет ребенка!..

«Милая моя, родная, голубка мама! — писал своей матери Николай Васильевич Крыленко. — В знак моего глубочайшего доверия к тебе, мама, я хочу тебя просить об одной услуге, услуге великой, которая для меня будет высшей из того, что ты для меня можешь сделать. Ты знаешь, какое испытание готовит нам судьба. Тюрьма, и в особенности этап, и, наконец, быть может, предстоящие роды в ужасных условиях тюрьмы без врачей могут оказаться роковыми для моей жены Елены Федоровны, роковыми в самом ужасном значении этого слова.



Родная мама, мученица ты моя, сделай так, чтобы ребенок был у тебя. Поезжай и возьми его...

Где буду я, куда меня пошлют, под пули или тоже в ссылку, ничего не знаю...»

4

Быть может, никому так не были дороги семья и дети, как тем, кто принес свою личную жизнь в жертву во имя общего дела. Тревога за близких пронзала душу в момент ареста, она постоянно преследовала их во мраке тюремной камеры, она бывала последней мыслью перед казнью. Идя на смерть, они старались успокоить дорогих им людей, внушить им силы и мужество.

«Недолго жить до расстрела, — писал жене своей Аркадий Федорович Иванов. — Я спокоен, и одна у меня просьба к тебе, Аня: будь тверда».

И, обращаясь к родившейся за шесть лет до этого в тюрьме дочери Любе, завещал ей заботу о матери.

«Любонька, — писал он крупными печатными буквами, — золотая моя, слушайся маму, заботься о ней...»

Аркадий Федорович Иванов родился в 1881 году; был расстрелян в 1918 году. Он прожил неполных тридцать восемь лет и половину из них отдал делу большевистской партии и пролетарской революции.

Отец его был ремесленником, семья была большая, куча ребят мал мала меньше. И не получить бы Аркадию образования, если б не тетка со стороны отца, жена известного в то время историка и литературоведа А. М. Скабичевского. Скабичевские взяли Аркадия на воспитание; он окончил гимназию и в 1902 году поступил на физико-математический факультет Петербургского университета.

Как ни любил он науку, но главным содержанием жизни Аркадия Иванова сделалась революционная деятельность. С первых же дней своего студенчества Аркадий Иванов принял активное участие в студенческом движении. Уже в ав-

густе 1902 года агентурные сводки петербургского охранного отделения отметили, что студент Иванов «хранит книги преступного содержания, дерзко отзывается о правительстве». А год спустя Аркадий Иванов вступил в большевистскую партию и оставался большевиком до последнего часа своей прекрасной жизни.

В 1903 году он был арестован по доносу провокатора, одиннадцать месяцев просидел в тюрьме, использовав это время для глубокого изучения трудов Маркса и Энгельса. Из попыток жандармского управления создать дело, которое закончилось бы обвинительным приговором, ничего не получилось, ибо Аркадий Иванов тщательно соблюдал правила конспиративной работы. При обыске и аресте у него не было найдено никаких документов, доказывающих, что он принадлежит к подпольной партии.

Пять раз департамент полиции начинал против А. Ф. Иванова преследование и все пять раз вынужден был освобождать его «по недостаточности улик для предания суду». Едва освободившись из тюрьмы, Аркадий Иванов тут же снова принимался за партийную работу. Поскольку в Питере его знал в лицо чуть ли не каждый шпик, он перешел на нелегальное положение, уехал в Гомель, оттуда в Одессу, где его ввели в состав Одесского городского партийного комитета и избрали делегатом на V, Лондонский съезд партии.

Мы знаем уже, что во время возвращения в Россию многие делегаты V съезда партии были арестованы. В том числе и А. Ф. Иванов.

Его схватили на австрийской границе, когда он пытался перейти ее с паспортом на имя Потапова. Вместе с корзинкой и подушкой, которые он нес в руках, препроводили в петербургскую тюрьму. Там подушка была распорота, и в ней обнаружены записи, резолюции и прочие документы, связанные с только что закончившимся партийным съездом.

На суде Иванов заявил, что в Лондоне он не был, на партийном съезде не присутствовал. Что же касается обна-

руженных у него в подушке записей, то он сделал их в Вене под диктовку какого-то неизвестного ему лица. При этом Иванов так блестяще парировал доводы обвинения, что суд и на этот раз вынужден был его оправдать.

Весной 1910 года он был вновь арестован. Охранное отделение располагало обширными сведениями, поступившими от «наружного» и «внутреннего» наблюдения, о том, что А. Ф. Иванов являлся представителем Центрального Комитета большевистской партии в России, активно участвовал в нелегальной партийной работе, совершал объезды местных партийных организаций. Однако и на этот раз во время ареста не было обнаружено никаких уличающих Иванова материалов, и вместо грозившей ему каторги А. Ф. Иванов получил мягкий по тем временам приговор: ссылку на четыре года в Нарымский край под гласный надзор полиции.

В нарымской ссылке в то время находилось много видных большевиков. А. Ф. Иванов тотчас по приезде активно включился в общественную жизнь ссыльных и дважды был арестован за свою партийную работу и устройство первомайской демонстрации.

Там, в ссылке, А. Ф. Иванов встретился с молодой девушкой — работницей из Выборга, сосланной в Нарым за помощь, которую она оказывала партии. Ее арестовали такой молодой, что, когда она вышла из тюрьмы, все ее платья оказались ей коротки и тесны. Образования она не получила почти никакого и к тому же плохо говорила по-русски. А. Ф. Иванов с ней занимался. Потом она стала его женой.

Арестованные по одному делу, они одновременно оказались в Томской тюрьме. В тюрьме родилась их дочь Люба.

Там же они обвенчались — в тюремной церкви с окнами, затянутыми решетками.

Летом 1914 года Аркадий Иванов, отбыв срок ссылки, поселился в Томске. «После десятилетнего плавания по бурному житейскому морю моя утлая ладья приткнулась внезапно к берегу, —



писал он в письме петербургским друзьям. — Надолго ли? Не знаю...»

Ненадолго, совсем ненадолго. Вскоре началась война. В вопросе об отношении к войне А. Ф. Иванов полностью поддержал позицию Ленина. На письмо своих друзей из Питера: «Что делать?» — он отвечал: «Да делать то же, что мы делали всегда и особенно интенсивно должны делать сегодня», то есть продолжать работу партии и оказывать сопротивление войне.

Вместе со своими сотоварищами-большевиками, съехавшимися в Томск из различных ссылок Сибири, А. Ф. Иванов работал над созданием Томского комитета партии. При комитете была организована подпольная типография, выпускавшая прокламации с призывами: «Война войне!», «Мир хижинам — война дворцам!».

Когда в Томск пришли известия о Февральской революции, томские большевики выступили с программой действий, направленных на расширение революции. А. Ф. Иванов встал во главе революционной милиции. Он занялся разоблачением провокаторов, создавал при милиции дружины для обеспечения общественного порядка.

Особенно развернулась деятельность А. Ф. Иванова после Октябрьской революции. Он снискал любовь трудящихся и ненависть врагов.

Во второй половине мая 1918 года в Сибири начался контрреволюционный мятеж чехословацкого корпуса, эшелоны которого были раскинуты по всей железнодорожной магистрали от Волги до Тихого океана. А. Ф. Иванов был в это время членом сибирского советского правительства, сокращенно называвшегося Центросибирь.

Самуил Чудновский, который сидел в одной камере с Аркадием Ивановым до той минуты, когда Аркадия увезли на казнь, рассказывал близкому другу семьи Ивановых, Ксении Павловне Чудиновой, о последних месяцах жизни Аркадия Федоровича:

— Нет, Ксения, ты даже и представить не можешь, какой это был человек... В конце мая 1918 года я приехал с броне-

поездом в Иркутск. Аркадий работал в Центросибири и пользовался как в партийных кругах, так и среди населения огромным авторитетом. В Иркутске и во всей Сибири началось восстание чехословаков. Иванову и Янсону было поручено вести переговоры с восставшими чехами. Тут я увидел, какая колоссальная партийная сила товарищ Иванов. С чехами он держался независимо, с большим достоинством, ни по одному принципиальному вопросу не уступал...

На советскую делегацию была возложена тяжелая, почти невыполнимая задача: образумить белочехов и ликвидировать восстание мирным путем. Переговоры ни к чему не привели. Чехи, действовавшие по указке интервентов, наглели с каждым днем и захватили почти всю сибирскую магистраль. Меньшевики и эсеры их поддерживали.

Советская делегация знала, что ее собираются арестовать и расстрелять, но продолжала вести переговоры, чтобы выиграть время и эвакуировать людей и наиболее ценное государственное имущество. Однако настал час, когда стало ясно, что дальнейшие переговоры бессмысленны. А. Ф. Иванов и его товарищи решили пробраться в Красноярск. По дороге почти все они были арестованы и встретились в Томской тюрьме.

Меньшевистско-эсеровское правительство, захватившее в то время власть в Сибири, заявляло, что арестованным большевикам не угрожает никакая опасность. Но это была ложь. В темную сентябрьскую ночь контрразведчики вывезли А. Ф. Иванова из тюрьмы; в контрразведке страшно его пытали. А несколько дней спустя расстреляли. Товарищи, знающие обстоятельства его гибели, говорили: «Он шел на смерть так же твердо и стойко, как шел на борьбу».

И тут со всей силой проявилось величие духа, присущее жене Аркадия Федоровича — Анне Андреевне. «Будь тверда», — писал ей Аркадий, уходя на казнь, и она доказала, что она достойная жена бесстрашного Аркадия.

Рискуя жизнью, она работала в томском партийном подполье и растила дочь Любу. Однако она не могла смириться

с мыслью, что не простилась с Аркадием перед смертью, что чужие руки предали его тело земле. С точки зрения холодного рассудка, ее действия могут показаться бессмысленными, но они продиктованы не рассудком, а самым высоким человеческим чувством — любовью.

Отдавая себе отчет в опасности, А. А. Иванова отправилась в контрразведку и потребовала, чтоб ей указали могилу Аркадия и разрешили вырыть его тело и заново похоронить.

Сопровождавший ее товарищ Н. Г. Котов был потрясен, слушая ее разговор с начальником контрразведки.

«Этот разговор воспроизвести вообще невозможно, — рассказывал он. — Это был настоящий бой большевички с белогвардейцем, и меня просто страх обуял, когда я его слушал. Ведь, по существу, Анна Андреевна была в таком положении, когда этот офицер — начальник кольчугинской контрразведки — мог сделать с ней что угодно...»

В конце концов офицер согласился: «Ну, идите». Их вывели и в простой крестьянской кошевке в сопровождении конного конвоя повезли из Кольчугина куда-то в лес. Ночь. Кошевка сначала ехала по направлению к вокзалу, потом свернула и поехала среди маленьких березок. Но вот где-то вдали замерцал свет. Вырытый гроб стоял на розвальнях. На лице и на теле Аркадия Федоровича были следы страшных ударов прикладами и несколько пулевых ранений. Он лежал в гробу, голова его была повернута гордым движением, в котором чувствовалось презрение, с каким он смотрел на тех, кто его расстреливал.

Анна Андреевна с помощью Котова предала земле тело своего погибшего мужа. На могиле они установили столб с прибитой к нему жестяной доской, на которой было написано, что здесь покоится тело такого-то, расстрелянного тогда-то. Но если б было возможно, она написала бы слова стихотворения, посланного Аркадием Ивановым еще в 1914 году его родным:

Буря за бурей, гроза за грозою!..
Столько погибших борцов!..
Столько надежд под могильной плитою...

5

Рассказывая о судьбе большевистских семей, мы рассказали о судьбах, исполненных глубокого трагизма.

Это, разумеется, не случайно: так было в подлинной жизни.

Но бывали и семьи, жизни которых складывались поиному. Такова была семья уже известного нам профессора-астронома Павла Карловича Штернберга.

Мы расстались с ним, когда он совместно с группой соратников занимался составлением карты Москвы для нужд будущего вооруженного восстания. Охранка не распознала истинного характера работ по «измерению аномалии силы тяжести путем нивелир-теодолитной съемки», и работы эти были благополучно завершены.

После поражения революции 1905 года Московское Военно-техническое бюро было ликвидировано; П. К. Штернберг внешне отошел от активной подпольной работы, но по данным «внутреннего наблюдения», а также по сведениям, которые поступали от «черного кабинета», занимавшегося перлюстрацией писем, охранка догадывалась, что на самом деле он поддерживает связи с партийным подпольем и с заграничными партийными центрами.

Поэтому П. К. Штернберг был окружен неусыпным наблюдением. Характерен эпизод, о котором рассказывает его дочь, Елена Павловна Штернберг, относящийся ко времени, когда рассказчице было около пяти лет.

Однажды вечером, когда все взрослые ушли из дому и дети остались на попечении няньки, вдруг раздался звонок, и в детскую влетел какой-то человек, который представился детям как их дядя и буквально очаровал ребят своим интересом к их куклам и игрушкам, а также и к тому, кто бывает у них в доме, куда и когда уходит папа.

«Нечего и говорить, что мы, захлебываясь от восторга, старались все ему выложить, — рассказывает Е. П. Штернберг. — Затем он заинтересовался семейными альбомами и выхватил оттуда карточку отца, после чего быстро исчез.

Мы были удивлены тревогой взрослых, вызванной этим визитом. Лишь много лет спустя я узнала, что это был шпик, не побрезговавший заставить наивных глупышей в какой-то мере предать своего отца, а карточка понадобилась для охранки».

Каким-то образом охранка проведала, что в астрономической обсерватории, в которой работал Штернберг, припрятано оружие. И решила произвести в обсерватории обыск.

Полицейские заявились в обсерваторию как раз в тот момент, когда Павел Карлович вместе со своим сотрудником Н. Ф. Преображенским проверяли это оружие.

«Проверяем мы оружие, — рассказывает в своих воспоминаниях Н. Ф. Преображенский, — и вдруг слышим, кто-то входит в первую комнату, где стоят часы точного времени. Павел Карлович вышел и видит там... околоточного надзирателя с каким-то штатским, очевидно шпиком. Павел Карлович, как всегда, не растерялся и спокойным голосом возмущенного ученого сказал им: «Что вы делаете? Да знаете ли вы, что от одного повышения температуры от вашего тела изменится качание маятника, и время во всей России станет неверным!» Те, не ожидая такого эффекта от своего прихода, начали извиняться и поспешили выйти и уже вне здания обсерватории начали расспрашивать Штернберга о возможности сокрытия в стенах обсерватории нелегальных запасов. «Что вы говорите? Да кто же посмеет нарушать исключительного значения и точности определение времени, принося сюда посторонние предметы?! Кто сюда, в это святая святых науки, может проникнуть?!» Тем показались убедительными доводы профессора, они поспешили извиниться и ретировались, «пока не остановилось время во всей России».

Так охранка ничего не доискалась, хотя П. К. Штернберг во все эти годы не прерывал подпольной работы, и в книге, которую вела Н. К. Крупская, среди самых надежных и наиболее конспиративных российских адресов значился и такой: «Москва, Пресня. Астрономическая обсерватория. Павел Карлович Штернберг».

Внешне же П. К. Штернберг жил обычной профессорской жизнью, занимал при обсерватории большую квартиру, окруженную огромным садом, имел семью — сыновей и маленькую дочку, которая в своих воспоминаниях рассказала немало интересного о Павле Карловиче, запомнившемся ей «не как революционер, ученый, педагог, а просто как папа».

Но в том, каким был этот «папа», проявился П. К. Штернберг и как ученый, и как педагог, и прежде всего как революционер.

Первый случай, который вспоминает Е. П. Штернберг, относится ко времени, когда ей было лет пять. Видимо желая, чтобы она с самого раннего возраста приучилась делать в доме что-нибудь полезное, Павел Карлович возложил на нее обязанность утром, к завтраку, готовить кофе, объяснив ей, как это делают.



«Все это я выполняла в точности и гордилась этим поручением, — рассказывает она. — И вдруг в какой-то несчастный день напал на меня каприз. Я дерзила, грубо заявила, что варить кофе не буду — «вари себе сам», и при этом со злорадством думала, что он будет меня упрашивать, так как без моих услуг останется без кофе. Вероятно, при его вспыльчивости ему больше всего хотелось бы как следует отшлепать меня, но он ограничился тем, что схватил меня за плечо, как былинку перетащил из столовой в другую комнату и, поставив перед зеркалом, сказал: «Посмотри на себя сейчас же в зеркало». — «Не буду смотреть!» — «Сейчас же посмотри!»

Последний окрик был таким грозным, что я не посмела ослушаться.

«Смотри, какая ты «красивая»: злая, красная, надутая. Никогда больше такая злая девочка не будет варить мне кофе, сам себе буду варить. . .»

Всего этого девочка никак не ожидала. Горю ее не было

границ, она рыдала на весь дом, умоляла простить ее. Отец простил — и больше таких выходок девочка не совершала.

Другой запомнившийся ей случай связан с вечной проблемой, которая встает нередко перед детьми: в чем состоит честность по отношению к товарищам?

Дело было так. В кустах сирени, росших в саду, ребята нашли браунинг с патронами, завернутые в пожелтевшую газету 1905 года. Память о первой русской революции была еще свежа; ребята сразу догадались, что этот револьвер переброшен через забор каким-то революционером, который, спасаясь от полиции, избавился от опасной улики.

Легко представить себе волнение и интерес, рожденные такой таинственной и романтической находкой. Мальчишки решили утаить ее от взрослых и, забравшись в самый укромный уголок сада, взорвали несколько патронов. А девочка испугалась и потихоньку рассказала все няне. Та доложила родителям. В обсерватории поднялся ужасный переполох. Старший дворник, неся на вытянутой руке револьвер и патроны, завернутые во все платки, которые были в наличии, «чтобы не взорвалось», направился в полицию. Матери рыдали на все голоса, что их сыночки могли остаться без глаз и без рук, отцы были взбешены такой шалостью.

«Все кары, которые выпали на долю мальчишек, — рассказывает Е. П. Штернберг, — были перенесены ими со свойственным настоящим мужчинам стоицизмом. Не наказания терзали их, терзала жажда мщения. Кто предатель? Няня, спасая меня, уверяла, что она подсмотрела за ними, но никто ей не верил. Общее решение было: найдем предателя — устроим «темную». ...Для этой цели моими братьями уже была похищена старая мамина шаль. А я потеряла сон и аппетит. С одной стороны, боялась возмездия и презрения за предательство, сама страдала, что «нафискалила», а с другой стороны, слыша бесконечные предположения о возможных увечьях, чувствовала какую-то свою правоту. Противоречия, с которыми мой маленький мозг не мог справиться, измучили меня. И я решила обратиться к тому, кто являлся для меня наивысшим авторитетом.

Для этой цели я подкараулила отца на дворе, когда он направлялся в обсерваторию, так как боялась, что дома нас кто-нибудь услышит, и как умела рассказала про все свои сомнения. Он отнесся к моему рассказу очень серьезно, задумался и не сразу дал ответ.

— Неладно получилось, — сказал он, подумав. — То, что ты рассказала няне, это правильно, ведь игра с патронами могла привести к большой беде, а вот неладно то, что сделала ты это потихоньку от ребят: надо было их предупредить, что если они не прекратят это безобразие (любимое папино слово), ты расскажешь все взрослым. Ну, уж если сделала ошибку, надо ее исправить. Пойди к своим приятелям и расскажи все честно.

— Как — рассказать?! — вскричала я в ужасе. — Ведь они меня поколотят, они сделают мне темную.

— Что же делать? Наверно, отдуют. Но вот в этом-то и будет заключаться твое гражданское мужество».

Гражданское мужество? Что это такое? Девочка впервые слышала это выражение.

В доступных ребенку ее лет словах П. К. Штернберг терпеливо растолковал ей значение понятия «гражданское мужество» и, видя, что она все же колеблется, добавил уже строго: «Иди, иди сейчас же, расскажи им все и не прячься за спину няни».

И она пошла и рассказала. Мальчишки были так ошеломлены ее смелым признанием, что даже забыли ее поколотить, а у нее словно гора свалилась с плеч.

Еще один случай, относящийся ко времени, когда Е. П. Штернберг училась уже в старших классах гимназии.

Была у них учительница рукоделия, забитое существо, не имевшее у детей никакого авторитета. Пользуясь ее беззащитностью, дети с той неосознанной жестокостью, которая бывает им свойственна, всячески над ней издевались. В числе главных зачинщиц была Лена Штернберг.

Однажды во время урока она заявила, что она больна пляской святого Витта и, выскочив на середину класса, стала под общий хохот кривляться, изображая эту «пляску».

В этот момент в класс вошла начальница гимназии и потребовала от девочки, чтобы она извинилась перед учительницей. Та отказалась: «Стану я просить извинения у какой-то Лизки...»

На учительском совете вопрос был поставлен ультимативно: либо девочка в недельный срок извинится перед учительницей, либо ее исключат из гимназии.

— Ну, и что же ты решила делать?—спросил П. К. Штернберг, когда дочь рассказала ему обо всем.

— Конечно, не извинюсь! Очень мне нужно! Пусть исключают.

К ее удивлению, отец не сказал ни слова. Но в каждый день этой мучительной для нее недели отец за обедом задавал все тот же короткий вопрос:

— Ты извинилась?

И она все так же вызывающе-дерзко отвечала:

— Нет!

Он на это ничего не говорил. Быть может, не знал, как к ней подойти? Или, быть может, надеялся, что она сама одумается и лучшие стороны ее натуры возьмут верх?

А она продолжала фанфаронить, хотя на душе скребли кошки: и в другую гимназию переходить не хотелось, а главное — мучило поведение отца, его кажущееся безразличие.

Наступил последний день данного ей срока. За обедом отец, как всегда, спросил: «Ты извинилась?» И услышал то же дерзкое: «Нет!»

И тут он высказал все. При этом не кричал, говорил спокойно, даже холодно, но весь тон его был полон пренебрежения и даже презрения к дочери.

— Ты ходишь задрав голову и чувствуешь себя героиней, — говорил он. — Дешевое же твое геройство. Ты прекрасно знаешь, что родители не дадут тебе остаться неучем, переведут в другую гимназию. Ты по-прежнему будешь сыта и одета. А понимаешь ли ты, что если ты не извинишься, то твоей учительнице, которую ты посмела так унизить, при существующих порядках придется уйти из гимназии? Ты, сытая, избалованная, из-за глупого бахвальства лишаешь че-

ловека куска хлеба. Вот ты как-то позволила себе передразнить ее, что она неправильно выражается. А в чем твоя заслуга, что ты правильно говоришь? Только в том, что ты окружена образованными людьми, которые всегда поправляют тебя. Что ты сделала в жизни? Принесла ли хоть кому-нибудь пользу, заработала ли хоть копейку денег? И ты смеешь издеваться над человеком, который всю жизнь трудится, лишь потому, что она — дочь рабочего, а ты — дочь профессора. Так ведь это мой труд, мой ум, а ты-то здесь при чем? Ты не хочешь извиниться перед обиженным тобою человеком потому, что мнение таких же глупых и бессердечных девчонок тебе дорого. Ты не смеешь вести себя так безобразно с другими учителями, а в отношении ее ты позволила себе выходку лишь потому, что она слабая и беззащитная. Какая низость! Мне стыдно, что у меня такая дочь...

«Он резко отодвинул от себя тарелку и ушел, не закончив обед, — рассказывает Е. П. Штернберг. — У меня точно пелена упала с глаз. Все предстало мне в ином свете: мое гордое презрение к исключению из гимназии — глупостью, мои издевательства над беззащитным человеком — жестокостью. Меня охватил жгучий стыд за свое недостойное поведение и щемящее чувство жалости к доброму, беззащитному человеку. Я не спала почти всю ночь, желая лишь одного, чтобы скорей наступил тот момент, когда я смогу принести учительнице свои извинения. Многое я передумала за эти бессонные часы, многое поняла, во многом изменила взгляд на свои взаимоотношения с окружающими».

Таким же строгим и принципиальным оставался Павел Карлович Штернберг и после того, как произошла революция и он занял крупные государственные посты. По-прежнему требовал он от детей достойного отношения к людям и к государству. Хотя он имел в своем полном распоряжении автомобиль, он никогда не пользовался им в личных целях, а только для служебных поездок. Как-то в 1919 году он пошел с дочерью в Большой театр. Спектакль окончился поздно; возвращаться домой надо было пешком далеко, на Пресню, где они жили. Дочь попрекнула отца, что он не

вызвал машину. На это он резко ответил, что не имеет права задерживать шофера для своего развлечения и тратить на себя бензин.

Надо вспомнить принципы дореволюционной школы, в основе которых лежали муштра, наказание, подавление личности ребенка, чтобы понять, что педагогические приемы П. К. Штернберга вырастали из всего его мировоззрения, требовавшего прежде всего воспитывать в ребенке *человека*. И поэтому хотя проблемы педагогики никогда не обсуждались подпольной партией, но в подходе к детям — своим ли, чужим ли — работники подпольной партии действовали с удивительным идейным единством.

Чего хотели они от детей?

На это можно ответить словами Ф. Э. Дзержинского, который говорил, что ребенок «должен в душе обладать святыней, более широкой и более сильной, чем святое чувство к матери или к любимым, дорогим людям. Он должен полюбить идею — то, что объединит его с массами... Он должен понять, что у всех окружающих, к которым он привязан, которых он любит, есть возлюбленная святыня... Это святое чувство сильнее всех других чувств, сильнее своим моральным наказом: «Так тебе следует жить, и таким ты должен быть...»

При таком воспитании дети становились соучастниками жизни родителей, — не просто детьми, а товарищами, друзьями. У них закалялась воля, вырабатывалась стойкость, помогавшая переносить многочисленные испытания, выпадавшие на долю детей революционеров. Появлялось страстное желание походить на своих родителей и их товарищей в борьбе.

6

Мне, автору этой книги, выпало счастье знать многих работников большевистского подполья, чьи имена навеки вошли в историю человечества.

Обязана я этим счастьем тому, что мои родители были

членами большевистской партии с самого ее основания: отец — с 1896 года, мать — с 1902 года.

Я видела своих родителей и их товарищей по партии сначала глазами ребенка, потом глазами подростка и взрослого человека. И сейчас, работая в архивах, я пытаюсь соединить то, что сохранила моя память, с тем, что рассказывают подернутые желтизной архивные документы.

Были они веселые, сильные, озорные. Бурно спорили, много курили, пили много чаю.

У них были теплые, добрые руки. В сказках, которые они мне рассказывали, Змей Горыныч расхаживал в жандармском мундире, а Иванушка-дурачок, женившись на царевне, говорил:

«И на черта нам с тобой, Марьюшка, это самое царство? Давай-ка лучше раздадим его и пойдем гулять вольными людьми по белу свету...»

Любимое их восклицание было веселое «Жив курилка!».

Любимое занятие — чтение. Даже в разгар самого бурного спора кто-нибудь непременно сидел в углу, уткнувшись в книгу. Книги торчали из карманов пальто и пиджаков. Всю обстановку комнаты могли составлять табуретки и колченогий стол, но на столе непременно лежали книги.

Они умели делать все: починить, пришить, приколотить, сварить. Только не знали, сколько сахару надо класть в кашу, а манная каша получалась у них «с шишками».

И колыбельные песни пели неподходящие. Когда тебе поют песню, в которой веют враждебные вихри и смело и гордо поднимается знамя борьбы за рабочее дело, под нее не заснешь...

Были они веселые, были они храбрые, были мужественные и несгибаемые. Но сколько горького и трудного выпало на их долю!

Никто так хорошо не рассказывал о годах большевистского подполья, как Пантелеймон Николаевич Лепешинский. Помню, когда-то, в середине двадцатых годов, стоял он на

трибуне Зеленого театра Парка культуры и отдыха, ветер шевелил белоснежные кудри, глаза горели голубым огнем, слова звучали молодым вдохновением и бесконечной верой в прошлое, в настоящее, в будущее!

7

Весной 1926 года московский суд рассматривал совершенно необыкновенное дело. На скамье подсудимых сидела полуслепая старуха, сгорбившаяся, приниженная. Казалось, один вид ее должен был вызвать сочувствие. Но нет! Редко случалось, чтоб обвиняемого окружала такая атмосфера общей ненависти и омерзения.

Этой обвиняемой была уже упоминавшаяся нами знаменитая провокаторша Анна Егоровна Серебрякова. На протяжении долгих лет Серебрякова вращалась в революционных кругах, работала в «Политическом красном кресте», носила в тюрьмы передачи, получала письма, передавала записки, была посредником между работниками партийного подполья и между тюрьмами и волей. И делала все это ради предательства, ради того, чтоб тут же доносить о доверенных ей тайнах охранному отделению.

Потрясенный зал затаив дыхание слушал речи обвинителя, показания свидетелей, показания самой обвиняемой. Перед ним вставали тени людей, погибших из-за предательства Серебряковой, не вынесших тяжких условий жизни в ссылке, замученных на каторге, повешенных и расстрелянных.

Вдруг в то время, когда один из свидетелей давал показания, послышался глухой стон. Совершенно седой человек с молодым еще лицом и скрюченными, искалеченными руками поднялся с места, направился к выходу и тяжело рухнул на пол. К нему подбежал врач. Но было уже поздно...

— Все кончено, — сказал врач. — Он умер... Разрыв сердца...

Человек этот был Николай Николаевич Авдеев. Мало кому пришлось пережить такую ужасную трагедию, какую пережил он.

Авдеев вступил в партию совсем молодым. Был арестован за пропаганду социализма и распространение прокламаций среди рабочих и студентов, выслан «на родину», оттуда скрылся, работал в подпольной типографии, снова был арестован, после тюрьмы перешел на нелегальное положение, работал в Москве, опять был арестован, уже в четвертый раз.

Где-то, то ли на подпольной явке, то ли на тюремном этапе, он встретился с молодой большевичкой Ольгой Александровной Дилевской. Они полюбили друг друга и стали мужем и женой.

Февральская революция застала Ольгу Александровну и Николая Николаевича в Сибири, в Тюмени. Там, в Тюмени, у них родилась дочь Ирочка.

Оба они были деятельными работниками Тюменской партийной организации, принимали участие в Октябрьской революции и установлении Советской власти.

В марте 1919 года в Тюмени создалось напряженное положение: насильственно мобилизованные колчаковцами солдаты подняли восстание, отказываясь служить правительству белогвардейцев.

Расправляясь с восставшими, колчаковцы решили заодно покончить с оставшимися в городе большевиками, и в первую очередь с Авдеевым и Дилевской. Ольга была арестована дома и тотчас отправлена в контрразведку. Авдеева арестовали в типографии Союза потребительских обществ. Типография находилась на Базарной площади, где в то время начался расстрел насильственно мобилизованных.

В контрразведке, куда его привезли, Н. Н. Авдеева провели в комнату, в которой сидела арестованная Ольга.

— Я чувствую, что нас расстреляют, — сказала она. — Меня беспокоит участь дочки. Нам не нужно было иметь ребенка.

Он пытался успокоить ее, но она была полна тревоги.

Еще до ареста написала она своему близкому другу А. Н. Ногиной письмо, в котором просила позаботиться об Ирине.

«Вот только о чем я хотела просить вас, — писала она.— Когда меня не будет, ласкайте Ирочку, как это делала я, и утром, и вечером, когда она будет ложиться спать. Быть может, она в этом отношении немного избалована, но мне невыносимо тяжело будет думать, что она лишена нежной ласки. Думаю, что в вашем сердце найдется любовь нежная и для нее. Вот и все, что я хотела сказать. Слова тусклые и бледные, но не к чему их подыскивать. Чувство слишком глубоко и интимно, передать его не умею. Поймите инстинктом и полюбите Ирину...»

Ночью Дилевскую и Авдеева вместе с еще тремя арестованными повели на расстрел. Колчаковцы, которые были трусливы, как и все подобные палачи, хотели изобразить дело так, что это был не расстрел, а убийство при попытке к бегству. Поэтому они повели обреченных на казнь на Базарную площадь, и командовавший расстрелом подпоручик Константинов дал команду: «Стой!.. Снимай одежду, готовься к расстрелу!..»

Защелкали ружейные затворы... Раздался залп. Н. Н. Авдеев упал, но несколько мгновений спустя очнулся. Он лежал на боку, чувствуя страшную боль в правой руке и в спине, чувствуя, как льется кровь. Что же с Ольгой? Она упала тут же, рядом... Мертвая...

Палачи прошлись среди своих жертв, добивая их штыками. Авдееву удар штыком пришелся в спину. Он не вскрикнул, и это спасло его. Палачи сняли со всех обувь, верхнюю одежду, шапки. Авдеев напряг всю волю, чтоб не вскрикнуть, когда с него стаскивали башмаки и штыком обрывали шнурки. На его счастье, одежда была так пропитана кровью, что ее не стали снимать.

Грабеж кончился. Поручик с подручными куда-то скрылись — вероятно, за подводами, чтобы увезти трупы.

Только мысль о том, что это подлое убийство должно стать достоянием гласности, заставила Авдеева попытаться спастись.

«Но есть ли у меня силы, чтобы уйти с этого лобного места? — спрашивал он себя. — Трудно не только встать, но даже сесть: кружится голова, ломит руки, спину... Наконец сел... Оглянулся... Рядом со мной трупы товарищей, и среди них труп Ольги... Стискиваю зубы, чтобы не вскрикнуть от внутренней боли... Опираюсь на плечо Ольги и встаю на колени... Кружится голова... Но вот еще усилие, и я на ногах... Качает из стороны в сторону... Однако надо идти... Но куда? К знакомым нельзя: подведешь... Пойду к себе домой: пусть будет, что будет... Прощай, дорогая и милая Ольга!..»

Шуршат листки бумаги, глядит с выцветшей фотографии прекрасное лицо Ольги Дилевской; свет настольной лампы падает на портрет Аркадия Иванова. В памяти моей возникают образы тех, кого я знала, и тех, о ком мне известно лишь по документам и по рассказам их друзей и близких.

И я думаю о том, где же почерпнули они силы, чтобы с таким потрясающим мужеством выдержать все выпавшие на их долю испытания?

Я думаю об этом, думаю... И прихожу к выводу: в любви!

В любви к ближним и в любви к дальним. В той любви, о которой писал из тюрьмы молодой Дзержинский:

«...Путь мой остался все тот же; как раньше я ненавидел зло, так и теперь ненавижу; как и раньше, я всей душой стремлюсь к тому, чтобы не было на свете несправедливости, преступления, пьянства, разврата, излишеств чрезмерной роскоши... угнетения, братоубийственных войн, национальной вражды...

Я хотел бы обнять своей любовью все человечество, согреть его и очистить от грязи современной жизни...»

Глава седьмая

ПОД ОДНОЙ ЗВЕЗДОЙ...

1

«В явлениях природы северных окраин Сибири часто можно наблюдать крайности. Так, например, осенью и даже зимой бывают ночи то темные, как бездна, то серебристо-белые, светлые, как день...»

Так начинает старый деятель большевистской партии А. Цветков свой рассказ о годах, проведенных в Приангарской ссылке.

Однажды он и его молодой товарищ Сергей отправились на охоту в тайгу. Заночевали. Натаскав хвороста, разложили костер. Вскоре из-под сучьев стали пробиваться огненные языки, сливаясь в сплошное пламя. Огонь все ярче и ярче освещал место привала.

А в нескольких шагах от костра, словно пропасть, зияла темная осенняя ночь.

Сергей, сидя у костра, глядел в огонь. На лице его лежала печать глубокой сосредоточенности.

— О чем ты, Сережа? — спросил его Цветков.

— Все о том же, — отвечал Сергей. — Ты посмотри, как окружает бездонная тьма ночи наш маленький оазис света вокруг костра. Посмотришь в бездну этой тьмы — и невольно начинают появляться невеселые, тоже темные мысли. В такие минуты кажется, что и наша партия является лишь маленьким оазисом света среди океана невежества, лицемерия и бесправия.

— Ты неправ, Сережа! Сгустившаяся вокруг нашего костра темнота не вечна. Настанет утро — и она рассеется. Так и в общественно-политической жизни... Наша партия держит верный курс. Хотя нас сейчас и мало, но мы верим, что будущее за нами...

Это было в тяжелое время, наставшее после поражения революции 1905 года. Ленин жил тогда за границей, в «дальней эмиграции». Но как ни далека была эта эмиграция, как ни отделяли Ленина от России границы, горы, моря и реки, партия слышала его голос, чувствовала его присутствие и участие в каждом событии своей жизни.

Приезжему из-за рубежа первым долгом задавали вопрос: видел ли он Ленина? Встречаясь между собой, говорили: «Вчера получено письмо от Ленина...» Или: «А знаете, что думает Владимир Ильич по этому поводу?» Или: «Приходите, сегодня будет делать доклад товарищ, который побывал у Владимира Ильича...», «Ленин пишет...», «Ленин считает...»

Яков Михайлович Свердлов, который всю жизнь провел в России — то в подполье, то в тюрьмах и ссылках — и впервые встретился с Лениным после революции, рассказывал, что у него была сложившаяся еще в молодые годы привычка: перед тем как заснуть, «поговорить» с Лениным — отчитаться перед ним в прожитом дне, посмотреть на все сделанное «ленинскими глазами», выслушать его критические замечания, найти вместе с ним правильные решения.

Но Ленин был для Свердлова и других товарищей не только Лениным. Как писал А. Шлихтер, «для нас, местных подпольщиков, не бывавших в эмиграции и не работавших под его непосредственным руководством за границей, това-

15*

рищ Ленин и тогда уже был не только и не просто Ленин, а именно «Ильич». Его авторитет и обаяние, как нашего большевистского вождя и товарища, в лучшем смысле этого слова, уже тогда прочно закрепили в нашей партии отношение к товарищу Ленину, как близкому, родному, нашему Ильичу...»

2

Нелегко было Владимиру Ильичу уехать из России, расстаться с соратниками, с непосредственным руководством борьбой. Никогда еще не была так постыла ему жизнь в эмиграции.

— У меня такое чувство, точно в гроб ложиться сюда приехал, — сказал он, проходя вместе с Надеждой Константиновной по ставшим ему чужими улицам Женевы.

В России наступила долгая, душная эпоха контрреволюции. Каждый день приносил вести о смертных приговорах, арестах, разгромах партийных организаций, гибели товарищей.

«Революционеров истребляют, пытают и мучат, как никогда, — писал тогда Ленин. — Революцию стараются оплевать, опозорить, вытравить из памяти народа».

Как всегда в такие тяжелые эпохи, подняли головы мещане, трусы, отступники. В противовес революционному мировоззрению, прославляющему человека и его идеалы, они утверждали, что человек — лишь примитивное двуногое животное, которое действует под влиянием низменных побуждений.

Любовь? Любви нет, есть только половое влечение.

Дружба? То, что называют дружбой, на деле стадное чувство.

Идеи? Пустая болтовня.

Революционная борьба? Инстинкт толпы...

На все лады твердили они о том, что революция в России потерпела полное поражение. Что марксизм якобы «обанкротился». Что «не надо было браться за оружие». Вспоминая о днях своего увлечения революцией, один из тогдашних поэтов писал: «Как змей на собственную кожу смотрю на то, чем прежде был».

Такова была проповедь людей с мелкой, потухшей душой.

Иным, совсем иным было настроение рабочих.

Рабочие, писал Ленин, «говорят теперь или, по крайней мере, чувствуют все, как тот ткач, который заявил в письме в свой профсоюзный орган: фабриканты отобрали наши завоевания, подмастерья опять по-прежнему издеваются над нами, *погодите, придет опять 1905 год...*»

— Наше оружие не принесло нам победы! — кричали отступники и предатели. — Так выкинем оружие на свалку всякого хлама!

— Ни в коем случае! — восклицал Ленин. — Наше оружие не принесло нам полной победы. Так будем же учиться владеть этим оружием, и мы победим врага!

Распад, малодушие, неверие пышным цветом расцвели среди меньшевиков, все больше склонявшихся к линии «ликвидаторства».

«Ликвидаторы» считали нужным уничтожить (ликвидировать) подпольную партию, ее нелегальную организацию, которая, по их утверждению, вела только к провалам. Партия, говорили они, должна совершенно отказаться от подпольной работы и свести свою деятельность к участию в открытых, легальных организациях.

«Ликвидаторство» было полной сдачей позиций. Оно означало отказ от революционной борьбы, отказ от руководства рабочим движением.

В то же время часть большевиков ударилась в противоположную крайность: они признавали лишь нелегальную деятельность и выступали против участия не только в Государственной думе, но и в профессиональных союзах, больничных кассах и прочих организациях, которые были созданы буквально ценою рабочей крови.

Победа такой точки зрения привела бы к превращению партии в узкую, замкнутую секту, оторванную от рабочих масс.

Понятна поэтому страстная борьба, которую вел Ленин против своих «правых» и «левых» противников, против расплодившихся за границей групп и группочек, особенно активной среди которых была группа Троцкого.

Вопреки им всем, Ленин верил в грядущую революцию. Победу реакции он считал короткой и временной. Был убежден, что великая историческая драма, разыгравшаяся в России после Кровавого воскресенья, не окончена, что она разгорится с новой, еще большей силой.

Час нового революционного подъема недалек. Партия должна находиться в состоянии полной боевой готовности. А для этого она должна укрепить свою нелегальную организацию и в то же время использовать все легальные возможности, чтобы как можно шире и глубже связаться с массами рабочего класса.

Так думал Ленин.

Так думало вместе с Лениным подавляющее большинство партии.

История полностью подтвердила их правоту.

3

Трехлетие 1908—1910 годов было временем разгула черносотенной контрреволюции. Но уже в середине 1910 года начался заметный поворот. Увеличилось число забастовок, выросло количество бастующих рабочих.

В ноябре 1910 года умер величайший гений русской и мировой литературы Лев Толстой. Царское правительство подвергало его преследованиям. Он был «отлучен» от церкви и предан церковному проклятию — анафеме.

Смерть Толстого всколыхнула Россию. По всей стране прокатились волны студенческих и рабочих демонстраций. Повеяло свежим ветром. Все говорило о том, что усталость,

оцепенение, порожденные торжеством самодержавия, уходят в прошлое и широкие народные массы снова потянулись к активным революционным действиям.

Чтобы это революционное настроение превратилось в революционный подъем, нужен был какой-то толчок.

Так же, как в 1905 году, толчком оказался массовый расстрел безоружных рабочих: в 1905 году в столице, в Петербурге, перед царским дворцом; в 1912 году — на далеких Ленских золотых приисках, в глухой тайге, на крайнем севере Сибири, почти за две тысячи километров от железной дороги.

Хозяевами Ленских золотых приисков были английские капиталисты, их компаньонами — русские капиталисты, члены царской фамилии и царские сановники.

Ежегодная прибыль «Ленского золотопромышленного товарищества» доходила до 7 миллионов рублей. На приисках царил поистине каторжный режим: рабочий день был не меньше одиннадцати с половиной часов, заработная плата нищенская. Заработную плату выдавали не деньгами, а талонами в лавку. При этом рабочих постоянно обсчитывали, обвешивали и обмеривали, понуждали покупать червивое мясо, тухлую рыбу. «Золотопромышленное товарищество» было для рабочих не только хозяином, но и царем, и богом, и палачом, и тюремщиком.

В феврале 1912 года на Андреевских золотых приисках рабочим выдали по талонам червивую конину. В ответ на это вспыхнула забастовка, которая быстро охватила все прииски и превратилась во всеобщую. Был создан Центральный забастовочный комитет, руководство которым взяли на себя большевики. Забастовочный комитет разработал программу требований: восьмичасовой рабочий день, увеличение заработной платы, отмена штрафов, улучшение продовольственного снабжения и условий жилья.

Правление «Ленского золотопромышленного товарищества» отклонило эти требования. Бастующим рабочим было

объявлено, что они уволены и должны очистить казармы, в которых они живут.

Это обрекало рабочих и их семьи на верную гибель от голода и холода. Забаррикадировавшись в казармах, рабочие не пустили туда полицию и не дали ей произвести выселение.

Забастовщиков запугивали и провоцировали. Но они держались стойко и непоколебимо.

Тогда царские власти, совместно с хозяевами прииска, решили расправиться с бастующими силой оружия. На прииски были вызваны войска. Темной ночью 3 апреля, когда все спали, полиция арестовала часть членов Центрального забастовочного комитета.

На следующее утро около трех тысяч рабочих двинулись на Надеждинский прииск, где находился прокурор, требуя освободить арестованных. Но там рабочих ждала ловушка: войска внезапно, без предупреждения, открыли стрельбу по невооруженной толпе. Двести семьдесят человек были убиты на месте, около двухсот пятидесяти ранено.

Ленский расстрел всколыхнул рабочее море России. Повсюду происходили стачки протеста.

Социал-демократическая фракция Государственной думы обратилась к правительству с запросом по поводу кровавой трагедии на Лене.



Отвечая на этот запрос, министр внутренних дел Макаров заявил:

— Так было, так будет...

Это значило: так расстреливали раньше, так же будем расстреливать и впредь.

Чудовищное заявление царского министра словно хлестнуло плетью по обнаженному сердцу рабочей России.

На фабриках и заводах, в письмах, которые присылали рабочие в свои профессиональные союзы, на митингах забастовщиков все чаще слышалось:

— Так было, но впредь так не будет!..

Революционное настроение превращалось в революционный подъем!

4

Огромная роль в этом подъеме принадлежит большевистским газетам, издававшимся в Петербурге, — «Звезде» и «Правде».

Первой стала выходить «Звезда». Но не ежедневно. Чутко уловив настроение рабочих, Ленин выдвинул план издания ежедневной массовой рабочей газеты. Рабочие стали проводить сборы на ее издание. Вскоре после Ленского расстрела



в «Звезде» появилось сообщение, что скоро начнет выходить ежедневная рабочая газета, которая будет выразительницей классовой борьбы пролетариата во всей ее полноте.

С огромным нетерпением ожидали рабочие выхода своей родной «Правды».

«Ждали этого дня еще за неделю, — рассказывал рабочий-деревообделочник на страницах своего профсоюзного журнала. — Точно сговорившись, спрашивали друг друга: «Какое сегодня число?» И так каждый день.

Один из рабочих вырезал на жестяной пластинке слова «Двадцать второе апреля», вставил их в фонарь и каждый вечер исправно зажигал.

Долго тянулась неделя. Наконец наступил день, когда можно было твердо сказать: «Дождались». В субботу ни разговоры, ни обед, ни работа — все не шло. А в третьем часу ночи уже стояли у ворот типографии вместе с газетчиками. Разумеется, у первого же газетчика забрали всю пачку и разделили между собой.

— Товарищи! — воскликнул кто-то. — Глядите, тут про нас написано! Ей-ей, про нас, маляров, да про нашего мастера, холера его съешь...»

В «Правде» сотрудничали крупнейшие партийные литераторы того времени. Непосредственное участие в руководстве ее изданием принимал В. И. Ленин.

«Душу» газеты составляли письма и корреспонденции рабочих: больше одиннадцати тысяч в год.

Рабочие рассказывали в них о своей жизни, и не только о материальных условиях существования, но обо всем, связанном с человеческим достоинством, с честью и совестью рабочего человека.

«У нас привыкли, видите ли, смотреть на рабочих, как на вьючное животное, которое без кнута не заставишь шевелиться, — писал рабочий Брянского завода в Екатеринославе. — Личность человеческая не ставится ни во что».

«Жизнь человеческая не ставится ни во что, — продолжали ту же мысль другие рабочие. — Не признаемся за людей, а считаемся вещью, которую можно выкинуть в любой момент...»

«Не мастера у нас, а какая-то конвойная команда. Не рабочие, а арестанты» — так рассказывал о порядках рабочий большого петербургского завода Барановского.

С горечью и негодованием говорили рабочие о судьбе пролетария в капиталистическом обществе:

«Все, что было лучшего в человеке, молодость и здоровье, принесешь в жертву хозяевам, а когда ты уже не нужен, тебя выбрасывают, как ненужный хлам».

Но это были не просто жалобы на тяжелую долю; в письмах все громче и громче звучали призывы к борьбе.

«Мы не рабы капитала. Мы — вольные рабочие. И пусть для нас солнце светит, как для богачей», «Как хотелось бы писать кровью своего сердца, а не чернилами, чтобы пробудить в сердцах хоть каплю сознания... Товарищи, дорогие товарищи! Смело идите навстречу правде и свету!»

Недаром после ареста одного из издателей «Правды» между ним и следователем, который вел дело, произошел такой разговор:

— Кто редактирует газету «Правда»? — спрашивал следователь. — Кто сотрудники газеты?

— Фамилия редактора печатается в каждом номере газеты, — последовало в ответ, — а сотрудничают в ней тысячи рабочих Петербурга и всей России.

В «Правде» Ленин видел орган «передовой рабочей демократии», призванный «дать образец и светоч всему народу». Через «Правду» партия обращалась к миллионам рабочих, защищала их повседневные нужды и показывала путь борьбы.

С величайшим нетерпением ждал Ленин выхода каждого номера. Читал, вникая в каждую заметку. Тщательно изучал

отчеты о денежных сборах в пользу «Правды» и определял, где, в каких районах России большевики пользуются влиянием, сколько идет за ними рабочих.

Ленин не просто радовался «Правде», он буквально ликовал, видя ее успехи.

«...А в России революционный подъем, не иной какой-либо, а именно революционный, — писал он Горькому.— И нам удалось-таки поставить ежедневную «Правду»...»

И «Звезда» и «Правда» были газетами легальными: обе они выходили с разрешения властей. Но трудно перечислить преследования, которым они подвергались.

Издателей, редакторов и авторов арестовывали, газету закрывали, запрещали, конфисковывали, налагали непосильные штрафы.

Однако эти преследования не достигали цели. Когда газету закрывали, она через несколько дней выходила под новым названием, напоминавшим прежнее.

«Звезду» сменила «Невская Звезда».

«Правду» последовательно сменяли «Рабочая Правда», «Северная Правда», «Правда Труда», «За Правду», «Пролетарская Правда», «Путь Правды», «Рабочий», «Трудовая Правда». Восемь раз «Правду» закрывали, восемь раз она меняла названия! И все это — за два года с небольшим!

Николай Гурьевич Полетаев, который наладил издание «Звезды» и «Правды», в одном из писем того времени описал, как почти каждую ночь в редакцию являлась полиция.

Дело дошло до того, что служащие и корректоры не хотели оставаться в «Правде» на ночь. И Полетаев просиживал в типографии ночи напролет, а корректором был его десятилетний сын Миша.

«Потом, — писал Полетаев, — рабочие, дождавшись первых отпечатанных экземпляров газеты, брали и уносили ее из типографии до прихода полиции; приходит полиция громить стереотипы, а мы с Минькой идем спать...»

5

Семья старейшего большевика, участника «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», Н. Г. Полетаева жила в те годы на так называемых «Песках». В этом же доме жила и я, автор этой книги. Было мне тогда одиннадцать лет.

В нашем доме и неподалеку от него поселилось еще несколько большевистских семей, и мы, ребята, постоянно бегали друг к другу, но чаще всего торчали у Полетаевых.

Перед домом вечно фланировали шпики, но и у нас в квартире, которую снимала моя мама, и у Полетаевых всегда бывало много большевистского народу.

Народ этот делился на «легалов», которые бывали у нас в самое разное время дня, и на «нелегалов», появлявшихся обычно к вечеру, когда стемнеет, и исчезавших среди ночи.



Из «легалов» наиболее частым гостем нашим был Василий Андреевич Шелгунов. Это был один из старейших большевистских рабочих, вместе с которым Ленин начинал свою социал-демократическую работу в Петербурге. Шелгунов организовал в конце прошлого века небольшой кружок за Невской заставой, и Ленин каждое воскресенье ездил в этот кружок разъяснять «Капитал» Маркса. Вместе с товарищами из кружка написал он первую в своей жизни прокламацию.

Василий Андреевич был слепой. От родителей мы слышали, что как-то, попав в очередной раз в тюрьму, он почувствовал острую боль в глазах. Тюремное начальство отказалось показать его врачу, и Василий Андреевич потерял зрение. Но и тогда он продолжал вести работу на пользу партии. Медленной походкой слепого он шел по петербургским улицам, постукивая палочкой, в которой был выдолблен желобок, и в нем спрятаны большевистские прокламации.

Когда начала выходить «Правда», Василий Андреевич сделался ее «зитцредактором». Слово это немецкое и означает «отсидочный редактор», то есть редактор, который сидит в тюрьме, когда газета не может уплатить непосильный денежный штраф.

Жизнь в нашем доме не замирала ни днем, ни ночью. В одних квартирах занимались всяческой «легальной» работой, в других — «нелегальной». Дела хватало на всех, в том числе и на нас, ребят.

Компанию нашу составляли сыновья жившего там же, на «Песках», Григория Ивановича Петровского — Петр и Леонид, Миша Полетаев, который требовал, чтоб мы звали его не Мишей, а Володей (это имя он принял в честь В. И. Ленина). А девочка была только я одна.

Мы относили в типографию «Правды» на Ивановской улице рукописи и приносили оттуда пахнувшие типографской краской, чуть влажные гранки; отправлялись то на Выборгскую сторону, то за Нарвскую заставу передать записочку или сказать на словах, что «Тимофей заболел», «Находка не любит абрикосов» или еще что-нибудь в этом же роде; переписывали крупными ученическими буквами длиннейшие письма со всяческими семейными новостями — Вася женится, тетя Клава купила дом, у Петюшеньки скарлатина. Между строк в эти письма после нас вписывался химическими чернилами секретный текст.

Само собой разумеется, мы не понимали смысла передаваемых нами загадочных слов и не знали назначения писем, что мы писали.

Выполняя поручения, мы чувствовали себя заправскими подпольщиками, а если выходили гурьбой на улицу, один из нас произносил вполголоса подслушанные у взрослых слова: «Гляди вправо, гляди влево и, не поворачивая головы, оглядывайся назад».

Как ни любили мы, ребята, бывавших у нас в доме «легалов», но «нелегалы» пользовались особым нашим уважением. Родители наши строго запрещали что бы то ни было о них спрашивать и по своей обычной родительской наив-

ности полагали, что мы ни о чем не догадываемся. Но мы с одного взгляда распознавали «нелегала», и стоило появиться какому-нибудь новому из них, как мы навастривали и глаза и уши.

Впрочем, один «нелегал» — быстрый, вечно голодный «товарищ Абрам» — забегал к нам довольно часто. Был он маленький, крепенький, как белый грибок. Едва он появлялся, как с первых же его слов выяснялось, что он «дьявольски устал», «зверски хочет спать» и «адски спешит». Перед ним ставили всю еду, какая имелась в доме, и он тут же начинал есть, непременно усадив на колени когонибудь из младших ребят, в то время как мы, старшие, разинув рты, заслушивались стихами Курочкина, которые он декламировал, или же фантастическими рассказами о путешествиях на Луну и другие планеты, где он обещал побывать вместе с нами.

Уже после революции я узнала этого «товарища Абрама» в первом Народном комиссаре по военным делам Николае Васильевиче Крыленко.

Н. В. Крыленко, видимо, был присущ особый дар: он умел покорять сердца детей, подростков, юношей.

Будучи выслан «на родину» в город Люблин, он сделался преподавателем литературы и истории в польских школах. Бывший его ученик, польский профессор Е. Эйбих, рассказывает в своих воспоминаниях об уроках Крыленко:

«Это были минуты, когда мы забывали обо всем, что нас окружало. Среди абсолютной тишины, обратившись в слух, мы упивались его уроками. До сих пор он стоит перед моими глазами, декламирующий вдохновенно и страстно, а в ушах, как далекое эхо, звучит постигаемая через него упоительная поэзия Пушкина».

Другой «нелегал», который крайне заинтересовал нас, ребят, появился в Питере в конце двенадцатого года. Он был худой, смуглый, в пенсне, сильно простуженный. Видели мы его, пожалуй, только один раз, когда он приходил к Полетаевым. Комнаты взрослых были наглухо закрыты, но все же нам каким-то образом стало известно, что «не-

легала» этого зовут «товарищ Андрей», что он бежал из ссылки, чтобы «поработать на подпольной волюшке».

Особенно заинтриговали нас случайно услышанные слова, что Андрей бежал «по веревочке». Эта «веревочка» означала заранее подготовленных и сменявших друг друга ямщиков, но нашему детскому воображению она представлялась чем-то вроде каната, по которому «нелегал» бесстрашно перебирался над высокими горами и бурно мчавшимися реками.

Несколько времени спустя этот «нелегал» появился у Петровских и в тот же вечер был арестован. Потом у взрослых был взволнованный разговор. Кто-то произнес похожее на длинную холодную змею слово «провокация». Кто-то другой между прочим вспомнил, что Роман Малиновский отдал «товарищу Андрею» (то есть Якову Михайловичу Свердлову, который и был так заинтересовавшим нас «нелегалом») свою меховую шапку.

Но никому не пришло в голову, что провокатором был Малиновский и что он обрядил в свою шапку Свердлова для того, чтобы агентам охранки было удобнее за ним следить.

6

Было бы очень интересно попытаться воссоздать день большевистской партии, взяв какой-то условный день, скажем, 1912 года.

Перед нашим умственным взором возникнет тогдашняя Россия с ее покосившимися избами и сиротливыми деревнями, дымными рабочими окраинами, тюрьмами и острогами. Мы услышим глухое постукивание станков подпольной типографии, произносимые вполголоса речи на нелегальных собраниях. Мы увидим бесконечные просторы Сибири, снега, тайгу. И разметанных по этой бесконечности ссыльных большевиков, живущих неумирающим внутренним огнем. Словно звезды в ночи. . .

... В этот день Владимир Ильич Ленин был в Париже. Быть может, в этот день он работал над своей статьей «Памяти Герцена». В этой статье он сопоставил три поколения, действовавшие в русской революции — «молодых штурманов будущей бури» — декабристов, революционеров-разночинцев и пролетарских революционеров. Он писал:

«Буря, это — движение самих масс... Первый натиск бури был в 1905 году. Следующий начинает расти на наших глазах...»

Чтобы ускорить наступление этой великой, очищающей бури, Ленин готовился к переезду поближе к России, в Краков. Оттуда он мог оперативнее руководить партийной работой и изданием «Правды».

В Россию Ленин ехать не мог: уже несколько лет он числился в списках «государственных преступников», подлежащих немедленному аресту.

С переездом Ленина в Краков была налажена быстрая, удобная связь с Россией, «Правдой», большевистской фракцией Государственной думы.

Снова Ленин чувствовал себя в столь дорогой ему стихии российской подпольной борьбы. Часто по вечерам он отправлялся пешком или на велосипеде к пограничной полосе, подолгу стоял под деревьями, глядя на восток, туда, где за горными цепями лежала Россия...

В этот день, как и всегда, в редакции «Правды» перебывало множество рабочих и работниц: кто приходил прямо с работы, кто забегал по дороге на работу, неся в «Правду» все свои горести, заботы, жалобы, пожелания. Почти каждый из них непременно заходил в маленькую комнату, прозванную «чистилищем», в которой сидела секретарь «Правды» Конкордия Николаевна Самойлова.

Она родилась в 1876 году и, будучи совсем молодой, начала свою революционную деятельность — занималась в студенческих кружках, участвовала в демонстрации на площади перед Казанским собором в Петербурге, была аре-

стована, просидела несколько месяцев в тюрьме. Это первое пребывание в тюрьме, по ее словам, навсегда определило ее жизненный путь.

Подпольную партийную работу она вела сперва в Твери. После провала Тверского комитета партии, выданного провокатором, она бежала в Екатеринослав. Полиция усердно ее разыскивала, подозревая, что она принимала участие в убийстве провокатора Волнухина. Зная о грозящей ей опасности, К. Н. Самойлова продолжала свою подпольную работу, организовала типографию, наладила распространение нелегальной литературы. Ее выследили; она была арестована на собрании рабочего кружка и препровождена в Тверь, где ее продержали в тюрьме 15 месяцев и вынуждены были освободить, так как она доказала, что никакого отношения к убийству провокатора не имеет.

Из Твери она уехала в Одессу. Там застала ее революция 1905 года. Там была она в дни восстания броненосца «Потемкин». Там пережила дни «свобод» и дни черносотенных погромов, организованных при непосредственном участии полиции.

В 1906 году она уехала в Москву, была членом Московского окружного комитета партии, жила и работала в самой гуще рабочей массы. Затем партия направила ее на работу в Баку, оттуда — в Луганск, оттуда — в Ростов-на-Дону. Там она была арестована, сослана в Вологодскую губернию, но две недели спустя бежала из ссылки, нелегально жила в Москве, затем в Петербурге, снова была арестована, просидела десять месяцев в одной из тяжелейших царских тюрем — «Литовском замке».

Дальше — работа в «Правде» и особенно дорогая и близкая ей работа среди женщин-работниц. Совместно с Н. К. Крупской и товарищами подготовила издание журнала «Работница».

Первый номер его должен был выйти в Международный женский день, 8 марта 1914 года, но провокатор Малиновский выдал редакцию «Работницы», и во время происходившего на нелегальной квартире заседания редакционной

коллегии ворвалась полиция, арестовавшая всех присутствовавших.

Снова тюрьма, снова высылка, снова кочевая жизнь большевика-подпольщика.

Февральская революция застала К. Н. Самойлову в Минске, но вскоре она переехала в Петроград и была одним из активных работников партии в период подготовки Октябрьского штурма.

В голодном, холодном, осаждаемом врагами Петрограде провела тяжелый 1918 год, посвятив свои силы работе среди женщин. В этом году ее постигло тяжелое горе: она узнала, что ее муж, которого она бесконечно любила, умер от сыпного тифа.

Она заболела, несколько недель была между жизнью и смертью. Но, едва выздоровев, снова отдалась работе.

В 1920 году К. Н. Самойлова поехала по Волге с агитационным пароходом «Красная звезда», выступала на митингах. Она была прекрасным оратором, и работницы готовы были слушать ее часами.

Когда пароход пришел в Астрахань, Конкордия Николаевна случайно встретила женщину, знавшую ее мужа и присутствовавшую при его смерти. От нее только теперь она узнала, что муж ее умер в Астрахани и был там похоронен. Это глубоко ее потрясло. Она заболела. В это время в Астрахани вспыхнула эпидемия холеры, и К. Н. Самойлова оказалась одной из первых ее жертв.

Всем, кто знал К. Н. Самойлову, запомнилось, как хорошо она выступала на рабочих собраниях; каким была верным товарищем, — уже после революции она прожила несколько месяцев в ванной комнате, уступив свою комнату товарищу, у которого был больной ребенок; как умела она подойти к самым темным, совсем неграмотным работницам и крестьянкам!

Яков Михайлович Свердлов в этот день 1912 года находился в Нарымской ссылке и готовился к побегу. Это был не первый и не последний его побег, но на этот раз под-

готовка его затянулась, так как незадолго до этого Свердлова арестовали и продержали четыре месяца в тюрьме по делу «о бунте ссыльных в Нарыме». Из-за этой задержки побег был предпринят только в конце августа, когда в тех местах уже наступает осень.

По плану, разработанному Свердловым совместно с товарищами по ссылке, он должен был подняться на маленькой лодке вверх по Оби навстречу шедшему из Томска пароходу, пробраться на пароход и с помощью машинной команды, с которой все было заранее договорено, добраться до Тобольска.

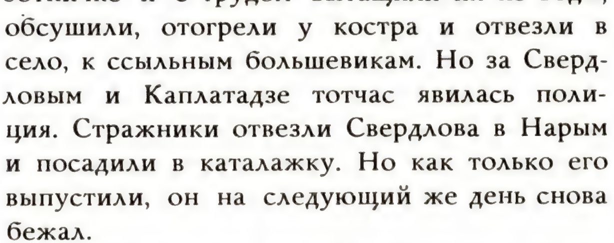
Погода была такая, что только человек безумной отваги мог решиться предпринять подобное путешествие в крохотной лодчонке по бушующей Оби, покрытой пенящимися волнами. Но Свердлов решился.

Больше суток он и его спутник Капитон Каплатадзе, не выпуская весел из рук, ожесточенно боролись против ветра, волн и течения. Но вот один из них, ослабев, сделал неверное движение, лодка перевернулась, беглецы очутились в воде. Каплатадзе плавать не умел. Свердлов подхватил его и, держась за лодку, напрягал все силы, чтобы доплыть до берега.

На счастье, крушение произошло неподалеку от того места, где Свердлова и Каплатадзе поджидали товарищи, в том числе ближайший друг Свердлова — Иван Чугурин. Там же у костра сидели местные крестьяне.

Когда они услышали крик о помощи, они подплыли на недоделанном ботничке и с трудом вытащили их из воды, обсушили, отогрели у костра и отвезли в село, к ссыльным большевикам. Но за Свердловым и Каплатадзе тотчас явилась полиция. Стражники отвезли Свердлова в Нарым и посадили в каталажку. Но как только его выпустили, он на следующий же день снова бежал.





Побег и на этот раз был неудачным, но это не обескуражило Свердлова: когда настала

зима, он сумел все же бежать и оказался в Петербурге, где тотчас же включился в работу «Правды» и русского бюро ЦК.

Но недолго довелось ему погулять на «подпольной волюшке»: провокатор Малиновский выдал его полиции. Он был снова арестован и снова сослан — теперь уже в самые отдаленные места отдаленнейшего Туруханского края.

Трудно было тут не пасть духом, но Свердлов, как и всегда, оставался бодр и полон оптимизма. Получив на исходе трех лет тяжелейшей Туруханской ссылки письмо из Петербурга от молодой девушки, поддавшейся модной среди части тогдашней молодежи болезни «неверия в идеалы» и жаловавшейся, что она не видит в жизни смысла, Свердлов отвечал: «Хорошая штука жизнь! От души желаю Вам почаще непроизвольно восклицать, ощущать радость жизни. . .»

В другом письме к этой же корреспондентке он разъяснял, в чем состоит основа его жизнерадостности: она в миросозерцании, которое дает бодрость при самых тяжелых условиях. «При моем миросозерцании,— писал он,— уверенность в торжестве гармоничной жизни, свободной от всяческой скверны, не может исчезнуть. Не может поколебаться и уверенность в нарождении тогда чистых, красивых во всех отношениях людей. Пусть теперь много зла кругом. Понять его причины, выяснить их — значит понять его преходящее 193
значение. . .»

Георгий Константинович («Серго») Орджоникидзе в этот день отбывал каторжный приговор в Шлиссельбургской крепости. Михаил Васильевич Фрунзе заканчивал пятый год своего каторжного срока, который провел во Владимирском, Николаевском и Александровском каторжных централах. Феликс Эдмундович Дзержинский, арестованный в Польше, ждал суда, приговорившего его за побег из ссылки к трем годам каторги, которую он отбывал в Орловском каторжном централе. Прокофий Апрасионович («Алеша») Джапаридзе находился в ссылке в Великом Устюге. Григорий Иванович Петровский выступал перед рабочими — выборщиками в Госу-

дарственную думу по Екатеринославской губернии. Степан Григорьевич Шаумян жил под гласным надзором полиции в Астрахани и вел нелегальную переписку с Лениным. Николай Васильевич Крыленко налаживал большевистские подпольные связи. Василий Андреевич Шелгунов в очередной раз сидел в «Крестах», отбывая тюремное заключение, чтобы «Правде» не пришлось платить наложенный на нее денежный штраф.

В этот день по глухой приленской тайге, среди тысяч верст бездорожья и безлюдья, пробирался небольшой отряд, вооруженный самым разнокалиберным, частью даже самодельным, оружием. Первой мыслью, которая возникла бы у того, кто его увидел, было бы предположение, что это — совершившие побег ссыльные или каторжане. Но если б это было так, отряд пробирался бы к югу, к железной дороге, а он шел на север, только на север.

В чем же дело? Что за отряд это был? Куда и зачем он стремился?

Это действительно были ссыльные, и они действительно совершили побег. Но целью этого побега была не личная свобода, не возвращение в Россию и не попытка перейти границу и уехать в Японию, Австралию, Соединенные Штаты.

Цель была другая: добраться до Бодайбо, до знаменитых Ленских приисков, чтобы поднять на борьбу рабочих этих приисков, над которыми только что была учинена чудовищная расправа, вошедшая в историю под именем «Ленской бойни».

Вдохновителем отряда, его организатором и командиром, был бывший студент Московского университета, большевик, профессиональный революционер Евгений Михайлович Комаров.

О его жизни мы знаем совсем немного. Знаем, что он родился во Ржеве, еще юношей вступил в партию и стал большевиком, организовал типографию, в которой печата-

лась газета Московского комитета партии «Голос труда». Знаем, что он принимал активное участие в Декабрьском вооруженном восстании в Москве, сражался на баррикадах, одним из последних покинул горящую, подожженную семеновцами Пресню. Человек со страстной, огненной натурой, он сделался убежденным боевиком и с начала 1906 года принял деятельнейшее участие в работе Московского Военно-технического бюро, готовившего оружие и боевую силу для будущего восстания.

Несмотря на царивший в Москве полицейский террор, работа Московского Военно-технического бюро быстро приняла широкий размах. Однако охранному отделению удалось заслать в среду его работников агента-провокатора, с холодной расчетливостью предававшего одного боевика за другим. Этим провокатором была некая Ольга Федоровна Пузято — маленькая, хрупкая женщина, вечно жаловавшаяся на плохое здоровье и не стеснявшаяся брать «в долг без отдачи» последние деньги у тех самых людей, которых она тут же выдавала охранке.

Охранка приступила к тому, что она называла «ликвидацией». Однако она соблюдала величайшую осторожность, оберегая от подозрений своего агента. Сначала — это было в конце марта 1906 года — было одновременно произведено два обыска. Один в Москве, в комнате двадцатилетнего студента химического факультета Московского университета Александра Чесского. Обыск не дал результатов, но Чесский был арестован. Из тюрьмы он бежал, перешел на нелегальное положение, продолжал свою работу в петербургской Боевой организации, создал в Финляндии, неподалеку от границы, школу-лабораторию, в которой обучал рабочих-боевиков теории взрывчатых веществ и разрывных метательных снарядов и практическому с ними обращению, был снова выдан провокатором, арестован, отправлен под усиленным конвоем в Петербург, помещен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости, предан военному суду и умер, не выдержав тяжелых условий содержания в крепости.

Второй обыск был произведен в деревне Выхино, неподалеку от станции Вишняки, в доме, в котором проживал человек, прописанный по фальшивому паспорту на имя Петра Ивановича Журковского.

Самого «Журковского» полиция не застала, но обнаружила в его комнате больше двух пудов взрывчатки, несколько револьверов и двадцать чугунных металлических гирь с полыми шарами, которые явно предназначались для того, чтобы служить оболочками для бомб.

Через провокаторшу Пузято охранка знала, что «Журковский» — это Евгений Комаров, и установила за ним тщательное наружное наблюдение. Он был арестован на улице. При аресте у него был обнаружен детально отделанный чертеж ручной бомбы и несколько чертежей ударных трубок, а также письмо со скрытым химическим текстом и ряд рукописей, посвященных тактике вооруженной революционной борьбы и метанию бомб.

После трех лет заключения в московской Таганской тюрьме Евгений Комаров был отправлен на вечное поселение в глухой поселок Иркутской области, расположенный на берегу Лены. Он не мог примириться с жизнью в ссылке и лелеял мысль о новом вооруженном восстании. Он создал из политических ссыльных Иркутской губернии «Социалистическую боевую дружину», члены которой вместе с Комаровым мечтали поднять вооруженное восстание в Иркутской губернии в надежде, что эта первая вспышка вызовет могучий революционный взрыв во всей России.

И тут до них дошла весть о Ленском расстреле. Отклик, который нашло это трагическое событие в рабочих массах, еще больше укрепил веру Комарова и его товарищей в успех начатого ими дела.

Вооружившись холодным и огнестрельным оружием, которое они сумели раздобыть, они выступили в тысячеверстный поход, направляясь через всю приленскую тайгу на север, на Ленские золотые прииски, чтобы поднять там восстание рабочих. Но, пройдя около четверти пути, они



попали в засаду, устроенную стражниками, и Евгений Комаров и остальные участники отряда пали смертью храбрых в бою с врагом.

В этот день в городе Брисбэне (Австралия) в больницу привезли забастовщика, дежурившего у ворот бастующего завода и сильно избитого полицейскими и штрейкбрехерами.

Это был человек, о котором мы уже рассказывали на страницах нашей книги, — Федор Андреевич Сергеев, известный в партии под именем «Артем».

Мы расстались с ним тогда, когда после ареста на Урале его привезли в Николаевские арестантские роты.

После трехлетнего тюремного заключения Артем был отправлен в ссылку в «отдаленные места» Восточной Сибири. Во время путешествия по этапу попал в знаменитую Александровскую пересыльную тюрьму и застрял там на несколько месяцев в ожидании, пока соберут арестантский этап.

Сидевшим вместе с Артемом в Александровской пересылке запомнились долгие тюремные вечера, во время которых Артем яростно спорил с противниками ленинской линии партии.

После одной из таких дискуссий товарищ по камере выразил Артему удивление: как он сразу делает марксистские выводы там, где другим на это нужна долгая, упорная работа мысли?

На это Артем просто сказал:

— Марксизм -- вот моя точка зрения.

Так оно и было. Марксизм действительно был для Артема исходным пунктом всякой мысли. Характерно, что за все годы пребывания в партии, при всевозможных перипетиях, которые ей пришлось пережить, при десятках случаев серьезных разногласий, Артем всегда занимал правильную линию, всегда был с Лениным.

Попав в ссылку в Киренский уезд, Иркутской губернии, он, как и его товарищи по ссылке, оказался в крайне труд-

ном материальном положении. Денег не было, работы не было. Питались грибами, брусникой, непоспевшим горохом с крестьянских полей.

Несмотря на все это, Артем не только не унывал, но постоянно находился в движении, добровольно ходил пешком за почтой по восемьдесят верст в каждый конец, громче всех пел, громче всех хохотал.

Его тянуло на волю. С трудом просидел он два месяца в ссылке и при первой же возможности бежал с десятью рублями в кармане. Долго скитался по тайге, пока не заболел и вынужден был зайти в деревню. Там его выдали. Просидев положенное время в тюрьме, был осужден на каторгу. Но бежал.

Через Дайрен и Нагасаки он попал в Шанхай. Работал кули. Из Китая уехал в Австралию, где был сначала чернорабочим на железной дороге, потом докером. И в Китае и в Австралии вел большевистскую работу среди русских эмигрантов. Вступил в Австралийскую социалистическую партию, принимал активное участие в рабочем движении; в годы первой мировой войны играл крупную роль в антимилитаристской борьбе... «Я был, есть и буду членом своей партии, в каком бы уголке земного шара я ни находился», — писал он из Австралии.

В этот день в жалкой дощатой хибарке где-то на окраине Уфы над азбукой, еле освещенной светом однолинейной керосиновой лампы, склонились головы двух девочек, Гали и Нади. Их мать, задыхаясь и кашляя, металась на кровати, застланной лоскутным одеялом. Это была семья Якутова.

«Якутова?» — с ужасом округлив глаза, переспросил бы уфимский обыватель.

«Да, Якутова...»

«Того Якутова?»

«Да, того Якутова...»

Иван Степанович Якутов, рабочий уфимских железнодорожных мастерских, принадлежал к той же плеяде заме-

чательных рабочих-революционеров, что и его тезка Иван Васильевич Бабушкин и многие другие. Вся жизнь его была связана с железнодорожными мастерскими. Там он прочел первую листовку. Там вступил в партию. Через работников подпольной заводской организации связался с Н. К. Крупской, когда она отбывала уфимскую ссылку, учился у нее в кружке, познакомился с Лениным во время его приезда в Уфу. Там же, в мастерских, был одним из первых «искровцев», а затем большевиком. Был арестован, сослан в Сибирь.

Он знал каждого рабочего мастерских, и каждый рабочий знал его. И когда в 1905 году уфимские железнодорожники, шедшие во главе революционной борьбы в Уфе, создали стачечный комитет, председателем его они избрали Ивана Якутова. И Якутов же сделался председателем первого в Уфе Совета рабочих депутатов, выросшего из стачечного комитета.

Стачечники собрались на митинг, чтоб обсудить свои требования. Тем временем мастерские начали окружать казаки. Председательствовавший на митинге Якутов поставил на голосование вопрос: согласны ли участники митинга дать вооруженный отпор властям? Со всех сторон послышались единодушные возгласы: «Согласны! Согласны!»

Когда в помещение митинга ворвались силой казаки, Якутов обратился к ним с призывом не слушать команду офицера и дать рабочим решать их дела. Казаки заколебались, но по приказу офицера продолжали продвигаться вперед. Завязалась перестрелка. Видя превосходство врага, Якутов предложил прекратить сопротивление и разойтись.

Сам он хотел уйти последним, но это грозило ему верным арестом. Рабочие заставили его уйти. Он уехал в Харьков, работал в подполье, полтора года спустя был арестован, привезен в Уфу, предан военному суду и приговорен к смертной казни.

Приговор состоялся 4 ноября 1907 года, на следующий день утвержден, а в ночь с седьмого на восьмое Якутов был повешен.

Все эти дни жена Ивана Степановича, держа за руки помертвевших от ужаса детей, кружила вокруг тюрьмы. После свидания с родными Якутов, зная, что ему осталось жить несколько часов, сказал своему однодельцу Воронину:

«Мне-то все равно терять нечего, и виселица меня не страшит. Но тяжело — остаются дети при больной жене».

Ночью из камер первого одиночного корпуса послышался крик: «Якутова повели на казнь!» Корпус огласился пением «Вы жертвою пали. . .».

Это пение донеслось до жены Якутова и ее детей, всю ночь дежуривших возле тюрьмы.

Рабочий Урал не забыл своего погибшего товарища и его семью. По копейкам, по гривенникам собирал он деньги, чтобы помочь детям вырасти и получить образование.

После Февральской революции Галя и Надя вступили в юношескую организацию, потом в Красную гвардию. Приняли участие в борьбе против колчаковцев, и обе погибли на подступах к Уфе: Наденьку, санитарку, убили в то время, когда она выносила с поля боя раненого красноармейца, а Галя ушла в разведку в тыл колчаковцев, была схвачена и умерла под страшными пытками.

В этот день московский большевик Н. Черепенин сидел в Вологодской тюрьме. День был для него счастливый: товарищи с воли сумели передать ему номер «Правды».

— Это было большим праздником, — вспоминал он впоследствии. — Читая «Правду», я чувствовал биение революционного пульса, и стены тюрьмы не казались уже вековечно прочными. Еще бы! В нашу тюрьму доходил голос пролетариата!

Праздничное настроение Н. Черепенина не испортило и то, что надзиратель за чтение «Правды» отправил его в карцер.

Назавтра в карцере появился с обходом начальник тюрьмы.

— За что попали в карцер? — спросил он.

— За «Правду», — ответил Черепенин.

Начальник удивленно посмотрел на надзирателя.

— Так точно, ваше высокоблагородие, — отрапортовал тот. — Их посадили за правду!

В этот же день на сахарной плантации, принадлежащей американскому сахарному тресту «Юнайтед Стейтс шугар энд рифайнинг компани», на острове Оаху (Гавайские острова), надсмотрщик поднял бич, чтобы ударить за какую-то провинность рабочего-туземца. Однако его руку перехватил, крикнув: «Не смей его бить!», одетый в лохмотья высокий человек, на лице которого выделялись горящие темные глаза.

Человек этот был рабочим с этой же плантации. Звали его Александр Минкин. Родился он в 1887 году в нищей еврейской семье в бывшем Царстве Польском. Когда ему стукнуло восемь лет, его отдали в «мальчики» сначала в посудный магазин, потом в аптеку. Мыл посуду, нянчил хозяйских детей, таскал провизию с базара.

В двенадцать лет мать отвезла его в Варшаву, определила в ученье часовщику. Оттуда он сбежал, поступил в типографию. И не прошло года — стал читать «запрещенные книжки» и выполнять партийные поручения.

За участие в первомайской демонстрации в Варшаве был арестован. Ему было тогда шестнадцать лет. Сидел он в знаменитой варшавской тюрьме — «Цитадели», был выслан в Тобольскую губернию. Из ссылки бежал на Урал, перешел на нелегальное положение, принимал участие в вооруженных столкновениях в октябрьские дни 1905 года, был ранен в голову.

В 1906 году он исчез из поля зрения полиции. Ни агенты «внутреннего», ни агенты «наружного» наблюдения не знали, куда он скрылся. Охранка решила, что он за границей. На деле же он был в Перми, где организовал большую типографию и замуровал себя в ней на несколько месяцев.

Год спустя он был арестован по делу Уральского комитета партии и после двух лет Екатеринбургской тюрьмы

сослан на вечное поселение в Восточную Сибирь. Через полгода бежал.

Во Владивостоке, сговорившись с кем-то из команды, спрятался в трюме парохода, уходившего на Гавайские острова. Когда после недели качки и темноты он вылез наверх и перед ним возникли всплывающие из вод Тихого океана Гавайи, он был потрясен их необыкновенной красотой. И так же потрясен был он, когда увидел худые, ссутулившиеся спины коренных жителей острова — канаков, их лачуги из пальмовых листьев, детишек, копающихся в отбросах, самодовольных американцев, чувствующих себя здесь безграничными властителями.

Чтобы заработать денег на дальнейший путь, он поступил рабочим на сахарную плантацию. Но на билет денег собрать не смог и отправился дальше, в Соединенные Штаты, снова в пароходном трюме.

Там, в Штатах, он страшно бедствовал. Работал на самых тяжелых работах. Заболел туберкулезом. Спасся только благодаря тому, что поступил батраком на ферму и работал на открытом воздухе. Поправившись, вернулся в город. Участвовал в забастовках вместе с американскими рабочими...

В этот день один из московских профсоюзов с разрешения полиции устроил собрание, посвященное санитарному состоянию рабочих жилищ. Сперва прочитал лекцию врач, потом перешли к обсуждению. По заранее намеченному плану слово взял большевик-нелегал товарищ Прохор.

— Вот скажу я так, — начал он, — правильно говорил тут доктор, что каждый должен думать о своем личном здоровье. Но другое дело, если будем рассуждать о том, как бороться с теми, например, кто сосет из нас кровь.

— Предупреждаю, — строго возгласил присутствующий полицейский чин.

Прохор продолжал:

— Я говорю о клопах...

В зале раздался смех.

— Я говорю, как их бить, тех клопов, которые сосут нашу кровь...

— Предупреждаю вторично, — опять забеспокоился пристав.

Прохор продолжал:

— Есть, может быть, такие дураки из нас, что думают, будто наших кровопийцев можно перебить одного за другим. Нет, это невозможно, друзья. Разве всех перебьешь по одному? Тут надо, друзья, все условия в квартире менять...

Неожиданно в зале раздались аплодисменты. Полицейский, не поняв, пожал плечами.

Прохор продолжал с еще большим увлечением:

— Нет, друзья, тут даже дезинфекции будет мало...

А с места кричат:

— А что же надо, по-твоему?

— Что надо-то? Надо, товарищи... виноват, господин пристав, я забыл, что это слово запрещено, — скажу не «товарищи», а «братья»... Надо, братья, всеми нашими общими силами навалиться на кровопийцев, силами всего рабочего класса, и всю квартиру послать на сломку, к чертовой бабушке...



Пристав, поняв, что его обвели, вскочил и бросился к оратору, чтоб его арестовать, но наткнулся на рабочих, которые заслонили Прохора и дали ему возможность скрыться через боковой выход.

В этот же день в Тифлисе, в камере Метехского тюремного замка, ждал суда и смертной казни Семен Аршакович Тер-Петросян, которого все звали его партийной кличкой «Камо».

Вступив в партию девятнадцатилетним юношей, Камо сразу же показал себя человеком совершенно исключитель-

ного конспиративного дара и легендарной храбрости, сочетавшейся с артистическим умением перевоплощаться, находчивостью, умом, беззаветной преданностью партии.

Сначала он занимался организацией транспорта нелегальной литературы. Затем работал в подпольной типографии. В 1905 году, когда партия готовила вооруженное восстание, ему было поручено закупить за границей оружие. Он это сумел сделать, но пароход с оружием затонул. В том же году Камо, человек из беднейшей семьи, изображая блистательного гвардейца князя Дадиани, пробрался в Финляндию. Он побывал у Ленина и вернулся в Грузию с оружием и взрывчатыми веществами. В 1907 году в Тифлисе он произвел необыкновенную по своей смелости экспроприацию крупной суммы казенных денег, которые до копейки отдал партии, и бежал за границу.

Камо поселился в Берлине по фальшивому паспорту на чужое имя. Но недолго прожил он там: провокатор выдал его германской полиции. Камо был арестован и препровожден в тюрьму Моабит — ту самую тюрьму, в которой много лет спустя, при Гитлере, томились Тельман, Муса Джалиль, Юлиус Фучик и тысячи антифашистов.

Во время обыска у Камо были обнаружены ящик с оружием и чемодан со взрывчаткой. Это послужило поводом, чтоб обвинить его в том, что он является «анархистом-террористом». Воспользовавшись этим обвинением, немецкая полиция делала все, чтобы выдать Камо русской полиции. А это сулило ему смертную казнь.

Что делать? Сдаться? Нет, это не для Камо. Он принял решение: симулировать буйное помешательство.

Опытом судебной медицины давно уже доказано, что симуляция душевного расстройства из всех видов симуляций самая трудная, тем более симуляция буйного помешательства, которая требует огромного, прямо нечеловеческого напряжения сил. Симулянт настолько устает, что либо отказывается от замысла, либо сходит с ума.

Но Камо совершил то, примеров чему, пожалуй, не найти за всю многовековую историю судов и тюрем: он симули-

ровал безумие в течение четырех лет. Четыре года изо дня в день, из ночи в ночь он метался, буянил, рвал на себе одежду, швырял на пол посуду, отказывался от пищи, вырывал у себя волосы, а затем начал симулировать несколько иную форму сумасшествия, одним из признаков которой является потеря кожной чувствительности.

Внимательно изучив поведение подобного больного, рядом с которым он лежал в тюремной психиатрической больнице, Камо мастерски имитировал его походку, движения, бред. Врачи с чисто прусским упорством и методичностью проводили над ним всевозможные испытания: прижигали кожу раскаленным докрасна железом, вгоняли под ногти иголки, кололи, резали, — Камо смеялся и ни одним звуком, ни одним движением не выдавал ту страшную боль, которую испытывал.

Но был один рефлекс, которым он не мог управлять, — расширение зрачков, которым сопровождается ощущение боли и у человека и у высших животных. Врачи видели этот рефлекс, подвергали Камо новым и новым мучениям, но он по-прежнему ничем себя не выдавал.

Ему нужно было во что бы то ни стало держаться, держаться как можно дольше: быть может, немецкие товарищи, в их числе Карл Либкнехт, сумеют вырвать его из рук полиции. Быть может, его переведут в такое место, откуда он, совершивший уже столько смелых побегов, сумеет бежать!

Увы, этим надеждам не суждено было осуществиться. Подвергнув Камо чудовищнейшим пыткам, но не сумев доказать, что он симулирует безумие, немецкая полиция выдала его русским жандармам.

Его препроводили в Тифлис, где должен был состояться военный суд. Тот постановил подвергнуть его новым испытаниям в психиатрической клинике. Держали под усиленнейшей охраной.

А он бежал!

Да, бежал! Перепилив решетку, он спустился по веревке через окно больничной камеры, выходящее на берег Куры, и с помощью ждавшего его внизу товарища сумел уйти,

а потом скрыться из оцепленного войсками и полицией Тифлиса.

Ему удалось не только покинуть Тифлис, но и уехать за границу, в Париж, к Ленину. Владимир Ильич потребовал, чтобы он отдохнул. Но кипучая натура Камо не могла мириться с отдыхом. Снова он поехал в Россию. Снова стал собирать своих товарищей по Боевой организации. Но обстоятельства сложились несчастливо: Камо был арестован, заключен в Метехский замок и ждал суда, на котором — он знал это твердо — будет приговорен к смертной казни.

Так и случилось!

Закованный в кандалы, Камо и на этот раз думал о побеге, но в то же время без страха готовился встретить час, когда его поведут на казнь. В записке, которую ему удалось переслать на волю, он писал: «Со смертью я примирился. Совершенно спокоен. На моей могиле давно бы могла вырасти трава вышиною в три сажени. Нельзя же все время увиливать от смерти. Когда-нибудь да нужно умереть. Но все-таки попытка — не пытка. Постарайся что-нибудь придумать. Может, еще раз посмеемся над врагами. Я скован и ничего не могу предпринять. Делай что хочешь. Я на все согласен».

Камо должны были со дня на день казнить. Но в связи с трехсотлетием дома Романовых смертная казнь была заменена двадцатилетней каторгой, от которой его освободила Февральская революция.

В этот же день Париж остался без такси. Бастующие шоферы собрались на площади перед домом своего профессионального союза. Устроили митинг. В числе прочих ораторов, выступавших с импровизированной трибуны, был человек с молодым лицом и снежно-седой головой, говоривший на варварском французском языке.

Его подлинное имя было Зиновий Яковлевич Литвин. По паспорту в данный момент он числился финляндским гражданином Виллоненом. Среди своих имел кличку «Иголкин».

Но все его звали «Седой» — так поражало сочетание молодого лица и белоснежной головы.

Он поседел в шестнадцать лет. В тюрьме.

Сын заводского сторожа из николаевских солдат и прачки, которая, чтоб прокормить громадную семью, прирабатывала, кухаря на свадьбах и именинах, он в тринадцать лет сбежал от отцовских побоев и, научившись паять, рубить и пилить, кочевал по московским заводам, поработав и на нефтяном заводе в Анненгофской роще, и на гвоздильном заводе Гужона, и на заводе Бари за Симоновской слободой.

Как-то товарищ по заводу сунул ему брошюрку, напечатанную на гектографе. Запомнились навсегда слова: «Один ест за сто человек, а другой голодает». Связался с кружкáми. В 1896 году был арестован, освобожден, снова арестован. Больше года просидел в Таганке. Был много бит, один раз собственной рукой начальника московской охранки господина Зубатова. В тюрьму пришел с черной головой, вышел полуседым.

Потом ссылка, побег. Петербург, Путиловский завод, арест, год «предварилки». На этот раз вышел почти седым.

Дальше Тифлис — и Метехский замок, Нижний Новгород — и Нижегородская тюрьма, Москва — и снова Таганка.

В декабре 1905 года, уже совсем седым, он руководил вооруженным восстанием на Пресне. Затем был одним из руководителей свеаборгского восстания. После поражения бежал. Попал в Париж. Участвовал в нашумевшей забастовке шоферов такси.

Когда забастовка окончилась, французские товарищи предупредили его, что ему грозит арест и выдача русской полиции. Он уехал в Канаду. Как разъездной агитатор проделал путь от Виннипега до Нью-Йорка. Испытал все прелести американской эмиграции. Проработал около полугода на заводе Форда в Детройте. Вернулся во Францию.

Но на роду ему было все же написано посидеть во французских тюрьмах. При расстреле взбунтовавшихся солдат русского экспедиционного корпуса у одного из них обнаружили письмо Седого. Его арестовали, держали три месяца

в военной тюрьме. Выйдя из тюрьмы, он тут же возобновил антивоенную деятельность.

После революции он вернулся в Россию, работал на своей любимой Пресне, которую теперь звали Красной Пресней.

В этот день в Лейпциге, в Германии, происходило собрание небольшой группы революционных эмигрантов-большевиков. Доклад делал недавно приехавший товарищ, которого все знали под его партийным именем Владимир Михайлович Загорский. Темноглазый, большелобый, живой и подвижный, он казался совсем юношей. На деле за его плечами было уже несколько лет активной подпольной работы.

Вступив в партию еще тогда, когда он был гимназистом, Владимир Загорский был арестован во время первомайской демонстрации 1902 года в Нижнем Новгороде, предан суду и после долгого предварительного заключения приговорен к лишению всех прав и ссылке на пожизненное поселение в Енисейскую губернию. Из ссылки, разумеется, бежал, добрался до Женевы, куда попал вскоре после II съезда партии, стал большевиком, уехал в Россию, работал в Москве, дрался на баррикадах во время Декабрьского вооруженного восстания, не пал духом после его поражения, с присущей ему бодростью и энергией продолжал свою подпольную работу. И только когда почувствовал, что затягивается тугая петля полицейской слежки, скрылся из Москвы, нелегально перешел границу, помытарился в Швейцарии и в Англии, пока не поселился в Германии, в Лейпциге.

Живя в Германии, В. М. Загорский поддерживал активную связь с В. И. Лениным и дважды организовывал приезды Владимира Ильича в Лейпциг для чтения рефератов. Среди многообразной партийной работы, которую он вел, видное место занимала добыча надежных паспортов для товарищей, отправлявшихся в Россию.

Когда началась первая мировая война, В. М. Загорский, как и большинство русских революционных эмигрантов,

проживавших в Германии, был интернирован в лагерь для гражданских военнопленных. Лагерь этот представлял собою настоящую тюрьму. Однако большой опыт подполья помог В. М. Загорскому наладить тайную переписку с только что возникшей тогда в Германии революционной группой «Спартак», а также с русскими военнопленными, находившимися в соседних лагерях.

В конце 1916 года В. М. Загорский получил от Н. К. Крупской открытку. Надежда Константиновна писала ему о положении в России, об усиливающемся революционном настроении рабочих и брожении в воинских частях.

И вот в лагерь с запозданием — уже поздней весной 1917 года — окольным путем дошла весть о том, что в России революция! Поднялся вихрь рассуждений и толков, как теперь быть, как из германского плена попасть в революционную Россию? Кое у кого мелькнула мысль о побеге, но осуществить его не удалось. Телеграммы на имя Временного правительства оставались без ответа. Конца сидению в немецком плену не было видно.

Наступила осень. Все оставалось по-прежнему, без перемен. Только Октябрьская революция принесла освобождение. В начале 1918 года В. М. Загорский был назначен секретарем посольства Советской России в Германии. Прямо из лагеря он умчался в Берлин. Весь охваченный революционным восторгом, он забрался на крышу здания посольства, чтобы собственной рукой убрать старый царский флаг с двуглавым орлом и водрузить красное знамя Советской республики.

В Берлине Загорский пробыл недолго. Он рвался в Россию, к живой революционной работе.

Наконец он был в Москве! Сначала работал в Сущевско-Марьинском районе, потом был избран секретарем Московского комитета партии.

Осенью 1919 года, в момент, когда на Москву наступала белая армия Деникина, а под Петроградом шли бои против войск генерала Юденича, в здании Московского комитета партии шло собрание лекторов и агитаторов, посвященное

плану занятий в партийных школах. В тесном зале набилось человек двести. Несмотря на труднейшее время, которое переживала тогда молодая Советская республика, настроение собравшихся было веселое, ораторы шутили, зал отвечал им дружным смехом.

Собрание было в самом разгаре, когда в дверях появился Загорский. Он, видно, торопился, бежал по лестнице, дышал тяжело. Осторожно ступая, он сделал несколько шагов, чтобы пройти к президиуму.

И тут у крайнего окна в конце зала послышался странный звук, в зал влетел какой-то тяжелый предмет, упал на самой середине, послышался небольшой взрыв, потом этот предмет завертелся на полу и стал громко шипеть.

Все вскочили. Кто-то шарахнулся, кто-то вскрикнул. Но голос Загорского перекрыл шум.

— Спокойно, товарищи! — закричал он. — Не бойтесь!

Это были его последние слова. Бросившись вперед, к бомбе, он схватил ее, чтобы выкинуть в окно. Но тут раздался страшный взрыв. Он был так силен, что полностью разрушил стену, выходившую в сад, выбил все стекла, разбил в щепы мебель.

Бомба взорвалась в руках Владимира Михайловича. В то мгновение, когда ее забросили в окно, он находился неподалеку от двери, мог спастись, но бросился вперед и погиб, спасая товарищей.

Один из друзей В. М. Загорского в статье, посвященной его памяти, писал:

«Я не встречал людей, похожих на Владимира Михайловича Загорского. А в то же время я никак не могу сказать, что он был какой-то необыкновенный человек».

Этими словами можно охарактеризовать многих деятелей подпольной большевистской партии.

Они были людьми со всеми человеческими чувствами и качествами. Но то, что они в течение десятилетий сражались под одной звездой — под звездой партии Ленина, подняло их над обычным человеческим уровнем и сделало поистине необыкновенными людьми.

7

Ленские события 1912 года всколыхнули народные массы. С первых же шагов нового революционного подъема стало видно, насколько выросло классовое самосознание российского пролетариата, как закалилась его воля к борьбе.

Это показал прежде всего могучий размах забастовочного движения, достигшего наивысшей точки летом четырнадцатого года. Неуклонно росло и число стачек, и количество бастующих, и продолжительность забастовок.

Все больше становился удельный вес политических забастовок — в день Первого мая, в годовщину Девятого января 1905 года, в память о Льве Николаевиче Толстом, против антисемитизма, в знак протеста против гонений на рабочую печать и профессиональные союзы.

И все чаще происходили забастовки рабочей солидарности: после массового отравления работниц на резиновых фабриках «Проводник» в Риге и «Треугольник» в Петербурге бастовали не только рабочие этих фабрик, не только рабочие резиновой промышленности, но весь рабочий Питер, вся рабочая Рига, а также рабочие ряда других городов. Когда шесть рабочих Обуховского завода в Петербурге были преданы суду по обвинению в подстрекательстве к забастовке, забастовало 103 тысячи петербургских рабочих. Суд был отложен, но когда он открылся, бастовало уже 112 тысяч.

В июне 1914 года началась всеобщая забастовка в Баку. 50 000 бакинских рабочих предъявили требования о повышении заработной платы, восьмичасовом рабочем дне, устройстве рабочих поселков, всеобщем обучении и общем улучшении быта рабочих.



На коллективное требование бакинских пролетариев нефтяные короли ответили: никаких уступок мы не сделаем.

«Господа промышленники на-

ходят, что в дыму и копоти, в пыли и грязи, без воды, без солнца, без воздуха, в сырых землянках и отвратительных каморках рабочим очень хорошо живется, — писала «Трудовая Правда». — Но бакинский пролетариат лучше знает о своей тяжкой доле. Он чувствует на каждом шагу давящий гнет капитала. И когда стало невмоготу, он прибег к неоднократно испытанному им средству — стачке».

Когда в Петербург пришла весть о бакинской стачке, рабочие стали собирать взносы в пользу бастующих. На Путиловском заводе за два часа до окончания работ рабочие турбинной, башенной и других мастерских остановили станки, дали гудок и собрались во дворе. На митинге присутствовало двенадцать тысяч человек. Ораторы-рабочие, обрисовав положение бастующих бакинцев, призывали путиловцев поддержать стачечников. Собрание было в самом разгаре, когда появился большой наряд пешей и конной полиции. Полицейские стали напирать на рабочих, пустили в ход нагайки, потом по рабочим было сделано два ружейных залпа. Два человека было убито, более пятидесяти ранено, шестьдесят пять арестовано.

Петербургский комитет большевиков выпустил листовку с призывом к забастовке протеста против расстрела путиловцев.

На следующий день после расстрела, семнадцатого июля 1914 года, в Петербурге бастовало 90 тысяч человек. Происходили демонстрации, столкновения с полицией, стрелявшей в демонстрантов.

Три дня спустя бастовало уже 130 тысяч. Снова митинги, демонстрации, стычки с полицией и казаками.

День спустя число бастующих достигло 150, а затем — 300 тысяч.

Депутат Государственной думы большевик Бадаев, вспоминая эти дни, рассказывал:

«Июльские дни 1914 года в Петербурге напоминали боевые дни революционного 1905 года. Фабрики и заводы бастовали. Полиция была не в силах сдержать толпы демонстрантов, которые двигались по городу. Демонстранты оста-

навливали трамвайное движение, закрывали лавки и магазины. Во многих местах города появились баррикады. Толпы рабочих, вышедших на улицы, уже не боялись полиции. Схватки врукопашную, избиение полицейских камнями стали рядовым явлением».

Как раз в эти дни в Петербург с визитом к царю приехал французский президент Пуанкаре, чтоб договориться об участии России в приближающейся войне. В ответ на это рабочий Питер прекратил работу, электричество погасло, путь президентскому кортежу преграждали баррикады.

Царское правительство решило действовать по обычным своим канонам.

В ночь на 21 июля в помещение «Правды», в самый разгар работы по выпуску очередного номера, ворвалось огромное количество полицейских. Налет был сделан с расчетом захватить полностью не только всю редакцию, но и основных посетителей «Правды». Весь район был оцеплен и наводнен полицейскими и охранниками.

Арестовав всех находившихся в редакции, полицейские приступили к разгрому: они переломали матрицы, рассыпали набор, разбили в щепы столы, шкафы, стулья.

Узнав о налете на «Правду», Бадаев отправился на место происшествия. Как депутат Государственной думы он пользовался неприкосновенностью. Но сделать ничего не смог.

Черносотенная печать подняла против Бадаева бешеную кампанию: «Бадаева на виселицу». «Видимо, г. Бадаеву мешают спать лавры Разина и Пугачева», — писала она и напоминала слова Наполеона: «Рабочее движение разрешается только одним путем: хорошим зарядом картечи».

Разгром «Правды» был началом расправы со всеми рабочими организациями. В Петербурге и во всей России прокатились массовые аресты.

Тем временем в глубокой тайне шла подготовка к войне. Обе империалистические группировки — Германия и Австрия, с одной стороны, и Франция, Англия и Россия, с другой, — вели секретные переговоры, стягивали к границам войска, ждали удобной для нападения минуты.

И днем и ночью на воинские пункты вливались бесконечные отряды призываемых в армию. Петербург преобразился: повсюду видны были серые шинели и защитные гимнастерки. Настроение было угрюмо-сдержанное и подавленное. Только на Невском и прилегающих к нему улицах появились «патриоты» с портретами Николая II, оравшие о «войне до победы».

Петербургский комитет партии выпустил листок «Ко всем рабочим, крестьянам и солдатам», в котором предупреждал о надвигающейся военной опасности.

28 июля Австрия объявила войну Сербии.

31 июля в России была объявлена всеобщая мобилизация.

1 августа Германия объявила войну России, 3 августа — Франции, 4 августа — Бельгии.

В тот же день Англия объявила войну Германии.

6 августа Австро-Венгрия объявила войну России. 11 августа Франция и Англия объявили войну Австро-Венгрии.

За какие-нибудь полторы недели почти вся Европа была охвачена войной. Впоследствии в войну вступили также Япония и Соединенные Штаты Америки.

Так началась первая мировая война в истории человечества.

Эта война буквально перевернула весь мир. Она породила ряд глубочайших кризисов. Остановив на время нарастающее революционное движение в России, она в итоге привела к победе русской революции и к революциям во многих странах Европы.



8

Владимира Ильича Ленина война застала в деревне Поронино, неподалеку от Кракова.

«Хотя давно уже пахло войной, но, когда война была объявлена, это как-то ошарашило всех, — рассказывает в своих воспоминаниях Н. К. Крупская. — Надо было выбираться из Поронина, но куда можно было ехать, было совершенно неясно».

Несколько дней спустя на дачу, где жили Владимир Ильич и Надежда Константиновна, явился местный жандарм и произвел обыск. Что именно искать — он не знал, забрал несколько тетрадок по аграрному вопросу, в которых были сделаны цифровые таблицы, — видимо, он принял их за шифр. Он сказал, что на Владимира Ильича имеется донос. Пусть Владимир Ильич завтра явится к шестичасовому поезду и поедет в Новый Тарг, к старосте.

Было тревожно: война породила множество темных слухов; поронинский ксендз говорил своим прихожанам, что русские — шпионы: они сыплют в колодцы яд, их надо убивать, выкалывать глаза.

Надежда Константиновна и Владимир Ильич просидели всю ночь — не могли заснуть. Утром поехали в Новый Тарг; староста объявил, что Ленин арестован как русский шпион, и препроводил его в тюрьму. Там он сидел вместе с крестьянами, арестованными по всяким мелким делам, и быстро сошелся с соседями по камере, которые прозвали его «бычий хлоп», что по-польски значит «крепкий мужик». А по ночам, когда тюрьма спала, Ленин обдумывал, что должна делать партия в новых условиях, созданных войной, как превратить войну в начало революции. В тишине, нарушаемой лишь шагами караульного солдата, рождались мысли, которые потом претворились в ленинские лозунги: «Превратим войну империалистическую в войну гражданскую!», «Мир хижинам — война дворцам!»

Неизвестно, как обернулось бы дело, если б не польские товарищи, и в первую очередь Яков Станиславович Ганецкий.

Узнав об аресте Ленина, Ганецкий нанял какую-то арбу и на ней добрался до Нового Тарга, накричал на тамошнего старосту, предупредил, что если что случится с Владимиром Ильичем, то ему, старосте, придется отвечать; послал письма и телеграммы в Вену, депутату австрийского парламента, социалисту Виктору Адлеру, просил вмешаться в дело.

Когда Адлер разговаривал об аресте Ленина с австрийским министром внутренних дел и сказал, что Ленин не может быть русским шпионом, министр спросил:

— А вы уверены, что он не примирится с царским правительством по случаю войны?

— Ваше превосходительство! — ответил Адлер. — Ленин был врагом царского правительства, когда вы были в дружбе с ним, и будет врагом его, когда вы вновь будете с ним в дружбе. . .

После двухнедельного заключения Владимир Ильич был освобожден из тюрьмы. Решил уехать в Швейцарию, которая не принимала участия в войне.

Невеселым был переезд: поезд шел медленно, пропуская эшелоны с солдатами, отправляемыми на фронт, и санитарные поезда с ранеными, двигавшиеся с фронта. Стенки вагонов были исписаны призывами убивать каждого русского, француза, англичанина. Повсюду встречались самодовольные лица вылощенных офицеров; монашенки раздавали образки и вели самую разнузданную шовинистическую пропаганду.

Невеселы были и новости, которые узнали Владимир Ильич и Надежда Константиновна: все социалистические партии выступили за поддержку «своих» правительств. Второй Интернационал распался. Те, кто еще совсем недавно заверяли, что в случае войны они призовут к всеобщей забастовке и будут защищать идеи пролетарского интернационализма, сегодня стали министрами буржуазных правительств и делали все для победы буржуазии своей страны.

Позиция Ленина была совершенно ясна. Сидя в окружении товарищей на осенней, поблекшей траве в лесу на окраине Берна, он с тяжело выстраданной резкостью гово-

рил, что Второй Интернационал предал и продал революционную борьбу. Какой же вывод отсюда следует? Еще выше поднять знамя пролетарского интернационализма! Социал-демократы только тогда исполняют свой долг, когда они борются с шовинистическим угаром своей страны. Задача в том, чтобы превратить ложно-национальную войну в решительное столкновение пролетариата с правящими классами!

«Какой-то огромнейший сноп света был брошен так внезапно и так неожиданно, что я сразу и не мог опомниться,— вспоминает об этом совещании его участник Г. Шкловский. — До того передо мною стояла голая действительность, грозная и беспросветная: империалистическая война, крах Второго Интернационала и рабочих организаций, которые не препятствуют войне и даже содействуют ей. Ясно вижу, что значит победа царизма, но и победа немцев не сулит ничего хорошего. Где выход?

И вот приезжает неустрашимый Ленин, и для него не только все ясно, но он уже и выход наметил. Гражданская война — вот тот рычаг, за который нужно ухватиться, чтобы все перевернуть и заставить грозные события работать на нас, на мировую революцию.

С приездом Ленина жизнь у нас закипела...»

На этом совещании, происходившем в осеннем лесу, была принята резолюция, на основе которой Ленин написал Манифест Центрального Комитета партии «Война и российская социал-демократия». Он был опубликован в выходившей в Швейцарии большевистской газете «Социал-демократ», опубликован всего в полутора тысячах экземпляров. Но его надо было доставить в Россию.

Никогда нелегальные пути не были столь тернисты, как в годы войны. И все же «Манифест» преодолел препятствия без единого провала. Депутат Государственной думы Григорий Петровский получил его в каблуках присланных ему из Стокгольма ботинок. Сидевший в Бутырском каторжном централе Борис Бреслав — заделанным в переплет каких-то совершенно невинных книг.

9

Бернская резолюция была разослана по заграничным секциям большевиков и переслана в Россию.

Ленин был очень доволен, когда узнал о том, что подавляющее большинство российских большевиков с первых же дней войны заняло правильную интернационалистскую позицию. Большевистская фракция Государственной думы проголосовала против военных кредитов и отказалась поддерживать войну.

Вскоре депутатов-большевиков исключили из Государственной думы, арестовали, предали суду и сослали в Сибирь.

Борьба против войны беспощадно преследовалась правительствами обоих воюющих лагерей. За борьбу против войны обвиняли в государственной измене, судили военно-полевым судом, расстреливали или осуждали на каторгу.

Поэтому в этом деле требовалась сугубая конспиративность. Большую помощь оказал неизвестный западным товарищам — противникам войны — опыт русского большевистского подполья.

В годы войны Ленину и Крупской жилось очень туго: плохо было с деньгами, плохо с заработком. Как ни скромны были их привычки, на жизнь еле хватало, а порой и не хватало. Нервы были истрепаны, со здоровьем, особенно у Крупской, неважно.

У другого опустились бы руки. Но Ленин был всегда собран, напряжен, полон веры в грядущее, в ум и революционную честь рабочего класса.

В одном из своих произведений, посвященных отношению рабочего класса к войне, он вкладывал в уста матери-пролетарки такие слова, обращенные ею к подрастающему сыну:

«Ты вырастешь скоро большой. Тебе дадут ружье. Бери его и учись хорошенько военному делу. Эта наука необходима для пролетариев — не для того, чтобы стрелять против

твоих братьев, рабочих других стран, как это делается в теперешней войне и как советуют тебе делать изменники социализма, — а для того, чтобы бороться против буржуазии своей собственной страны, чтобы положить конец эксплуатации, нищете и войнам не путем добреньких пожеланий, а путем победы над буржуазией и обезоружения ее».

Массу времени и сил отдавал Ленин сплочению противников войны, а также связям с Россией, с русским подпольем, жестоко пострадавшим от арестов. Одна задача была труднее другой. Каждая требовала особого подхода, своих особых решений.

В этих труднейших условиях Владимир Ильич не только успевал переделать всю многообразную текущую работу, но занимался научным исследованием, плодом которого была книга «Империализм, как высшая стадия капитализма».

Опираясь на глубокий научный анализ новейших явлений, происходивших в капиталистическом обществе, Ленин пришел к непреложному выводу, что капитализм вступил в последнюю стадию своего развития — империализм. Капитализм гниет, разлагается, умирает. Мирная эпоха его истории закончилась. Наступила новая эпоха — эпоха войн и социалистических революций.

Как-то Владимир Ильич принял участие в совещании с группой большевиков, приехавших из Парижа. Выходя с совещания и надевая пальто, он напевал по-французски песенку, которая кончалась словами:

> . . . Настал великий час,
> Теперь вы служите народу. . .

— Что это за песня? Откуда это? — заинтересовался кто-то.

— Ай-ай-ай, — рассмеялся Владимир Ильич, — а еще парижане, и не знаете, что эта песня — отражение нашего тысяча девятьсот пятого года. Это «Привет 17-му полку!» французской армии, который в тысяча девятьсот пятом году отказался стрелять в бастующих рабочих, за что его солдаты были сосланы в Африку.

Ленин жил тогда на улице, примыкающей к бернскому лесу. Стояла тихая лунная ночь. Было свежо. Все шли молча.

Остановившись на минуту, Ленин сказал:

— Самое пылкое воображение не может представить более прекрасных уголков природы, чем швейцарские горы и русские леса. Посмотрите на эту чудесную картину!

Запрокинув голову, Владимир Ильич воскликнул, показав на самую яркую из звезд:

— Вот звезда, которая освещает нам путь к революции! Это — наша путеводная звезда. И она смотрит на Восток!

Там, на Востоке, была Россия — истекающая кровью, стонущая под жандармским сапогом, голодная, холодная, звенящая кандалами, до поры до времени словно притихшая, но помнящая 1905 год и горящая огнем священной ненависти к своим угнетателям.

Миллионы солдат гнили в окопах. По железным дорогам ползли эшелоны раненых. Из теплушек тянуло запахом крови, слышались звуки гармоники, приглушенный голос выводил песню:

Во густых хлебах яма черная,
Во сырой земле — гробова доска...
За бугром лежу да за насыпью.
Эх ты, лютая невтерпеж-тоска...

Уж как первая моя думушка
Ты чужа земля — австрияцкая,
Во густых лесах, во глубоком рву,
Ты черна земля — яма братская.

Тяжче грому бьют пушки медные...
Во глубоком рву — ясны огоньки.
А вторая, ох, дума-думушка —
Ты развей тоску, темна ноченька!

Градом-тучею пули стелются
По-над кручею над Карпатскою.
Не сказать вовек, не поведаю
Третью думушку я солдатскую.

Во глубоком рву наточу я штык,
Во глухи леса уйду-скроюся...
Да тому ль дружку — штыку вострому
Я спокаюся да откроюся...

...О чем же была эта дума, о которой солдат хотел поведать наточенному, острому штыку?

Это была дума о революции...

Империалистическая война принесла России тяжелые военные поражения, стоившие жизни сотен тысяч солдат. В стране царила чудовищная разруха, разорение, голод. Сельское хозяйство приходило в упадок. На фабриках и заводах внедрялась военная дисциплина и увеличивался рабочий день.

Все это озлобляло против царизма рабочую, солдатскую и крестьянскую массу. В воздухе снова повеяло бурей. Снова зазвучал набатный колокол приближающейся революции.

Знаменосцем, застрельщиком классовых битв выступил рабочий класс. Со второй половины 1915 года непрерывно нарастала стачечная волна. Вслед за рабочим движением начало расти и крестьянское. То тут, то там происходили крестьянские волнения. Письма из родных деревень, рассказывавшие о бедственном положении солдатских семейств, усиливали брожение в армии.

1916 год принес дальнейшее углубление и расширение масштабов борьбы. В Петрограде, Иваново-Вознесенске, Москве, Твери, Туле, Донбассе прокатилась волна политических стачек.

Яркий пример тому — забастовка рабочих угольных и ртутных рудников Горловского и Щербиновского районов Донбасса, вспыхнувшая в апреле 1916 года, о которой рассказывает один из ее руководителей Н. И. Дубовой.

Наум Ипатьевич Дубовой принадлежал к числу тех сознательных, активных пролетариев, которыми так красна история нашей подпольной партии.

Он родился в 1875 году. Отец его был бедным крестьянином, мать — батрачкой. В семье было семь едоков, и Науму пришлось в девять лет пойти в пастухи: пасти гусей, овец и свиней.

Так он проработал в помещичьих экономиях до тех пор, пока его не забрили в солдаты, а вернувшись с солдатской

службы, поступил паровозным кочегаром на Донецкую железную дорогу.

«До двадцати одного года я был неграмотный, — рассказывает Н. И. Дубовой в автобиографии. — Только на двадцать втором году моей жизни я взял в руку карандаш и книжку и выучился немножко писать и читать и немножко арифметическим задачкам».

Поступив кочегаром на железную дорогу, он сблизился со слесарями, кузнецами, котельщиками. «Среди них, — пишет он, — оказались такие товарищи, что пригласили меня на массовку. В 1903 году я был принят в партию. Благодаря хорошим товарищам стал политически развиваться, стал понимать, каким образом рабочий может защищать себя от произвола и насилия».

Пережив аресты, высылки, снова аресты, Н. И. Дубовой в годы войны оказался на ртутных рудниках в Щербиновском районе.

В 1914 и 1915 годах там стала крепнуть большевистская организация, а в апреле 1916 года забастовали рабочие рудников Щербиновского и Горловского районов.

Когда забастовка, словно пожаром, стала охватывать рудники, из Екатеринослава приехал генерал-губернатор. Рабочие всех окрестных рудников сошлись в открытом поле. Собралось около десяти тысяч человек.

Генерал-губернатор вошел в круг этого собрания и спросил у рабочих, чего они требуют. Представители рабочих протянули ему список требований, в числе которых был пункт о 50-процентной надбавке всем рабочим.

— Пятьдесят процентов я не дам, — решительно ответил губернатор. — Хватит вам и тридцати пяти.

На это рабочие в один голос ответили, что они не согласятся и на сорок девять с половиной процентов, а согласны только на пятьдесят и чтоб при этом все остальные пункты также были выполнены.

— Тогда, — сказал губернатор, выходя из круга, — я поговорю с вами другим способом.

После ухода губернатора собрание постановило отпраздновать день Первого мая, но с рудников в открытое поле не выходить, потому что может произойти избиение рабочих.

День Первого мая прошел спокойно, но второго мая полицейские стражники арестовали несколько рабочих ртутного рудника. Назавтра рабочие всех рудников стали выходить на общее собрание, но собраться им уже не удалось, так как повсюду была полиция, казаки и стражники, открывавшие стрельбу. Два человека было убито на том самом месте, с которого говорил губернатор.

Тут же начались аресты, сопровождавшиеся побоями.

«На Щербиновском руднике, — рассказывал Н. И. Дубовой, — арестовали человек пятьдесят, повязали им назад руки, свели до места и канатом продели между связанных рук, кругом обвели и снова завязали, а полиция этот связанный пучок или сноп из рабочих, такую «связку», этот живой сноп погнала по рудникам с одного на другой, с Щербиновского района на Горловский. Этих несчастных связанных шахтеров сопровождали конные стражники с шашками наголо. После того как провели по рудникам эту «связку» (пройдя путь от Щербиновки до Горловки — 14 верст и от Горловки до Бахмута — 25 верст), всех арестованных триста человек забросили в Бахмутскую тюрьму, а потом отправили на фронт. . .»

10

Последний русский царь Николай II и окружающая его придворная клика дошли до такого разложения и морального распада, каких, пожалуй, никогда еще не видела история. Царскую фамилию окружали спириты, знахари, гадальщики, шарлатаны, авантюристы, германские и иные шпионы. А после 1905 года и особенно во время войны самое видное

место в этой своре занял проходимец, имя которого словно говорило о его сути — Григорий Распутин.

Сын сибирского крестьянина-кулака, Григорий Распутин в молодости занимался конокрадством и вел разгульную жизнь. Сблизившись с сектантами-«хлыстами», он вдруг объявил себя «святым», стал шататься по монастырям, «пророчествовать» и «исцелять». Довольно быстро добрался до Петербурга и через дядю царя, великого князя Николая Николаевича, был введен во дворец, где в короткое время приобрел неограниченную власть и влияние.

Распутин и его камарилья распоряжались любыми вопросами внешней и внутренней политики страны, увольняли и назначали министров, созывали и распускали Государственную думу, вели тайные переговоры с послами иностранных государств. Мракобесие сочеталось с продажностью, суеверия и моральное гниение — с холодным, расчетливым самообогащением. Но тайное неизбежно становится явным. Слухи о «распутинщине» расползались по стране.

Даже самая верхушка правящих классов поняла, что дальше так продолжаться не может.

Стремясь спасти династию от позора и крушения, группа монархических заговорщиков (князь Юсупов, великий князь Дмитрий Павлович, знаменитый черносотенец Пуришкевич) заманила Распутина во дворец Юсупова. Напоив Распутина, они убили его, нанеся ему множество ран, а труп бросили в прорубь реки Малой Невки.

Убийство Распутина было задумано ими, как первое звено дворцового переворота: они хотели устранить Николая II и передать трон его брату, Михаилу Романову. С помощью дворцового переворота они надеялись предотвратить революцию. Расчеты заговорщиков, однако, не оправдались: кризис зашел слишком далеко; спасти насквозь прогнившее здание российского самодержавия было невозможно.

Россия была накануне революции. Это признавали даже агенты охранки. В записке начальника Петербургского охранного отделения на имя начальника департамента полиции говорилось:

«Настроение масс в настоящее время агентурой приравнивается к общественному настроению 1904 года, непосредственно перед смутой 1905 года».

С начала февраля 1917 года развитие событий приобрело необычайную стремительность. Знамя восстания поднял пролетариат. Его поддержала масса солдат столичного гарнизона. Вдохновляла, направляла, организовывала борьбу масс большевистская партия. «Война войне! — призывали большевистские листовки, печатавшиеся в подпольных типографиях. — Долой царскую монархию! Да здравствует международная социалистическая революция!»

Петроград напоминал кипящий котел. Улицы были запружены демонстрантами. Число бастующих перевалило за двести тысяч. Правительство двинуло против демонстрантов пешую и конную полицию и вызвало в Петроград кавалерийские части. Многие рабочие были арестованы.

«Надвинулось время открытой борьбы! — говорилось в выпущенной в эти дни большевистской листовке. — Лучше погибнуть славной смертью, борясь за рабочее дело, чем сложить голову за барыши капитала на фронте или зачахнуть от голода и непосильной работы... Впереди борьба, но нас ждет верная победа. Все под красные знамена революции! Долой царскую монархию! Да здравствует демократическая республика! Да здравствует восьмичасовой рабочий день! Вся помещичья земля народу!.. Долой войну! Да здравствует братство рабочих всего мира! Да здравствует социалистический интернационал!»

11

О Февральской революции написано немало воспоминаний. Особое место среди них занимают воспоминания человека, которого мы не раз называли на страницах нашей книги, — Василия Андреевича Шелгунова.

Как мы помним, В. А. Шелгунов ослеп, находясь в царской тюрьме. Особенность его рассказа о Февральской революции состоит именно в том, что он передает впечатления, которые уловил «на слух».

Ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое февраля Василий Андреевич провел на Выборгской стороне. Скрываясь от ареста, он переночевал на дежурном пункте «Общества электрического освещения 1886 года». Проснувшись утром, первым долгом поспешил к дежурному монтеру, чтоб спросить: «Как нагрузка?»

По приборам на пульте управления можно было узнать о расходе электроэнергии и таким образом определить, работают ли заводы.

На вопрос Василия Андреевича дежурный ответил:

— Нагрузка почти на нуле. Видно, забастовали последние заводы.

Тем временем на электростанцию стали приходить монтеры и установщики. Один из них рассказал, что казаки, посланные на Выборгскую сторону для «подавления смуты», проезжая мимо бастующих рабочих, неприметно бросили им записку:

«Ходите смело. Мы стрелять не будем. Только не кидайте в нас камнями, а то будет плохо».

Кто-то пришедший с Финляндского вокзала сообщил, что там, на вокзальной площади, выстрелом из толпы убит помощник пристава Выборгской стороны и ранен околоточный надзиратель.

Василий Андреевич Шелгунов вместе с одним из монтеров вышел на улицу. Он услышал шаги большой толпы, идущей по мостовой, и доносившееся издалека цоканье копыт, которое становилось все более громким, все более близким. Он ждал звуков выстрелов, столкновений. Но нет! Чутким ухом слепого он расслышал, что кавалерийские кони, поравнявшись с толпой, спокойно продолжают свой путь, двигаясь среди людей. Так оно и было: казаки, мчавшиеся навстречу толпе, подъехав к ней вплотную, слегка приостановили коней. Рабочие расступились, но не разбежались

по тротуарам, и казаки проехали рядами, сохраняя строй, а навстречу им такими же ровными рядами продолжали идти рабочие. Но кое-кто из казаков, видимо, оказался не слишком дружелюбен, ибо из толпы послышались возгласы:

— Не нравится, так стащим с лошади...

Выйдя вместе со своими спутниками на Невский, Василий Андреевич различил сквозь шум толпы легкие звуки кавалерийской рыси и сделал вывод, что по Невскому проезжает какая-то кавалерийская часть. Но тут со стороны Московского вокзала послышался тяжелый конский топот. Так скачет конная полиция. Раздались крики: это полицейские врезались в толпу. Кавалеристы поскакали им наперерез. Произошло замешательство. Полицейские кони помчались прочь. Раздалось вслед несколько выстрелов. Одним из них был убит пристав. После этого толпа с пением пошла по Невскому, а позади нее шагом ехали кавалеристы. В морозном воздухе разносились слова революционной «Марсельезы»:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног...

Эту ночь Шелгунов провел у товарищей на Шлиссельбургском тракте. Утром вышел на улицу. Трамваи не ходили. Проехало несколько карет и автомобилей по направлению от Петербурга. Значит, кто-то поспешно покидал город.

На Старо-Невском стояла полицейская застава, которая приказывала всем подходившим:

— Сворачивай в сторону!

— Почему не пропускаете? — слышались негодующие голоса.

— Не велено, и все! Сворачивай в сторону!

Поперек Невского стояли конные и пешие солдаты и городовые. По Бассейной шла воинская часть. Поспешный, нервный шаг выдавал то напряженное состояние, которое она испытывала.

Василий Андреевич попросил своего спутника вглядеться

в лица солдат. Тот сказал, что солдаты смотрят только вперед, лица сурово-сосредоточенные.

Командир подал отрывистую команду. В голосе его прорывалась злобная дрожь.

— А ведь они стрелять будут! — сказал Василий Андреевич.

На Екатерининской улице Василий Андреевич на что-то наступил и поскользнулся. Спросил своего спутника, что это такое. Оказалось, что он наступил на осколок уличного фонаря, лежавший в луже крови.

Заиграл рожок. Как бывший солдат, Василий Андреевич хорошо знал пехотные сигналы и предупредил своего спутника, что сейчас будут стрелять. Ворота были заперты; им только удалось прижаться к подворотне. Когда раздались выстрелы, рядом прижалось еще несколько человек. Спутник сказал, что поперек Невского лежит солдатская цепь и стреляет, спокойно прицеливаясь. Стрельба продолжалась минут пять, потом послышался сигнал отбоя.

Со стороны Шпалерной, где горело подожженное толпой здание Окружного суда, доносилась пулеметная стрельба. Это расстреливали последние пулеметные ленты полицейские, забравшиеся на крыши домов.

Выйдя на Невский, Шелгунов и его спутник направились к Аничкову мосту. Тротуары были запружены народом, идти пришлось посредине торцовой мостовой. Шедших обгоняли кавалеристы, так что прохожие оказывались между лошадьми. Внезапно со стороны Аничкова дворца застрочил пулемет. Кавалеристы кинулись в боковую улицу. Было похоже, что пулемет стрелял именно по ним.

На Марсовом поле наперерез толпе, шедшей с красными флагами и певшей революционные песни, вылетел отряд казаков-донцов. Раздалась команда казачьего офицера: «Пики к бою, шашки вон!»

Привстав на стременах, нагнувшись, с пиками наперевес казаки неслись на толпу.

«Неслись и... не донеслись, — вспоминает очевидец. — Перед безоружными людьми казачья лава вдруг заметалась, донцы на всем скаку остановили лошадей, опустили пики

и шашки, несмотря на окрики есаула; кони и всадники смешались с толпой, на уздечках и седлах, на кокардах появились красные ленточки. Оплот старой России, казаки-донцы, с кумачовыми флажками на пиках!!!»

К вечеру стало известно, что часть Павловского полка разобрала ружья и присоединилась к революции. А ночью и учебная команда Литовского полка — та, что вела стрельбу на Невском, — устыдившись, решила расправиться с офицерами.

С утра двадцать седьмого февраля солдаты и рабочие стали усиленно разоружать офицеров и забирать автомобили. Улицы были полны взволнованным народом. На фабриках, заводах и в воинских частях происходили выборы в Советы рабочих и солдатских депутатов. Победа революции стала несомненной.

Дальнейшие события развивались с молниеносной быстротой. Рабочие стачки и демонстрации охватили весь город. Особо активно проявляли себя женщины-работницы и солдатские жены и вдовы. Армия перешла на сторону народа.

Второго марта Николай II вынужден был подписать отречение от престола. Попытки сохранить монархию, сделав императором Михаила Романова, встретили гневный отпор народных масс.

Самодержавие было низвергнуто.

Исполнилось великое пророчество русского рабочего-революционера Петра Алексеева, словами которого закончил Ленин свою статью в первом номере «Искры»:

«...И подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!!!»

Глава восьмая

ОГНИ СМОЛЬНОГО

1

Февральская революция была восторженно встречена широкими народными массами. Повсюду происходили митинги, звучали революционные речи и революционные песни, алели красные знамена. Ликующие толпы взламывали ворота царских тюрем, срывали железные замки и засовы, отворяли двери камер, освобождали заключенных.

Но пока народ предавался радости освобождения, в наглухо закрытых кабинетах происходили секретные совещания, командующим армиями рассылались шифрованные телеграммы, в тиши и в тайне буржуазия торопилась прибрать к рукам власть.

Она понимала, что спасти монархию ей не удастся. «Провозглашение императором великого князя Михаила Александровича подольет масла в огонь, и начнется беспощадное истребление всего, что можно истребить, — читаем мы в одной из секретных телеграмм того времени. — Мы потеряем и упустим из рук всякую власть, и усмирить народное волнение будет некому...»

Буржуазии не удалось бы совершить ее темное дело, если б не поддержка так называемых «социалистических» партий — меньшевиков и эсеров. Они воспользовались тем, что большевики находились в тюрьмах, ссылках, на каторге, в эмиграции, и, усыпив бдительность масс, за их спиной, вручили власть буржуазному Временному правительству.

«Никакой поддержки Временному правительству!» — отвечали на это большевики. Это правительство не даст народу ни мира, ни хлеба, ни свободы. Оно будет вести кровавую грабительскую войну во имя прибылей капиталистов. Оно оставит землю помещикам. Оно сохранит в неприкосновенности старый эксплуататорский строй. И, собравшись с силами, разгромит революцию.

Только один путь приведет революцию к победе: «Вся власть Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов!», «За мир, хлеб, свободу!»

Буржуазия сразу почувствовала, что большевики — ее смертельные враги. Особенно боялась она Ленина. Поэтому в первые же дни революции Временное правительство предприняло меры, чтоб воспрепятствовать возвращению Ленина в Россию.

2

Февральская революция застала Ленина в Швейцарии, в Цюрихе. «Его кипучей энергии было до безумия тесно в швейцарской клетке», — писал близко знавший его в тот период Вячеслав Алексеевич Карпинский. Известия из России приходили редко и скудно рассказывали о жизни партии, страны, народа. Для Ленина они были, по словам Карпинского, «как несколько капель дождя томимому палящим зноем узнику. . .».

Вечером второго марта улицы Цюриха огласились звонкими выкриками мальчишек-газетчиков: «Экстренный выпуск газеты «Цюрихская почта»! Революция в России! Царь Николай отрекся от трона! . .»

Некоторые решили, что это очередная газетная выдумка. Но Владимир Ильич своим безошибочным политическим чутьем почувствовал, что дело серьезно. Он давно уже предвидел, что Россия идет к революции, и сообщение «Цюрихской почты» не было для него неожиданным.

На следующий день все газеты были полны подробностями событий в России. Стало известно не только об отречении Николая II, но и о создании буржуазного Временного правительства. Едва победив, революция оказалась лицом к лицу с величайшей угрозой всем ее завоеваниям.

Место Ленина было в России! Он стремился туда всем сердцем, всеми думами и помыслами.

Но как было туда добраться?

Проехать легально через Францию и Англию?

Это было безнадежно: правительства этих стран не скрывали, что ни в коем случае не пропустят в Россию противников войны, и прежде всего Ленина и большевиков, и упрячут их в тюрьму или интернируют в лагерях.

Ехать нелегально? Но как?

Строились самые смелые и фантастические планы: Владимир Ильич поедет с шведским паспортом, притворившись глухонемым. Он возьмет паспорт у кого-либо из товарищей, наденет парик, синие очки и станет неузнаваем и сумеет проехать.

Однако все эти планы были уязвимы, и от них пришлось отказаться.

«Надо было видеть Ленина в эти дни! — восклицает один из членов швейцарской большевистской колонии. — Сказать, что это был лев, только что схваченный и посаженный в клетку, или сравнить его с орлом, которому только что обрезали крылья, — все это было бы бледно... Вся его гигантская воля в это время была сконцентрирована вокруг одной мысли: поехать!

И все, кто тогда с ним встречался, разговаривал, чувствовал, что все преграды будут им преодолены и он будет в ближайшее время в России. Если понадобится «полететь на крыльях», он полетит».

После множества попыток и раздумий выяснилось, что выход только один: проехать через Германию.

Идея эта принадлежала не большевикам, а вождю меньшевиков Мартову. Но поток клеветы обрушился впоследствии именно на большевиков.

С помощью швейцарского социалиста Платтена удалось договориться, что германское правительство предоставит тем, кого не пропускают в Россию Англия и Франция, вагон, в котором они проедут через Германию. Сопровождал этот вагон Платтен. Никто из ехавших в нем не выходил на станциях, что послужило потом основанием для вражеской клеветы, будто Ленин приехал в Россию в «запломбированном вагоне».

Всю дорогу Владимир Ильич сосредоточенно думал. С утра до поздней ночи ходил взад и вперед по вагону. Мыслями он был уже в России.

Поезд миновал Германию. Дальше были Швеция, Финляндия.

Меньше десяти лет назад Владимир Ильич совершил этот же путь в обратном порядке. Тогда российская революция потерпела поражение, теперь она одержала победу.

Но это было только начало борьбы.

Революция должна была подняться на более высокую ступень.

От первого ее этапа, отдавшего власть буржуазии, ей предстоял переход ко второму этапу, который должен был передать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства.

Первое соприкосновение Владимира Ильича с русской революцией произошло еще в пути, за несколько часов до приезда в Петроград. В том же поезде ехало много солдат и бледный поручик, сторонник продолжения войны «до победы». Владимир Ильич подсел к нему и заговорил, защищая свою точку зрения. А в вагон мало-помалу набирались солдаты.

«Скоро набился полный вагон, — вспоминает Надежда Константиновна. — Солдаты становились на лавки, чтобы

лучше слышать и видеть того, кто так понятно говорит против грабительской войны. И с каждой минутой росло их внимание, напряженнее делались их лица».

В Белоострове, на русской границе, приехавших встретила Мария Ильинична Ульянова и несколько близких товарищей. Владимир Ильич спрашивал у них, не арестуют ли всех по приезде. Товарищи улыбались, явно готовя ему приятную неожиданность.



И вот показались заводские трубы Выборгской стороны. Когда Владимир Ильич вышел на привокзальную площадь, вся она была запружена народом. Слышалось пение «Марсельезы» и «Интернационала». В небе пробегали лучи прожекторов.

Посреди площади стоял броневик. Владимир Ильич поднялся на него и произнес речь, обращенную к народу. В ней он приветствовал революционный русский пролетариат и революционную русскую армию, которые не только освободили Россию от царского деспотизма, но и положили начало социальной революции в мировом масштабе. Указав, что пролетариат всего мира с надеждой смотрит на смелые шаги русского пролетариата, он закончил свою речь призывом:

— Да здравствует социалистическая революция!

Слова его были покрыты возгласами «Ура!» и громом аплодисментов. Броневик двинулся по направлению к особняку Кшесинской, где помещался тогда Центральный Комитет большевистской партии. Толпа пошла за ним, и митинг продолжился на площади.

Владимир Ильич приехал в Петроград поздно вечером 3 апреля, он покинул его в начале июля.

О том, чем жил, дышал, что думал, за что боролся Ленин в эти месяцы, мы знаем от него самого. Целый том в полтысячи страниц речей и статей, опубликованных

в «Правде»,— таков поистине титанический итог его работы за этот период революции.

Что еще знаем мы о жизни Ленина в эти месяцы? Взволнованные рассказы людей, которым выпало счастье его видеть, слышать, разговаривать с ним. Потрясающее впечатление, произведенное его речью с залитого светом прожекторов броневика. Еще темную, но уже короткую в это время года ночь. Особняк Кшесинской. Первую беседу с товарищами. Первое выступление с балкона перед рабочими, матросами, солдатами.

Дальше события идут плотной чередой. Они захватывают и дни и ночи. Владимир Ильич работает с предельным напряжением сил. «По приезде в Питер я мало стала видеть Ильича, — рассказывает в своих воспоминаниях Н. К. Крупская, — он работал в ЦК, работал в «Правде», ездил по собраниям». Товарищам по работе Надежда Константиновна говорила, что сама она уходит из дому раньше, чем Ильич, но он зато возвращается поздно, нередко уже под утро.

Его дни, разумеется, не походили один на другой. Общим было только то, что каждый свой день он начинал с чтения огромного количества газет. Иногда работал с утра у себя. Иногда сразу же уходил, чаще всего в особняк Кшесинской. Там он проводил обычно первую половину дня. Вторую же половину, вечер и часть ночи работал в «Правде».

Положение в Питере и в стране было тогда настолько острым, повороты истории так круты, что до последней минуты, пока номер газеты не пошел в печатную машину, нужно было быть готовым внести необходимые поправки.

3

Случилось так, что оба штабных пункта большевистской партии — и Центральный Комитет, и редакция «Правды» — помещались тогда в самом центре буржуазных кварталов: ЦК — у въезда в Каменноостровский проспект, проспект

петербургских богачей, редакция «Правды» — на Набережной реки Мойки, неподалеку от Невского.

С Широкой улицы, где жили тогда Владимир Ильич и Надежда Константиновна, к дому Кшесинской можно было пройти боковыми улицами Петроградской стороны, но так или иначе надо было пересечь Каменноостровский. А в «Правду» или из «Правды» нельзя было попасть, не почувствовав горячее дыхание Невского проспекта, не услышав особенный шум тогдашнего Невского — с разномастной, непрерывно митингующей толпой, с юркими биржевиками, мечущимися из кафе в кафе («Продаю-покупаю! Даю франки — беру доллары!»). С дамами в мехах и шелках. С великосветскими хлыщами — белые гетры, монокли, брюки цвета сливочного мороженого. С казачьими полусотнями, проезжавшими небыстрой рысью посередине мостовой, — пики у стремени, винтовки через спину, деревянные лица, деревянные усы, деревянные глаза.

Но порой на этом Невском появлялись иные люди: не в шляпах, а в кепках; не в лаковых ботинках, а в рваных сапогах, испещренных дырочками от брызг расплавленного металла. На женщинах были бумажные платочки, ситцевые юбки, нитяные чулки, кофты навыпуск, козловые башмаки с ушками.

Эти люди мерно и неудержимо двигались вперед; над их головами ярким пламенем вспыхивали алые знамена с надписями: «Долой войну!», «Долой министров-капиталистов!», «Вся власть Советам!»

И тогда казаки поворачивали свои деревянные лица и снимали висевшие за спиной винтовки. Раздавались выстрелы. Воспетую поэтами торцовую мостовую заливала кровь. Рабочая кровь.

Река Мойка вяло течет между гранитными берегами. Лишь тогда, когда солнце стоит высоко, поверхность воды отливает серебром. В остальное время вода кажется черной и неподвижной.

До революции в доме № 32 по Набережной Мойки помещалось издательство монархической газетки «Сельский вестник». Но 4 марта 1917 года туда явился старый «правдист» Константин Степанович Еремеев, которого весь рабочий Питер звал ласковым именем «дядя Костя». С ним был отряд вооруженных рабочих и солдат. Еремеев прогнал юнкеров и занял помещение и типографию для «Правды».

В ту же ночь был отпечатан стотысячным тиражом первый после революции номер заново родившейся на свет славной рабочей газеты.

Тотчас по приезде в Россию Владимир Ильич Ленин возглавил редакцию «Правды» и начал работать в ней изо дня в день, из ночи в ночь. Он проходил по Набережной Мойки, подымался по каменной лестнице, заходил в постоянно полную народа комнату, в которой помещался секретариат. В комнате поменьше он обсуждал с товарищами вопросы, встававшие перед партией и ее газетой. Иногда он уединялся, чтобы поработать или поговорить с посетителем в совсем крохотной комнатушке сбоку.

Обычно Ленин работал в редакции с обеда и допоздна. Заражал всех своей неиссякаемой энергией. Шутил в трудные минуты. Присаживался к столу и среди шума и разговоров писал страницу за страницей быстрым почерком с наклонными, словно летящими буквами. После того как все расходились, оставался еще в редакции и подолгу шагал из угла в угол. Подходил к раскрытому окну. Всматривался в призрачный сумрак белой ночи. Прислушивался к немолчному говору великого города.

Домой он возвращался пешком. Он вообще тогда по большей части ходил пешком: в переполненные трамваи сесть было невозможно, а извозчики были ему не по карману. Появился было в распоряжении редакции «Правды» допотопный автомобиль модели чуть ли не прошлого века, этакое плюющееся и рычащее черное чудовище, которое за его характер называли то «ишаком», то «трещоткой», то «вонючкой». Появился — и быстро сдох, не выдержав чрезмерной нагрузки. Зато когда надо было выступать на заводах или



в воинских частях, оттуда присылали грузовики — великолепные грузовики революции со стоящими в кузове и на подножках вооруженными рабочими и солдатами, сжимавшими в побелевших от усилия кулаках винтовки без штыков.

Разгул травли против большевиков был еще впереди, однако уже в апреле контрреволюционные демонстранты носили плакаты с надписями: «Долой Ленина!» Из их рядов уже доносились призывы потребовать от Временного правительства указа о немедленном аресте Ленина и о запрещении большевистской партии.

Поэтому товарищи старались не отпускать Владимира Ильича одного. Он ворчал, но покорялся. Всю дорогу до дома он шел обычно молча — то ли потому, что уже слишком уставал, то ли хотелось ему на ходу подумать.

Владимир Павлович Милютин, который не раз провожал Владимира Ильича на Петроградскую сторону, рассказывал, что они обычно сразу сворачивали направо и шли через Марсово поле к Троицкому (ныне Кировскому) мосту через Неву. Но как-то Владимир Ильич не свернул, а пошел вдоль Набережной Мойки и, поравнявшись с домом № 12, замедлил шаг и негромко спросил:

— Вы знаете, что в этом доме умер убитый Пушкин?

Вследствие своей неточности («умер убитый») эти слова особенно запомнились Милютину. Впрочем, эта неточность как бы подчеркивала их трагическое звучание.

Выходя из редакции «Правды», Владимир Ильич и его спутники видели прикорнувших на ступенях людей. Это были посланцы из рабочих районов, пришедшие пораньше, чтобы сразу же после выхода газеты отвезти ее на фабрики и заводы.

Чем накаленнее делалась травля большевиков, тем все более трудной и опасной становилась работа этих товарищей.

Недавно мне довелось беседовать с одним из них — Василием Митрофановичем Шмарцевым, ныне старым большевиком, а тогда молодым питерским рабочим. Рассказ его относится, правда, к более позднему времени, к предоктябрьским дням. Но и в июне, не говоря уже о первых числах июля, творилось примерно то же.

«Получал я тогда приблизительно 250—300 экземпляров газеты, — вспоминает товарищ Шмарцев. — Газеты я запихивал в вещевой мешок и отвозил трамваем на Выборгскую сторону, на завод «Промет».

Основная мысль, которая шевелилась тогда у меня в голове, — это как проскочить благополучно через центр, ибо изо дня в день происходили случаи провокаций и убийств, а «виновных нет». Убивали — и сразу рассыпáлись в стороны. Особенно часто это бывало на Невском и Литейном; достаточно припомнить самосуд над Воиновым, которого буквально растерзал на улице контрреволюционный сброд за то, что он распространял «Правду». Начинали такой самосуд обычно под видом расправы с карманным вором. Какой-нибудь тип вскрикивал: «Он у меня бумажник вытащил!» — и набрасывался на красногвардейца. У типа тут же появлялись помощники, они избивали красногвардейца, нередко до смерти.

Вспоминаю одного безногого офицера на роликовой тележке, щеголевато одетого, обвешанного георгиевскими крестами и другими наградами. Он прокатывался взад и вперед по правой стороне Литейного (если идти от Невского к Неве) и выкрикивал антибольшевистские лозунги, стараясь при этом затеять ссору с прохожими. Если эта провокация ему удавалась, мгновенно рядом с ним появлялось шесть-семь человек. Начинался крик: «Почему раненого героя обижаешь?» Дальше толчок, другой — и человек лежит на тротуаре избитый, весь в крови».



К середине мая петербургские ночи становятся такими светлыми, что в любой час, когда ни выйдешь к Неве, сквозь мутную воду видно у берега желтоватое песчаное дно и круглые, обкатанные камни — голыши. Небо в такие ночи бывает бледным, одноцветно-серым. Только перед восходом солнца оно окрашивается на востоке алой полоской зари.

Там, на востоке, находится Шлиссельбургская крепость, в которой был повешен старший брат Владимира Ильича — Александр Ульянов.

Каждая улица, каждая площадь, каждый дом, мимо которого в эти ночи проходил Ленин, напоминали о борьбе.

Зимний дворец. Из его окна император Николай I наблюдал за расстрелом восстания декабристов. Около века спустя его правнук Николай II, быть может, у того же окна глядел на площадь перед дворцом, ставшую ареной Кровавого воскресенья Девятого января 1905 года.

Миллионная улица. Здесь Степан Халтурин готовил взрыв царского дворца. Малая Садовая. Тут находилась сырная лавка, из которой народовольцы вели подкоп. Екатерингофский канал. Там, где ныне возвышается церковь «Вознесения на крови», народовольцы казнили Александра II. Троицкий мост. По нему лучших сынов и дочерей России везли в черных, наглухо закрытых каретах в Петропавловскую крепость, чтобы отправить на эшафот или же превратить в живых мертвецов, замурованных на годы, а то и навечно в каменной могиле.

Ленин шел по этому мосту. Слева вонзался в небо слабо светящийся в предутренней дымке острый золотой шпиль, справа дымили трубы заводов Выборгской стороны. Большевистской! Той, которую уже в апреле и мае буржуазная печать стала называть «ленинским гнездом»!

В ту весну и лето даже в самые поздние часы улицы были многолюдны. Дня не хватало, чтобы вместить все, что хотелось людям сделать, о чем хотелось переговорить. Они

собирались кучками, то митинговали, то просто разговаривали — и со знакомыми, и с незнакомыми. Всякое там можно было услышать: и раешник, которым сыпал разбитной мастеровой про царя Николашку, жену его Сашку, как они по воду ходили, щи из крови варили, бедных не любили, а богатых дарили. И рассуждения солдата-фронтовика, что хорошо бы посмотреть на Керенского и прочих министров-капиталистов в лаптях, какими-то они будут вояками, если их поставят в окопах по колено в воде и грязи. И пожелание немолодой работницы, чтобы пушки перелить в наперстки. И характеристику Ленина, как человека, который «весь народ наскрозь знает». Ну конечно, и злобное шипение насчет «немецких шпиёнов» и «пломбированного вагона».

О тех днях Надежда Константиновна рассказывает:

«Раз я с Широкой до особняка Кшесинской три часа шла, так занятны были эти уличные митингования. Против нашего дома был какой-то двор, вот откроешь ночью окно и слушаешь горячие споры. Сидит солдат, около него постоянно кто-нибудь — кухарки, горничные соседних домов, какая-то молодежь. В час ночи доносятся отдельные слова: большевики, меньшевики... в три часа: Милюков, большевики... в пять часов — все то же, политика, митингование. Белые ночи питерские теперь у меня всегда связываются в воспоминании с этими ночными митингованиями...»

Но были и иные ночи, те ночи, когда словно бьют часы истории. Были мгновения, которые навеки останутся в памяти человечества. Подобные тому, когда в ответ на слова министра Временного правительства меньшевика Церетели, что в России нет партии, которая взяла бы на себя всю полноту власти, из глубины зала прозвучал сильный, страстный голос Ленина:

— ЕСТЬ!.. ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!

Да, такая партия была! Она жила, боролась, действовала, сплачивала вокруг себя массы, готовила их к решающему штурму.

Это была партия большевиков, которая после Октябрьской революции приняла название Коммунистической партии.

По всей стране возникали большевистские организации.

Их ядро составляли обычно деятели большевистского подполья, возвратившиеся из тюрем, ссылок, с каторги. Они работали в самой гуще масс. Участвовали в общей работе партии, посылая своих представителей на партийные съезды и конференции. Проводили в жизнь решения партии. С глубоким вниманием вчитывались в каждое слово Ленина, в каждую страницу «Правды».

Весь июнь семнадцатого года был насыщен событиями. Владимир Ильич продолжал работать с нечеловеческим напряжением. В «Правде» ежедневно появлялось по одной, по две, по три его статьи.

К концу месяца он так переутомился, что потерял сон. Решил поехать на несколько дней отдохнуть за город. Но его отдых был оборван событиями, разыгравшимися в Петрограде.

Эти события вошли в историю под названием «июльских дней».

В момент, когда перевес сил находился еще на стороне контрреволюции, массы питерских рабочих, солдат и матросов, возмущенные политикой Временного правительства, вышли на улицы с требованием немедленной передачи власти Советам.

Одним из первых поднялся пулеметный полк, делегаты которого явились в особняк Кшесинской на общегородскую конференцию большевиков сообщить, что полк разослал своих представителей по всем воинским частям с призывом к выступлению, и просили поддержки у большевиков. Конференция ответила отказом, считая выступление преждевременным. Но вечером подошли еще два полка со знаменами, на которых было написано: «Вся власть Советам!», а затем — рабочая демонстрация с такими же лозунгами и знаменами. Тогда ЦК партии, учитывая настроение масс, дал лозунг мирной демонстрации.

На следующий день, 4 июля, в движении участвовало

свыше полумиллиона рабочих и солдат. Из Кронштадта прибыли матросы. Демонстрации стягивались к Таврическому дворцу. На углу Невского и Литейного по демонстрантам был открыт огонь. Завязалась перестрелка...

4

Ранним утром этого дня Владимир Ильич Ленин приехал в Петроград. Отправился в Центральный Комитет партии. Взял на себя непосредственное руководство деятельностью партии в этот трудный, сложнейший момент. По просьбе демонстрантов выступил с балкона с речью, в которой призвал рабочих, солдат и матросов к выдержке, стойкости, бдительности.

В ночь с 4 на 5 июля он руководил заседанием членов ЦК, на котором было принято решение прекратить демонстрацию и призвать ее участников мирно разойтись по заводам, казармам, кораблям. С этого заседания он отправился в «Правду», оттуда — домой.

Он только-только ушел, как в редакцию «Правды» ворвались юнкера. Искали Ленина. Ломали шкафы. Рубили топорами столы. Били стекла. Рвали бумаги.

Перед домом собралась орущая, гогочущая толпа. Какой-то детина стал кидать из выбитого окна в реку скомканную в шары бумагу, обломки мебели и дерева.

Среди того, что он бросил, был небольшой деревянный щиток — то ли обломок транспаранта, то ли подставка. Упав в воду, он не пошел ко дну, а плавно повернулся, сделал круг и поплыл. На какую-то долю минуты в солнечном блеске на нем блеснуло омытое водой, написанное красным с золотом слово «Правда».

Так оно и должно было быть. Недаром народная мудрость гласит, что «п р а в д а в огне не горит и в воде не тонет...».

Утром 5 июля к Владимиру Ильичу прибежал взволнованный Яков Михайлович Свердлов. Рассказал, что редакция

«Правды» разгромлена, за Лениным идет охота, с минуты на минуту за ним могут явиться, надо немедленно уходить. Куда? Выбор пал на квартиру жившей неподалеку Марии Леонтьевны Сулимовой.

Там Владимир Ильич провел около суток. Почти не спал, все время работал. Написал пять статей, которые были опубликованы в вышедшей вместо «Правды» большевистской газете «Листок «Правды».

В этот же день в черносотенной газетке «Живое слово» появилась сфабрикованная провокаторами фальшивка: Ленина обвиняли в государственной измене и шпионаже в пользу Германии. Клевета была подхвачена всеми буржуазными газетами, которые вышли с аршинными заголовками, кричавшими о «большевистском заговоре», о «тысячеголовой и тысячерукой большевистской гидре», и на все лады раздували подлую клевету против большевиков. Некоторые газеты поместили на первых страницах портреты Ленина, не скрывая, что они делают это специально для того, чтобы помочь убийцам напасть на его след.

В ночь с 5 на 6 июля был разгромлен дом Кшесинской. В руки погромщиков попало много документов. По этим документам было легко установить, что Мария Леонтьевна Сулимова, у которой скрывался Владимир Ильич, является активным работником большевистской военной организации.

Оставаться у нее на квартире было опасно: надо было уходить.

Утром 6-го Владимир Ильич перешел на Выборгскую сторону, на квартиру рабочего Василия Николаевича Каюрова. Оттуда он пошел на совещание Исполнительной комиссии Петербургского комитета партии, которое происходило в сторожке завода «Русский Рено».

Вечером там же, на Выборгской стороне, в квартире Маргариты Васильевны Фофановой Владимир Ильич провел узкое совещание членов Центрального Комитета партии. Около одиннадцати часов вечера за ним заехал товарищ Ашкенази, чтоб отвезти его в город на квартиру Николая Гурьевича Полетаева. Владимир Ильич сел в автомобиль,

который удалось получить на этот день на заводе «Русский Рено».

К этому времени на Выборгскую сторону уже были стянуты казаки. Улицы казались вымершими. Мосты через Неву, за исключением одного Дворцового, были разведены.

Чтобы замести следы на случай, если ведется слежка, машина долго кружила по незнакомым улицам. Она наткнулась на патруль, но он ее не задержал, так как у Ашкенази имелся надлежащий пропуск. Владимир Ильич сидел молча и за все время не произнес ни слова.

Уже далеко от Дворцового моста стал слышен ровный глухой шум. Все подъезды к мосту были запружены автомобилями, экипажами, пешеходами. Вооруженные заставы по нескольку раз проверяли пропуска и документы. Иногда патрульные, не удовлетворившись проверкой пропуска, открывали дверцы машин и заглядывали внутрь, зажигая карманные электрические фонарики.

Машины двигались крайне медленно. Кругом шли разговоры о том, что в Петроград часа два тому назад приехал с фронта Керенский. Что он произнес перед войсками речь, в которой призывал «в два счета» покончить с большевиками. Что в город продолжают прибывать воинские части, вызванные на подавление революционного Петрограда. Что Временным правительством отдан приказ об аресте Ленина, Ленин скрывается в Петрограде, и всё, что творится здесь, на мосту, имеет лишь одну цель: поймать Ленина. Несколько большевиков уже арестовано, Ленина среди них нет, но раньше или позже он будет схвачен.

Было тяжко, душно. По небу ползли низкие темные тучи. Время от времени по ним пробегали короткие голубые отсветы далекой грозы. Под аркой Главного штаба чернели силуэты тяжелых броневиков. На Дворцовой площади, где были сосредоточены правительственные войска, горели костры, подходы к ней были перекрыты караулами. Все напоминало военный лагерь перед боем.



Машина медленно ехала через Невский, жаждавший крови Ленина. Какое счастье, что все обошлось благополучно!

Поздним вечером Владимир Ильич приехал к Н. Г. Полетаеву. Там он провел ночь, а наутро перешел на квартиру Сергея Яковлевича Аллилуева. В утренних газетах было напечатано сообщение, что Временное правительство издало приказ об аресте В. И. Ленина.

Первым душевным порывом Владимира Ильича было добиться открытого суда, явиться на суд и разоблачить клевету, превратив суд над большевиками в суд над контрреволюционным Временным правительством.

Однако большинство ближайших соратников Ленина решительно запротестовали против такого плана, считая, что отдать себя в руки властей значило бы отдать себя в руки отъявленных контрреволюционеров, которые не остановятся ни перед какой самой грязной провокацией, чтобы убить Ленина.

— Мы не выдадим Ленина, — сказал Ф. Э. Дзержинский.

— Мы протестуем против клеветнической кампании против партии и наших вождей, — поддержал Дзержинского Н. А. Скрыпник. — Мы не отдадим их на классовый, пристрастный суд контрреволюционной банды.

— Необходимо, чтобы Ленин, и живя в подполье, давал нам свои указания, — говорил Артемий Григорьевич Шлихтер. — С презрением отбрасывая клевету, мы говорим: не отдадим Ленина, — говорим не как обыватели, боясь репрессий, а как представители пролетариата, — не отдадим потому, что Ленин нам нужен...

Замысел контрреволюции был сорван! Вождь большевистской партии ушел в глубокое подполье.

Приют ему предоставил один из старейших большевистских рабочих, имя которого мы уже встречали на страницах этой книги: член Боевой организации 1905 года Николай Александрович Емельянов.

Емельянов знал, что если врагам удастся напасть на след

Ленина, то вместе с ним погибнет и он, Емельянов, погибнет и вся его семья. Но без колебаний поселил Ленина на чердаке своего домика в Разливе, потом в шалаше на сенокосном участке на берегу озера.

Шалаш этот, как рассказывал Емельянов, был устроен из веток; рядом с ним на кольях висел котелок, грелся чай. Но по ночам невыносимо надоедливые комары не давали покоя, как от них ни прячься.

Весь день Ленин сидел в своем излюбленном месте, за большой ивой, и писал статью за статьей.

Лес... Кругом темнота, тишина... Все сидят у костра, греют чай, варят картошку. Вдруг Ленин задает вопрос, над которым, видимо, не перестает думать ни на секунду: «Возьмем ли мы власть? А если возьмем, то сумеем ли ее удержать?»

И, выслушав мнение присутствующих, взвешивая все «за» и «против», отвечает: «Да, возьмем! Да, удержим!»

Там, в шалаше неподалеку от Разлива, Ленин прожил ровно месяц. Месяц, каждую секунду которого его жизни грозила смертельная опасность, но он, презирая опасность, работал над книгой «Государство и революция», в которой раздумывал над не покидавшим его ни на миг вопросом: что должен делать рабочий класс, чтобы победить и удержать государственную власть?



5

Время было тревожное. Все кругом было полно отголосками недавно пронесшихся событий 3—5 июля. В доме, где помещалась прежде «Правда», еще не были вставлены выбитые стекла.

На могиле нашего товарища Ивана Авксентьевича Воинова, убитого в июльские дни, еще не высохла земля.

И снова в тюрьмах появились политические заключенные.

На этот раз это были большевики, брошенные в тюрьмы по гнусному, ложному обвинению, что они являются германскими шпионами.

В «демократических» тюрьмах Временного правительства их встретили старые царские тюремные служаки.

Те же камеры.

Те же карцеры.

Те же нравы.

Та же тюремная похлебка, основное содержание которой, как рассказывали, смеясь, тюремные сидельцы, составляли «неразложившиеся остатки органической и неорганической природы».

Та же грубая каша, именуемая «шрапнелью».

До нас дошло несколько писем, тайно переданных на волю тюремными заключенными — большевиками:

«Утих говор, — пишет один из них, — утих сдержанный шепот, найдена удобная поза на голых нарах, и камера, только что наполненная суматохой дня, отошла ко сну. Как всегда обойденный сном, лежу я в нарном «гробу» с открытыми глазами. . .»

«Дни идут за днями, так похожие один на другой, — продолжает его товарищ по тюрьме.— Оторванные от непосредственной работы, уныло томимся среди каменных стен маленьких душных камер.

С позорным пятном изменников родины брошены в тюрьмы истинные, неустрашимые борцы за родину, народ, за честь. . .»

6

Преследования против большевиков дали эффект обратный тому, на который рассчитывали те, что их затеяли: никогда процесс революционизирования масс не шел с такой быстротой. Даже самые отсталые рабочие, чуравшиеся политики, как огня, приходили к пониманию своих классовых задач.

В то время, летом 1917 года, я, автор этой книги, состояла членом социалистического Союза рабочей молодежи — одной из тех организаций, из которых в будущем вырос многомиллионный комсомол.

Среди членов Союза молодежи был невысокий шустрый паренек, которого все звали просто Ваня, а вместо фамилии Скоринко — прозвищем «Вьюнок», данным ему за необыкновенную живость, подвижность, веселую бесшабашность.

Где бы ни затевался спор, куда бы ни надо было проникнуть агитатору-большевику, перемахнув для этого через забор или же пробравшись в щель, сквозь которую, казалось, могла пролезть только кошка, Ваня Вьюнок был тут как тут. Он не боялся ни бога, ни черта, ни пушек, ни пулеметов, пошел бы один против целой дивизии, но испытывал невероятный, прямо панический страх перед своим отцом.

Отец этот, рабочий Путиловского завода, суровый, богобоязненный, воспитывал свое единственное чадо «в строгости»: учил сына, что от поклона хозяину голова не отвалится; что политики — болтуны и балаболки, а истинный рабочий должен надеяться только на свои руки. В 1905 году отец на некоторое время поверил Гапону, но разочаровался в нем, а вместе с ним и во всякой революции.

Легко представить себе его гнев, когда весной семнадцатого года он узнал, что сын Ваня «записался в большевики». Отец категорически запретил Ване «бегать по собраниям» — тот продолжал. И тогда отец, нимало не смущаясь тем, что Ваня уже член партии, приказал сыну спустить штаны и отлупил его ремнем по соответствующему месту.



Вскоре после июльских событий дело приняло острый оборот: проходя неподалеку от Невского, Ваня увидел двух безногих инвалидов, которые, громко клянясь и призывая в свидетели бога, рассказывали, что сам Ленин предлагал им за вступление в большевистскую партию по миллиону рублей германским золотом.

Ваня стал ругать инвалидов, изобличая их в гнусной лжи. Но тут появились милиционеры Временного правительства. Ваню арестовали, отвели в участок, избили, продержали ночь, а утром вытолкали в шею.

Теперь-то настало для него самое страшное: весь дрожа при мысли о предстоящем разговоре с отцом, брел он домой. Но решил рассказать всю правду. И в минуту, когда рассказ дошел до ареста и избиения в милиции, услышал гневный голос отца:

— Ах ты паршивец!

Ваня был убежден, что гроза отцовского гнева обрушится на него за то, что он, Ваня, встал на защиту большевиков. Но нет.

— И ты стерпел, паршивец! — бушевал отец. — Да ты обязан был этим иродам в рожу дать! Чернильницей! Револьвером! Стулом! Рабочий не должен терпеть удара от буржуя. Ударил — получай обратно!

Но тут в диспут вступила мать.

— Вот старый дурак! — накинулась она на отца. — Сам выжил из ума и сына хочет за собой утопить. Большевики! Скоро сын без головы придет благодаря папаше. Офицеры оторвут.

Но отец, не обращая внимания, топнул ногой и сказал о сыне, что он, мол, и без головы хорош.

— Черт с ней, с его головой! — кричал отец. — За Ленина, за большевиков пусть оторвут! Но уж мы будем рвать за одну голову сотни! Один Путиловский завод разнесет всю буржуазию и сотрет в порошок весь Невский, если они тронут Ленина пальцем.

Потом отец ушел, а вернувшись домой, торжествуя, заявил, что отныне он красногвардеец, хотя ему уже сорок

семь лет. Как два красногвардейца, они с сыном пожали друг другу руки и расцеловались.

Такова была история, которую много раз слышали мы от Вани Вьюнка.

Теперь уж он пропадал целыми сутками в Союзе рабочей молодежи и в отряде Красной гвардии. Все его помыслы, да и не его одного, были заняты лишь одним: как бы раздобыть побольше оружия. В руках он держал винтовку, которая была ростом с него самого. Отцовское пальто, в которое он был одет, было перепоясано пулеметной лентой, а за нее были засунуты пистолет и тесак времен Петра I.

7

Анкеты порой кажутся скучными. Но есть анкеты и анкеты. В простых листах бумаги с вопросами и ответами, которые мне суждено было впервые держать в руках, был заключен неповторимый кусок истории.

Было это так. Однажды, в конце июля 1917 года, под вечер, возвращаясь с работы, я зашла в выборгскую районную думу, к Надежде Константиновне Крупской, и она мне сказала, чтоб я помогла товарищам из секретариата VI партийного съезда, который должен был открыться.

Как мы знаем, время тогда было тревожное. Лишь недавно пронеслись бурные события 3—5 июля. Большевиков преследовали.

Что ждало партию впереди?

Отвечая на этот вопрос, один молодой товарищ, не сумев справиться со словами «вариант», «оптимистический» и «пессимистический», сказал:

— Перед нами, товарищи, два вероянта: оптимальный и пессимальный...

Собрание захохотало и, по свойственной большевикам любви к острому, необычному слову, так и пошло: «пессимальный вероянт», то есть поражение революции, и «оптимальный вероянт» — ее победа.

Возможность «пессимального вероянта» учитывали. Одно из непременных большевистских правил гласило: «Надейся на лучшее, но будь готов к худшему». Имелись товарищи (в том числе моя мама), которые добывали надежные паспорта, припрятывали шрифты для подпольных типографий, подыскивали квартиры, которые в случае «пессимального вероянта» можно было бы превратить в нелегальные.

Но партия в целом сплачивала силы для иного, для «оптимального» варианта, в который твердо верила даже в самые тяжелые, в самые трудные дни.

Чтобы обеспечить победу этого варианта, в конце июля собрался VI съезд партии. И вот мне было поручено помочь товарищам, которые обслуживали работу съезда.

Всю ночь я спала плохо и проснулась рано, взволнованная, с бьющимся сердцем: ведь это было первое серьезное партийное поручение в моей жизни. И когда я пришла в дом «Сампсониевского братства», в котором начал свою работу съезд, и Яков Михайлович Свердлов велел мне достать тряпку и протереть окна, я восприняла это как важное партийное дело.

Задолго до назначенного часа стали подходить делегаты. Они тоже включались в работу: таскали стулья, передвигали скамьи. Наконец все было готово.

Единственным документом, оставшимся от работ съезда, является краткая секретарская запись: на стенографисток у партии не было средств, да и нельзя было пускать на этот полулегальный съезд посторонних людей.

Эта секретарская запись сообщает, что съезд был открыт старейшим его делегатом Михаилом Степановичем Ольминским. Он произнес вступительную речь. Затем были выслушаны приветствия питерских рабочих. Затем избран президиум. Затем обсуждался порядок дня и был утвержден регламент.

Все так и было. Однако эта скупая запись ни словом не передает того глубокого волнения, которым были охвачены собравшиеся здесь, в этом убогом зале с плохо выбеленными стенами. Она не рассказывает о том, как они встре-

чались друг с другом; как всматривались в лица, порой не сразу узнавая бывшего товарища по тюремной камере; как, словно о чем-то обыденном, вспоминали о трагических событиях, пережитых вместе, — провалах, арестах, годах одиночного заключения, тюремных бунтах, избиениях, каторжных работах, побегах; как делились рассказами о той борьбе. которую вели сегодня во имя победы социалистической революции.

Мне было поручено раздать делегатам съезда анкеты, потом собрать заполненные бланки и сделать по ним сводку.

На этих листках серой шершавой бумаги была записана повесть о лучших людях нашей партии, нашего народа.

Анкету заполнил сто семьдесят один делегат съезда. Они проработали в революционном движении в общей сложности тысячу семьсот двадцать один год. Их пятьсот сорок один раз арестовывали, более пятисот лет провели они в тюрьмах, ссылках, на каторге. Половина их имела высшее или среднее образование; другая половина получила лишь низшее образование; некоторые определили свое образование как «тюремное». Всего за несколько месяцев до этого съезда многие из тех, кто, перекидываясь шутками, сдавали мне заполненные листы анкеты, сидели за решетками или же звенели кандалами «во глубине сибирских руд».

Сегодня, когда они собрались здесь, на своем партийном съезде, история совершала один из самых крутых своих поворотов. Против большевистской партии ополчились все силы старого мира. «Большевики зашевелились», — злобно писала буржуазная печать и призывала к физической расправе над делегатами.

Примерно на четвертый день работы съезда на Выборгской стороне появились какие-то подозрительные шайки. Они бродили по улицам, явно готовя то ли провокацию, то ли нападение, и съезду пришлось перенести свои заседания за Нарвскую заставу. Но никто, глядя на его работу, прислушиваясь к жарким спорам, прерываемым порой веселым смехом, к докладам, в которых давался мастерский анализ обстановки в стране, к выступлениям, обоснованным

фактами и цифрами, к едким репликам и тонким шуткам, — никто не подумал бы, что эти люди, целиком поглощенные общим делом, знают, что им грозит смертельная опасность; знают, что каждого из них, быть может, ожидает гибель за дело революции; знают все это и продолжают работать с таким спокойствием и бесстрашием.

Ленина на съезде не было: он скрывался от грозящего ему ареста.

Шел второй или третий день съезда, когда дверь в переднюю комнату, где я сидела, распахнулась и появился делегат Кронштадта Флеровский вместе с каким-то матросом, державшим в руках большую пачку газет. Длинная, худая фигура Флеровского выражала восторг и воодушевление.

— Давай, давай сюда! — говорил он матросу, показывая на дверь, ведшую в зал заседаний.

Матрос, смущенно и гордо улыбаясь, прошел мимо меня, бережно неся свою пачку. Я успела заметить, что она обернута в преподлейшую буржуазную «Биржевку» (так именовали в обиходе газету «Биржевые ведомости»). Все это было как-то странно: уж больно настроение, которым были охвачены матрос и Флеровский, не соответствовало их ноше!



Между тем ровный негромкий гул, который доносился из зала заседания, вдруг прервался. Послышался шум голосов, возгласы, восклицания.

Войдя в зал, я увидела, что делегаты обступили Флеровского, который раздавал им какие-то тоненькие книжки. Некоторые получили уже эти книжки и впились в них, каждый на свой лад: Ольминский — низко нагнувшись над столом и вороша рукой буйные седые кудри; делегат Харькова Артем — широко раскрыв глаза, со счастливым выра-

жением красивого умного лица; московский делегат Усиевич, достав карандаш, набрасывал на листке бумаги быстрые заметки; Свердлов вертел незажженную папиросу и машинально постукивал ею по спичечному коробку, а Серго Орджоникидзе — тот не смог усидеть на месте, он читал стоя и время от времени восклицал: «Правильно! Правильно, товарищ Ленин!»

Это была брошюра «К лозунгам», в которой Ленин ставил перед партией как непосредственную задачу завоевание пролетариатом при поддержке беднейшего крестьянства государственной власти. Написанная в Разливе, у стога сена, эта брошюра была напечатана в Кронштадте и доставлена на съезд еще влажной, с острым запахом типографской краски. Высказанные в ней Лениным положения определили ход и направление работ съезда.

В Манифесте, обращенном ко всем трудящимся, ко всем рабочим, солдатам и крестьянам России, съезд призвал их под знамя большевистской партии. «Только эта партия, наша партия, осталась стоять на посту, — говорилось в Манифесте. — Только она в этот смертный час свободы не покинула рабочих кварталов... Готовьтесь же к новым битвам. наши боевые товарищи! Стойко, мужественно и спокойно, не поддаваясь на провокацию, копите силы, стройтесь в боевые колонны!»

Поздно вечером возвращались мы из-за Нарвской заставы, где происходили последние заседания съезда. Светила луна, на земле чернели неподвижные тени домов. Мы шагали посредине мостовой в ритм словам, которые звучали в душе: «Только она... Только наша партия...»

8

Шли дни, недели. Миновал июль. Подходил к концу август.

В ту душную августовскую ночь Петроград не спал. Не спал Невский, на каждом углу которого бурлили возникав-

шие сами собой митинги. Не спали буржуазные кварталы. Не спал Зимний дворец, где непрерывно заседало Временное правительство. Не спали рабочие районы.

В окнах горели огни. На улицах толпились люди, напряженно прислушивавшиеся, не доносится ли со стороны Гатчины и Пулкова гул артиллерийской канонады. С разными чувствами, разными надеждами они задавали себе один и тот же вопрос: Корнилов или большевики?

Два дня тому назад царский генерал Корнилов, назначенный после июльских событий Верховным главнокомандующим, предъявил главе Временного правительства Керенскому ультиматум: вся полнота власти должна быть передана ему, Корнилову; он должен быть объявлен диктатором, призванным уничтожить «большевистскую анархию». И в подкрепление своего ультиматума Корнилов двинул на Петроград полки, снятые им с фронта.

Вот почему не спал Петроград. В буржуазных кварталах и посольских особняках жадно ловили звуки ночи, прислушиваясь, когда же заговорят корниловские пушки. А рабочий Питер без устали ковал оружие и посылал отряд за отрядом против Корнилова, на защиту революции.

В числе тех, кто громогласно потребовал, чтобы их отправили в бой против Корнилова, были заключенные в тюрьмы большевики.

Обращаясь к президиуму ВЦИКа, находившегося в руках меньшевиков и эсеров, большевики писали:

«Мы, заключенные с вашего ведома в тюрьмы революционеры-большевики, не можем спокойно сидеть за решеткой, когда контрреволюция ведет наступление. Быть на свободе в такое время не только наше святое право — это наша святая обязанность...

Вы утверждали, что мы виновны в «заговоре» 3—5 июля. Пусть будет так! Мы даем вам слово революционеров, что мы не уклонимся от суда и явимся на него по первому требованию.

Еще раз мы требуем свободы! Мы ждем!»

Но письмо это осталось без ответа!

...Только ночью тридцатого августа стало известно, что мятеж Корнилова подавлен. Части, двигавшиеся на Петроград, перешли на сторону народа. Корнилов и его штаб были арестованы, затея контрреволюции сорвана.

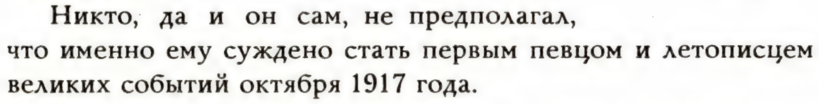
Однако возбуждение, охватившее столицу, не улеглось. На улицах по-прежнему было полно народу. По-прежнему чуть ли не на каждом перекрестке шел спор: кто же окончательно победит — Корнилов или большевики?

Как раз в эти дни в Петрограде появился новый человек. Его облик был столь необычен, что даже в те бурные дни привлекал к себе внимание.



Высокий, большеглазый, светловолосый, он был одет в рубашку со всегда расстегнутым воротом и бриджи цвета хаки. Шляпа небрежно сдвинута на затылок; слегка вьющиеся непокорные волосы растрепаны.

В один и тот же день его видели то в штабе революции, то в штабе контрреволюции; в кипящем Смольном и в чопорном Зимнем дворце; на митинге рабочих Обуховского завода и в особняке «русского Рокфеллера» — нефтепромышленника Лианозова. Когда незнакомца спрашивали, кто он такой, он отвечал на ломаном русском языке, что он представитель американской социалистической прессы. Его имя? Рид. Джон Рид...



Никто, да и он сам, не предполагал, что именно ему суждено стать первым певцом и летописцем великих событий октября 1917 года.

Революции нередко приводят к самым неожиданным поворотам в человеческих судьбах. Но тот поворот, который совершила Великая Октябрьская социалистическая революция в судьбе Джона Рида, единствен и неповторим.

Рид был уроженцем Дальнего Запада Соединенных Штатов Америки, но по-настоящему обрел себя, свое мировоззрение и жизненный путь в революционной России. Роди-

тели его принадлежали к буржуазной аристократии, а он стал пролетарским революционером. Перед ним раскрыты были все возможности буржуазного преуспевания, а он стал одним из организаторов Коммунистической партии США и певцом народных восстаний.

Он родился в 1887 году в Портленде; в 1910 году блестяще окончил Гарвардский университет, избрал карьеру журналиста, побывал в Европе, затем отправился в Мексику, охваченную огнем революции. Книга очерков «Восставшая Мексика» принесла ему славу и деньги. Со всех сторон сыпались самые заманчивые предложения, но он предпочел писать репортажи о забастовке текстильщиков на шелкопрядильнях в Патерсоне и о стачке рудокопов на рудниках, принадлежащих Рокфеллеру.

Как только началась первая мировая война, Рид поехал в Европу в качестве военного корреспондента. Он увидел эшелоны новобранцев, эту молодость Европы, которую отправляли на фронт, чтобы превратить в пушечное мясо. И видел другие эшелоны: те, что следовали со стороны фронта и из которых доносились стоны раненых и приторный запах трупов. И женщин с безумными глазами. И изуродованных снарядами калек. И людей, лишившихся рассудка под орудийным огнем. И богачей в ночных кабаках, кутивших на прибыли, принесенные им войной.

«Это — война торговцев», — заявил Рид. И всей своей страстной душой возненавидел эту войну.

Не страшась никого и ничего, он вел борьбу против войны. Но на душе у него было нелегко: слишком много было кругом подлости и предательства. Часто его охватывало чувство полной безнадежности.

И тут неожиданно пришла весть о революции в России. Рид понял, что русская революция — это не мелкий переворот, к которому хотят свести ее правящие классы. Нет, это великая народная революция. А поняв это, Рид решил во что бы то ни стало уехать в Россию.

Таков был человек, который появился в Петербурге на следующий день после подавления корниловского мятежа.

В дождь и в жару, то шагая по скользкой осенней грязи, то вися на подножке переполненного трамвая, он переносился из одного конца города в другой, брал интервью у видных политических деятелей и у рядовых солдат, выслушивал и революцию, и контрреволюцию, читал десятки газет, с острой наблюдательностью истинного художника запоминал сотни встречавшихся ему людей.

Его записную книжку заполняли заметки, сделанные быстрым круглым почерком.

Это были первые наброски к будущей книге Джона Рида, навеки вошедшей в историю человечества. Книги, запечатлевшей по свежей памяти великие события русской революции: «Десять дней, которые потрясли мир».

9

С наступлением осени Ленин больше не мог продолжать жизнь в шалаше: наступили холода, все чаще стали поливать дожди.

Как бывает в таких случаях, первый большой дождь налетел неожиданно. Еще утром ярко светило солнце, и Емельянов с удовлетворением думал, что успеет хорошо просушить скошенное сено. Но после обеда поднялся небольшой ветерок; он усиливался и усиливался и, в конце концов, перешел в сильный, порывистый ветер. И тут разразился такой ливень, что шалаш весь размок и стал протекать.

Надо было уходить. В сопровождении рабочих-большевиков Александра Шотмана, Эйно Рахья и Николая Емельянова Ленин по горящему торфяному болоту добрался до станции железной дороги, провел около суток на квартире рабочего завода «Айваз» Эдуарда Кальскэ. Оттуда с удостоверением на имя сестрорецкого рабочего Константина Петровича Иванова, под видом кочегара в будке паровоза, который вел машинист Ялава, уехал в Финляндию. По пути провел некоторое время у финского рабочего Парвиайнена.

Рабочий, рабочий, рабочий... Рабочий Емельянов, рабочий Шотман, рабочий Кальскэ, рабочий Ялава, рабочий Парвиайнен... Весь свой смертельно опасный путь Владимир Ильич Ленин совершает при помощи рабочих.

Рабочие помогают ему уйти от ищеек Временного правительства. Рабочие и опыт большевистского подполья, большевистской конспирации.

Используя этот опыт, Ленин, живя в Финляндии, поддерживает связь с Петроградом. Некоторые письма он пишет старым конспиративным способом — «химией».

Когда стало очевидно, что развязка революционных событий близка, Ленин с тем же соблюдением правил, выработанных в годы подполья, нелегально пробрался в Питер и поселился на конспиративной квартире Маргариты Васильевны Фофановой, чтобы непосредственно руководить подготовкой восстания.

О том, что Владимир Ильич вернулся в Питер, было известно лишь самому узкому кругу товарищей. Но рядовые члены партии, не зная о его приезде, чувствовали его присутствие. Словно в строй вступила мощная турбина — так энергично, быстро, четко завертелись все валы партийного механизма.

Приехав в Петербург, Ленин принял участие в заседаниях Центрального Комитета партии; он разоблачал штрейкбрехеров революции — Каменева и Зиновьева, которые считали, что революция обречена на поражение; напоминал учение Маркса о восстании, как искусстве; доказывал, что кризис назрел, все будущее русской и международной революции поставлено на карту; требовал от партии по-деловому, практически заняться технической подготовкой восстания, чтоб сохранить за собой инициативу и в ближайшее же время приступить к решительным действиям.

«Промедление смерти подобно!» Эти слова звучали в те дни по всему рабочему Питеру.

«Промедление смерти подобно!» — говорил вожак петро-

градской рабочей молодежи Вася Алексеев, требуя от работников Союза молодежи, чтоб они вовлекали в Красную гвардию каждого молодого рабочего, каждую молодую работницу.

«Промедление смерти подобно!» — восклицал на митинге солдат-фронтовик, призывая сплотить силы рабочих и солдат для восстания против Временного правительства.

«Промедление смерти подобно!» — заявлял рабочий завода «Айваз», предлагая «выгнать поганой метлой» из Советов всех меньшевиков и эсеров и сплотиться вокруг партии большевиков.

«Промедление смерти подобно!» — несколько раз повторила секретарь Выборгского районного комитета партии Женя Егорова, выступая перед коммунистами района на собрании, посвященном сбору оружия, мобилизации красногвардейцев и установлению надежной связи между отрядами, готовившимися к восстанию.

Как, откуда пришли эти слова?

Это Владимир Ильич Ленин 8 октября в «Письме к товарищам большевикам, участвующим на областном съезде Советов Северной области», провозгласил, что час действия настал и «промедление смерти подобно».

Из глубокого подполья он направлял работу партии. Его голос звучал набатом со страниц большевистских газет и находил горячий отклик в сердцах рабочих, матросов, солдат и крестьян. . .

Призыв Владимира Ильича проник и сквозь тюремные стены и был услышан большевиками, томившимися в тюрьмах Временного правительства.

Что было им делать? Как добиться свободы, чтобы принять участие в общей борьбе?

Они решили объявить голодовку. В своем обращении к пролетариату и гарнизону Петрограда они заявляли:

«Три месяца сидим мы в тюрьме, схваченные и посаженные сюда буржуазией после того, как мы, доведенные вой-

ной, разрухой и неизмеримыми страданиями народа до отчаяния, вышли на улицу Петрограда и вместе с тысячами других, вместе с вами, протестовали против кровавой бойни и голода...

Товарищи, вы знаете нас! Наша политическая деятельность протекала на ваших глазах.

Да здравствует власть Советов!

Да здравствует пролетарская революция!»

Только 25 октября Великая Октябрьская революция растворила перед ними двери тюрьмы.

К двадцатому октября ни для кого не было тайной, что великий волнующий и радостный день, которого все мы так ждали, уже близок. События нарастали с каждым часом.

В шесть часов утра 24 октября в Смольном, где находился штаб восстания, стало известно, что Временное правительство решило двинуть против большевиков верные ему воинские части.

«Весь Питер был разделен на два лагеря, и середины не было, — вспоминает эти дни делегат II съезда Советов большевик Иван Харитонович Бодякшин. — На улицах, на площадях, в трамваях, в учреждениях, в клубах, в цирках, в казармах, в университете, в библиотеках, во дворцах, на судах и пароходах, на фабриках и заводах, в рабочих кварталах — везде и всюду люди собирались и говорили о революции, о свободе, о воле, о равенстве, о земле, о фабриках и заводах...»

Знакомый уже нам Ваня Вьюнок рассказывал, что утром, проснувшись, он увидел довольно странную картину. На полу сидел, видимо только что вернувшийся с работы, отец и заботливо чистил Ванину винтовку. Его винтовка, уже вычищенная, лежала рядом с ним. Из глаз отца катились слезы, которых он, вероятно, сам не замечал. Около него стояла мать, глядевшая на него с возмущенным сожалением.

— В ветрогоны записался,— ехидно говорила мать.— Вместо того чтоб сына за это высечь, вот тебе на́: винтовку чистит!.. Убивать, что ли, кого собрался?

— Уйди, дура-баба, — смазывая маслом затвор, отмахивался отец.

— Сам дурак! Весь двор над тобой смеется...

Но отец заметил, что сын не спит.

— Проснулся? Вот и хорошо. Бери винтовку, и идем в штаб.

Под плач и причитания матери они, держа винтовки, пошли в штаб Красной гвардии. Там царило оживление.

— Сегодня я себя чувствую храбрецом особенным, — сказал отец, обнимая Ваню за плечи. — И если все остальные так же, то завтра будет у нас власть!

Последние недели перед Октябрем Владимир Ильич Ленин прожил в конспиративной квартире Маргариты Васильевны Фофановой, на Выборгской стороне.

«Когда мы остались вдвоем в квартире, — рассказывает Фофанова, — Владимир Ильич попросил меня показать ему всю квартиру, чтобы ориентироваться на случай, если придется воспользоваться окном, а не дверью для ухода из квартиры.

Вначале я даже не поняла, что́ этим хотел сказать Ильич. Показываю квартиру. Когда пришли в третью комнату и я указала на балкон — смотрю, Ильич радостно улыбнулся и сказал: «Прекрасно! Теперь можно точно определить, как идет водосточная труба, близко ли из моей комнаты, если придется по ней спускаться...»

День 24 октября. Часам к четырем, сидя на службе, я узнала, что разведены мосты и в городе идет вооруженное выступление. Я немедленно оставила работу и прежде всего пошла к Николаевскому мосту убедиться, разведен ли мост. Мои опасения подтвердились. Решила направиться как

можно скорее домой. По дороге зашла в Выборгский районный комитет, чтобы получить информацию о происходящих событиях.

В комитете удалось получить лишь очень смутные сведения, с чем я и явилась к Владимиру Ильичу, который направил меня снова в районный комитет проверить, сведены ли мосты, и просил передать записку через Надежду Константиновну, сказав, что он считает, что больше откладывать нельзя, необходимо пойти на вооруженное выступление, и что он сегодня должен уйти в Смольный.

Выборгский комитет вручил мне ответ отрицательный, с чем я и приехала к Владимиру Ильичу уже около 9 часов вечера... Помню, Владимир Ильич говорит:

«Чего они хотят? Чего они боятся? Говорят, что большевиков уже много, неужели же у них нет сотни проверенных большевиков — солдат, которые могут меня защитить? Сообщите им, что если они уверены хоть в сотне солдат, то откладывать больше нельзя».

Снова он направил меня с запиской к Надежде Константиновне и сказал, что если к одиннадцати часам я не вернусь, то он поступит так, как считает нужным».

М. В. Фофанова опоздала на десять минут. Когда она вернулась, Владимира Ильича уже не было, а на обеденном столе лежала записка, написанная на длинном листке бумаги:

«Ушел туда, куда вы не хотели, чтобы я уходил. До свидания. Ильич».

Так Владимир Ильич Ленин покинул последнее большевистское подполье.

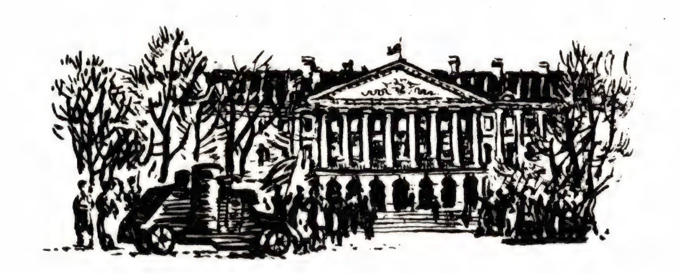
Он шел через весь город вместе с финским рабочим, товарищем Эйно Рахья. Кругом была черная ночь. С того берега, за Невой, доносились глухие звуки выстрелов. На Литейном мосту дежурили красногвардейцы из отряда Патронного завода. Горящий костер отбрасывал на их фигуры яркие отблески.

Настал великий час, ради которого жил и боролся Владимир Ильич. На протяжении четверти века готовил он вместе с партией великий штурм, которому суждено было свершиться в эту осеннюю ночь.

Он шел по гулким ночным улицам, а рядом с ним, порой обгоняя его, торопливо шагали рабочие, солдаты, красногвардейцы, мчались грузовики, тарахтели мотоциклетки, грохотали колеса орудий.

Справа, на западе, осталась Петропавловская крепость. Далеко на востоке чернела невидимая отсюда бывшая «Государева» тюрьма в Шлиссельбурге.

Впереди были огни Смольного!



ОГЛАВЛЕНИЕ

К читателям

Отзывы об этой книге просим присылать по адресу: Москва, А-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Драбкина Елизавета Яковлевна

БАЛЛАДА О БОЛЬШЕВИСТСКОМ ПОДПОЛЬЕ

Ответственный редактор
С. М. Пономарева.

Художественный редактор
С. И. Нижняя.

Технические редакторы
Т. В. Перцева и Т. М. Токарева.

Корректоры
Н. А. Сафронова и З. С. Ульянова.

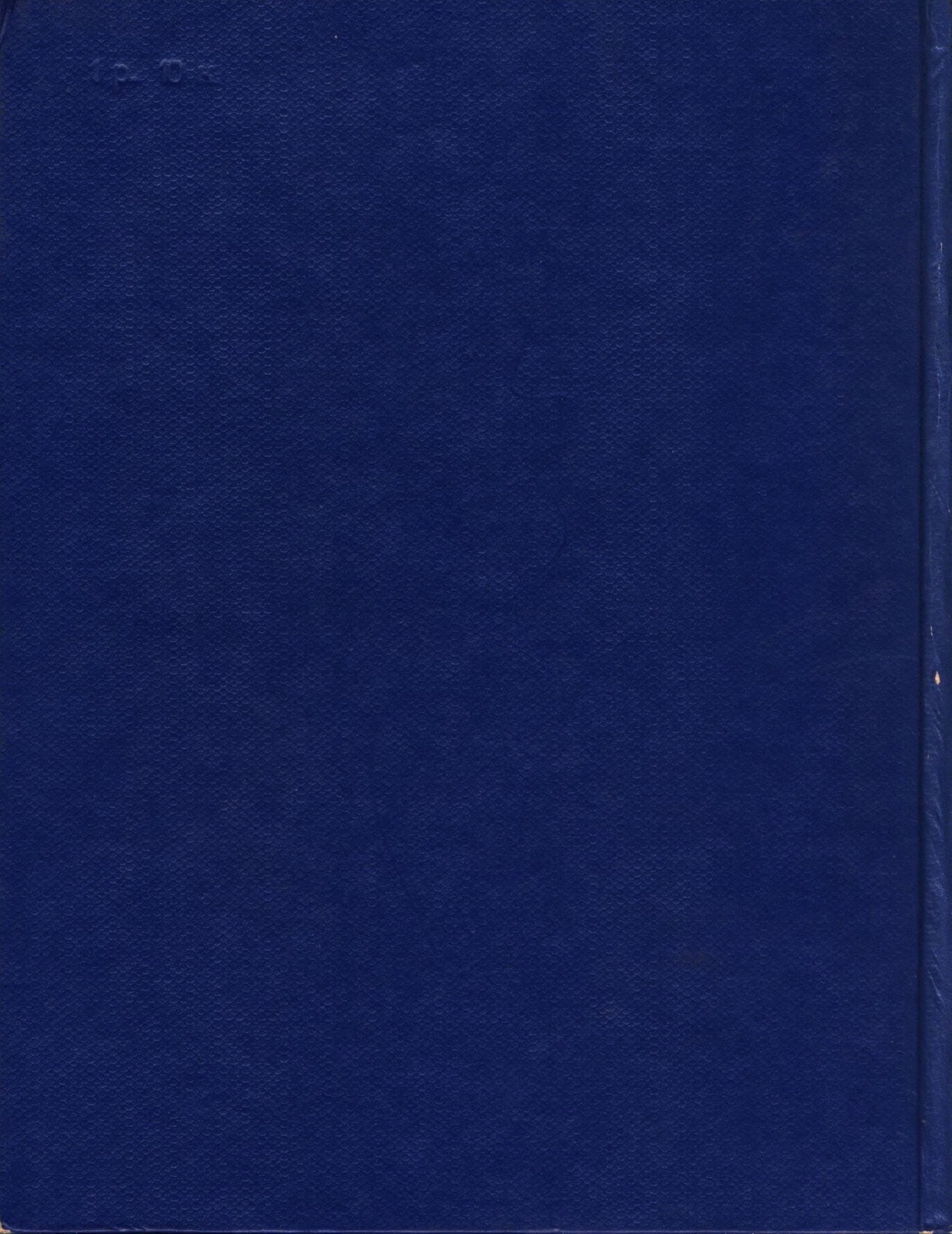
Сдано в набор 9/III 1967 г. Подписано к печати 14/VI 1967 г. Формат 70×90¹/₁₆. — 20 печ. л.=23,4 усл. печ. л. (16,07 уч.-изд. л.). Тираж 75 000 экз. ТП 1967 № 462. А03853. Цена 1 р. 10 к. на бум. № 1.
Издательство «Детская литература».
Москва, М. Черкасский пер., 1.



Фабрика «Детская книга» № 2 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Ленинград. 2-я Советская, 7. Заказ № 50.






1 р. 10 к.


Е. Драбкина
БАЛЛАДА
о БОЛЬШЕВИСТСКОМ ПОДПОЛЬЕ